

ВЛ. МУРАВЬЕВ

**Московские
литературные
предания
и
были**

ВЛ. МУРАВЬЕВ

**Московские
литературные
предания
и
были**



Московский рабочий 1981

P2
M91

Муравьев В. Б.

M91 **Московские литературные предания и были.— М.: Моск. рабочий, 1981.— 352 с., ил.**

В. Б. Муравьев — автор книг «Пестель», «Первые песни», «Слава столетия», «Дорогами российских провинций» и др., в которых он обращается к славному прошлому нашей Родины. Новый сборник рассказов писателя воссоздает историю создания знаменитых литературных произведений, неизвестные или малоизвестные эпизоды из жизни писателей.

M 70302—044 193—80. 4702010200 P2
M172(03)—81

© Издательство «Московский рабочий», 1981 г.



**«ВСЕПРЕКРАСНОЕ
МЕСТО
МОСКОВСКОЕ»**

Предание о начале Москвы

Предисловие

«Кто знал, что Москве царством быти, кто ведал, что Москве государством слыти?» — восклицает неведомый нам по имени сочинитель «Повести о зачале Москвы», написанной в XVII веке, как бы оправдываясь перед читателем за неполноту и неясность своего повествования.

Кабы знать, кабы ведать... А поскольку не знали и не ведали, что будет впереди, то и прошли первоначальные века Москвы — одного из многих селений на восточной окраине Киевской Руси мимо древних летописцев как недостойные того, чтобы занести их на страницы летописей. Нестор-летописец знал Оку, Клещино озеро (ныне Плещеево), Ростов, Муром — дальние окрестности Москвы, — там, по его сообщению, Рюрик «раздая мужем своим грады». А вот Москву Нестор не помянул, хотя Москва тогда уже существовала, о чем красноречиво рассказывают археологические находки.

Русские летописи не отметили основание Москвы. Правда, в рукописях конца XVII века при ссылке на некий «ин летописец» сообщается, что князь Олег «прииде на Москву-реку... и постави ту град, и нарече Москва». Но ученые считают,

что этот «ин летописец» был написан «не ранее 60-х годов XVII века».

Более поздние летописцы связывают основание города с именем Юрия Долгорукого: «...князь великий Юрий Володимирович заложи град Москву», относя это событие, по одному варианту, к 1156 году, в который он, по свидетельству других летописей, безвыездно находился в Киеве, по другому — к 1158 году, когда его уже не было в живых.

Однако первое достоверное свидетельство современника о Москве относится именно ко времени Юрия Долгорукого, к 1147 году. Под этим годом в Ипатьевской летописи она предстает как владение Ростово-Суздальского князя Юрия Долгорукого, в которое он приглашает Святослава, князя Северского (отца князя Игоря — героя «Слова о полку Игореве»): «Приди ко мне, брате, в Москов».

Но среди москвичей жили устные предания о далеких временах, гораздо более древних, чем сообщение летописи. Они передавались из поколения в поколение в течение веков, и, как это всегда бывает при устной передаче, что-то забывалось, что-то добавлялось. Поэтому, когда в XVI—XVII веках понадобилась Москве — столице одного из обширнейших и могучих государств — приличная ее значению и славе легенда об основании города и московские книжники-грамотеи бросились искать старинные предания, то нашли они лишь скудные и разноречивые обрывки древних преданий.

Народная память сохранила отрывочные сведения, суть которых заключалась в том, что некогда принадлежали эти места некоему Кучку, что отнял их у него силою, убив его, какой-то князь и что сыновья Кучка отомстили за гибель отца.

(В большинстве списков повестей имя Кучко пишется с окончанием на «о», а не на «а». Мне представляется более правильным именно это написание. Приняв же имя в такой форме, склоняю его как существительное мужского рода, по

образцу украинских фамилий на «ко»: Шевченко, Шевченка, Шевченку и т. д.)

В XVII веке, по крайней мере, три тогдашних грамотея-писателя независимо один от другого взялись за создание предания об основании Москвы. Каждый из них слышал устное предание в своем варианте.

Один слышал тот вариант, в котором рассказывается, что основал Москву, отобрав земли у Кучка, князь Юрий Долгорукий, передал ее по наследству сыну Андрею и дети Кучка — Кучковичи, мстя, убили Андрея. В этом предании отразились воспоминания о том, что Юрий Долгорукий, действительно, поставил и укрепил много городов Ростово-Суздальской Руси и что Андрей был убит заговорщиками, среди которых летопись называет неких Кучковичей. Однако причины и обстоятельства убийства князя Андрея являются чистейшим литературным вымыслом. Автор повести, взяв исторический факт основания Москвы, развил его в подходящий, по его мнению, к обстоятельствам сюжет.

Второй писатель слышал предания, что-де древним московским князем был Даниил — сын Александра Невского, что соответствует действительности: Даниил получил около 1276 года в удел Москву, и, таким образом, Москва стала с этого времени удельным княжеством, поэтому этот писатель строит сюжет повести по-своему. У него не Юрий Долгорукий, а Даниил отбирает земли Кучка, и Кучковичи убивают Даниила. Таким образом, этот вариант предания является в еще более значительной степени литературным вымыслом.

Третий же писатель слышал о Данииле, которого он ошибочно называет Ивановичем, а не Александровичем, но ничего не знает о Кучке. Зато ему рассказывали о чудесном видении, повинуюсь которому Даниил основал Москву, и о том, что прежде в Москве жил пустынный по имени Букал. Поэтому его фантазия отталкивается от этих сведений.

Средневековые создатели «Повестей о начале Москвы» развивали известный им вариант, вер-

нее — осколок предания, в литературное произведение по законам художественного творчества: рисовали образы действующих лиц в том свете, в каком они им представлялись, объясняли мотивы поступков, исходя из собственных понятий, вводили указания и ссылки на известные им исторические материалы, поскольку тогда между художественной и научной литературой еще не было той пропасти, которая появилась позже, домысливали утраченные звенья сюжета.

· Может быть, если бы какой-нибудь автор XVII века имел перед собой все варианты сказаний о начале Москвы, то он свел бы их в единый, взяв из каждого рациональное зерно. Но этого не произошло, и были написаны три разные повести.

Развитие исторической науки привело к тому, что мы о древних веках знаем больше, нежели стоящие на несколько веков ближе к ним наши предки. В отличие от писателя XVII века нынешний литератор может раскрыть научное издание «Повестей о начале Москвы», обратиться к трудам историков и археологов, поверить наукой поэтические предания, обнаружить хронологические и другие фактические ошибки, но также рассмотреть и крупницы правды. Н. М. Карамзин называл «Повести о начале Москвы» «сказкой», но он же отмечал, что она «основана на древнем, истинном предании». Сейчас «истинное предание» просматривается в большей степени, чем во времена Карамзина, но все-таки до воссоздания исторически точной картины «начала» Москвы еще далеко.

Я решил вослед древним авторам вновь рассказать это старинное предание, потому что нынешнее время дает для этого больше материалов, чем имели они.

У каждого из них было по одной пригоршне черепков разбитого сосуда, у меня же их оказалось три. И если каждый воссоздавал сосуд из одной своей пригоршни черепков, дополняя недостающее фантазией, то я собираю из трех. Но честно предупреждаю читателя: для того чтобы черепки приобрели форму сосуда, а не остались

бесформенной грудой, и мне приходилось кое-где прибегать к домыслу.

Предание, особенно древнее, имеет ту особенность, что исторически достоверно в нем бывает только главное событие, которое легло в его основу, например основание города, война, а обстоятельства события преобразуются народной фантазией очень вольно, меняется ход сюжета, поступки приписываются то одному популярному герою, то другому. Но основа все-таки остается, остается и народная оценка события. Предание не столько стремится сохранить точные исторические сведения, хотя многое и сохраняет, как создать обобщенный художественный образ.

В своем изложении предания о начале Москвы я шел именно этим путем — путем, указанным старыми авторами «Повестей о начале Москвы».

В то же время, опять-таки в традициях писателей XVII века, собственно художественный текст я позволил себе снабдить отступлениями и примечаниями, каким является и настоящее предисловие, в которых содержатся различные сведения и умозаключения ученых исследователей по поводу затронутых в предании вопросов. Кроме ссылок на авторитеты я привожу и свои собственные соображения о роли географического положения Москвы и результатов археологических открытий для объяснения значения слова «Москва», о древности названия «Китай-город», о значении имени Кучко.

Всякий мало-мальски знакомый с историей человек легко обнаружит и в моем пересказе предания исторические несообразности, смешение времен и то, что обстоятельства убийства князя Андрея Боголюбского весьма далеки от действительных обстоятельств этого события, правдиво описанных в летописях. И конечно, у скептически настроенного знатока первая же строка предания: «В лето от сотворения мира шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое великий князь Юрий Владимирович ехал со своей дружиной» — вызовет насмешку: «Как же этот князь мог куда-то ехать в 6666 (т. е. 1158) лето, когда он умер в предыдущем году?»

Все это так, но разве мог писатель-художник во времена, когда числовая магия была так сильна, не соблазниться таким замечательным числом — 6666, которое заставляет предполагать в себе нечто мистическое?

Не пытаясь оспаривать историков, согласимся с тем, что в предании, действительно, исторических ошибок много. По их многослойности и внутренней противоречивости видно, как первоначальный рассказ поновлялся, осовременивался, принаравливался к художественным вкусам и моральным воззрениям эпохи, чего, конечно, не избежал и предлагаемый ныне читателю пересказ.

Но в то же время все эти многослойные, многовековые, может быть, даже тысячелетние поновления — самое верное доказательство древности предания.

Видимо, предание о начале Москвы представляет собой первое литературное произведение на московскую тему.

В лето от сотворения мира шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое великий князь Киевский Юрий Владимирович, по прозванию Долгорукий, сын великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха, ехал со своей дружиной из стольного Киева в город Владимир на Клязьме к сыну Андрею Юрьевичу Боголюбскому, где тот княжил по воле отца.

Склонив голову, думал князь Юрий думу о том, что он уже стар и, померев, оставит своему любимому сыну Андрею Юрьевичу прародительские земли и своих, им самим нажитых сильных врагов — князей и княжат удельных, которые в жадном ослеплении готовы разграбить друг друга и тем разорить всю Русь. Думал он и о том, что Киев — стольный город уже не почитается далеко расширившимися на полночь и на восход солнца русскими княжествами так, как почитался прежде, и, глядишь, скоро наступит время, когда удельные князья сов-

сем перестанут признавать его старшинство...

С такими думами въехал князь Юрий Владимирович в темные заокские леса, где дорога шла по дремучим дебрям, через черные топкие болота.

И вдруг посреди одного обширного болота князь Юрий Владимирович увидел огромного чудесного зверя. Было у того зверя три головы и шерсть пестрая многих цветов.

И вся дружина, и все спутники князя увидели этого зверя и встали в изумлении.

Явившись людям, чудесный зверь затем исчез, словно туман растаял.

Тогда князь Юрий Владимирович спросил одного из спутников своих, ученого грека-философа:

— Что знаменует собой явление этого чудесного зверя?

— Великий князь,— ответил ученый грек,— явление это знаменует, что близости сих мест встанет град превелик, треуголен и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди разных племен и народов.

Задумался князь, потом снова спросил:

— Истинно ли твое толкование, ученый философ?

— Истинно,— ответил ученый философ.— Потому что и при основании великого града Рима было знамение. Когда начали рыть ров под городскую стену, то вырыли голову человеческую, как живую, и значило это, что быть Риму главой многим градам. Что и сбылось. И когда созидали Царьград, то выполз из норы змий, и в тот же миг пал на него с высоты орел, и начали они биться. И мудрец книгочей посему изрек: «Будет град Константина царь другим городам, как орел — царь всем птицам, и будет он подвержен нашествиям басурман». Что также сбылось. Посему сбудется и явленное ныне тебе знамение.

Ехал князь Юрий Владимирович далее. Вскоре расступились леса, позади остались болота, и выехал он на высокий берег реки.

Воззрел князь Юрий Владимирович очами во все стороны, на этот берег и на тот, на светлые рощи, на распаханное поле, на богатые села, на поставленные на высоком мысу над рекой, огороженные частоколом, хоромы владетеля этих мест, тутошнего князька Кучка.

Видит князь, что хороши эти места, подумал: «Верно, здесь стоять граду треугольному», но ничего не сказал.

Только удивительно князю Юрию Владимировичу, почему Кучко не встречает его, не оказывает почести, какие положено, не выходит с сыновьями своими и воеводой Букалом со двора, огороженного частоколом, не зовет князя в хоромы. Юрий послал воина сказать Кучку, чтобы тот поспешал пред светлые очи князя.

Поскакал посланец и через немалое время вернулся с князьком Кучком.

— Почему не встречаешь, чести не оказываешь? В хоромы меня, великого князя, не зовешь? — грозно спросил князь Юрий Владимирович Кучка.

Но Кучко не сробел и отвечает:

— Не знал я, господин, что ты едешь, потому не встретил. В хоромы не зову, потому что старые хоромы разметали, новые не построили, сами в сарае живем.

Понял князь Юрий Владимирович, что неспроста так дерзок Кучко, видать, он перекинулся тайно из-под его руки к Новгороду, видать, собираются новгородцы в третий поход на Владимірское княжество и переманили Кучка щедрыми посулами. Понял все это князь Юрий Владимирович, но вида не подал.

— Хорошие у тебя села, богатые, — говорит князь Юрий Владимирович Кучку.

— Богатые, — соглашается Кучко.

- Знать, поля хорошо родят.
— Хорошо.
— Гляжу, стада большие, видать, и выпасы хороши.
— И выпасы хороши.
— А река рыбна ли?
— И река рыбная.
— А как зовется река? — спросил князь.
— Москва.
— Что же значит такое название?
— Названо не нами, а жившими прежде нас, — ответил Кучко. — Мы сами не понимаем, что оно значит.
Усмехнулся князь Юрий Долгорукий какой-то своей думе, а чему усмехнулся — не сказал.
Кучко понял усмешку по-своему и проговорил:
— От века так повелось: говорим Москва — и все тут.

Примечание

Тайна происхождения названия реки, по которой получил свое имя и город Москва, вот уже, по крайней мере, пять веков занимает те любознательные головы, которые берут на себя труд задуматься об этом.

Одно в этой тайне бесспорно: название Москва — очень и очень древнее.

Московский книжник XVI—XVII веков древнейшим событием мировой истории, самым ее началом, в полном соответствии с тогдашним научным мировоззрением, считал всемирный потоп, описанный в первой книге Ветхого завета «Бытие». К этому-то событию он и подводит основание Москвы.

В книге «Бытие» сказано, что все народы, населяющие землю, произошли от трех сыновей единственного человека, спасшегося при потопе, Ноя: Сима, Хама и Иафета. Византийская, а затем и древнерусская традиция утверждала, что по разделении земли Иафету достались «полу-

нощные страны и западные» и «от племени Афетова» произошли словене и «язык словенск».

Наверное, древний русский книжник очень обрадовался, когда прочел в Библии, что у Афета, среди прочих детей, был сын Мешех.

Взаимная замена звуков «с» и «ш» обычна в русском языке (писать — пишу, просьба — прошение), поэтому он радостно исправил ошибку и переделал Мешеа в Мосоха.

А далее сконструировал (вполне в законах тогдашних правил построения гипотез) такую легенду о происхождении названия Москва.

Некогда пришел Мосох Иафетович, шестой сын Иафетов, в те земли и на то место, где мы ныне жителяствуем.

И, придя, поселился на сем избранном, высочайшем и всепрекрасном месте над двумя реками, на котором ныне стоит святой и всепревеликий град Москва, названный по имени реки, под ним текущей.

Но тогда, когда Мосох пришел в сии места, река еще не имела названия, и он поименовал ее по своему имени и имени жены своей княгини прекрасной и прелюбезной *Квы*.

И тако по сложению общекупному имен их — князя Мосоха и княгини *Квы* — прежде безымянная река стала зваться Москва-река и доныне так зовется.

Вторую же, меньшую реку, текущую в Москву, Мосох назвал в честь своего сына *Я* и дочери *Вузы* Явузой, как она и поныне зовется.

А на превысокой горе в устье Явузы-реки Мосох поставил свой градец малый, на месте оном первоприбытном своем, именно Московском, где и днесь стоит на горе оной церковь каменная святого и великого мученика Никиты, бесов мучителя и от верующих человеков тех прогонителя.

Каменная церковь Никиты Мученика поставлена в 1595 году, поэтому, приняв во внимание это обстоятельство, возникновение легенды о Мосохе можно отнести к XVII веку.

С XVIII века и до настоящего времени ученые пытаются объяснить слово «Москва», исходя из современных научных знаний.

В конце XVIII века возникла гипотеза о скифо-сарматском происхождении слова «Москва», которое значит «крутящаяся» или «искривленная». В наше время такое толкование разделяли известный москвовед П. В. Сытин и академик А. И. Соболевский. Но археологи следов скифов в Москве не обнаружили.

И. Е. Забелин производил название Москва от *мостков*, которые находились на реке и покрывали низкие топкие берега. Подобное наивное объяснение, даже несмотря на глубокое уважение к почтенному историку, никогда учеными всерьез не принималось.

Сейчас существует несколько вариантов объяснения славянского происхождения названия Москва. Ф. И. Салов предлагает старинное наименование Москвы (зафиксированное в летописи под 1147 годом) *Москов* считать составленным из двух корней — из «моск», что значит по-старославянски «кремень», и «ков», которое, если прочесть его как «хов» (*ховати* — прятать), может обозначать «укрытие». Г. А. Ильинский, П. Я. Черных (их мнение разделяет и А. Г. Векслер в книге «Москва в Москве») при условии довольно далеких и проблематичных параллелей и сближений считают, что «с корнем «моск» у славян связывались представления о сырости, влажности», а форма «Москва» образовалась в результате склонения слова: сначала, имея основу «москы», оно приняло окончание винительного падежа «ъвь», затем форма винительного падежа стала также и формой именительного. Поиски славянских корней вызывают слишком сложные построения и допущения, а главное, не могут быть применены к аналогичным названиям рек европейской части России, таких, как Протва, Иньва, Эжва, Нева, Лысьва, Косьва, Яйва, Сосьва, Сылва и т. д.

О том, что в древности Московский край и прилегающие земли заселяли угро-финские племена, знал еще Нестор-летописец: «На Ростовском озере меря (сидит), а на Клещине озере меря же. А по Оце реце, где втечет в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой язык, морьдва

свой язык». Археологические раскопки подтвердили сообщение Нестора. Начальник Московской археологической экспедиции Института археологии Академии наук СССР К. А. Смирнов называет первыми жителями Московской области дьяковцев, то есть древних скотоводов и ремесленников, живших с VIII века до нашей эры по V век нашей эры и создавших культуру, получившую у ученых название дьяковской. «Предполагают,— говорит К. А. Смирнов,— что дьяковскую культуру основали финно-угорские и балтские племена».

Объяснение слова «Москва» из финно-угорских языков тоже имеет столетнюю традицию. Наиболее ясной является часть слова «ва», означающая «вода, река». В коми-зырянском и коми-пермяцком языках до сих пор слово «вода» имеет эту форму — «ва». Легко узнается этот же корень в других финно-угорских языках: мордовский — «вад, ведь», марийский — «вуд», удмуртский — «ву». (Впрочем, он также легко узнается и в славянском «вода», поскольку принадлежит к числу общих индо-европейских корней. Однако тут важна именно форма «ва» — безусловно финно-угорская.)

Главная же, наиболее существенная для названия часть «моск» вызывает разноречивые толкования.

Записанная в конце XIX века марийская легенда «О семи братьях и трех городах» выводила название Москва из двух марийских слов, «*маска*» — *медведь* и «*ава*» — *мать*, и объясняла возникновение его тем, что, мол, в этих местах в древности водилось много медведей. Этой легенде нельзя отказать в своеобразной логике, так как бесспорно, что прежде диких зверей было значительно больше, чем теперь. Ее слабая сторона заключается в том, что марийские языковеды давно доказали, что марийское слово «*маска*» является заимствованным в XIV веке русским словом «*мечка*» — *медведица*.

Для объяснения привлекалось также финское слово «*musta*» — *черный, грязный*, и тогда выходило, что Москва — это «черная, грязная вода».

Такое объяснение было отвергнуто учеными, так как сторонники гипотезы о «грязной воде» не учитывали того, что первую и вторую части одного слова они выводили из фактически разных языков: финского, принадлежащего к западнофинским языкам, и коми, принадлежащего к пермским языкам.

Наконец, есть еще одно коми-зырянское слово, которое по своему внешнему облику ближе всех других к таинственному корню «моск», — это слово «моск» — *корова*.

Таким образом, представляется еще один вариант перевода: Москва — «Коровья река».

Этот вариант подкрепляется наиболее вескими, чем все остальные, аргументами, потому что в нем лингвистические предположения подтверждаются археологическими данными.

Во-первых, в основу объяснения названия Москва положены данные языка той этнической группы, которая, по заключению археологов, предшествовала славянскому населению и, судя по всему, влилась в него. Некоторые критики (например, А. Преображенский в известном «Этимологическом словаре русского языка») замечают, что коми-зыряне не занимали территорию Москвы, а поэтому-де нельзя брать коми-зырянское слово. Однако этот упрек сам не выдерживает критики, поскольку не учитывает того, что в марийском языке — потомке мерянского (а тот же Преображенский считает, что Москва, «вероятно, мерянское слово, ибо Влад., Яросл. и вся Моск. губ. составляли область Мери») — слово «корова» — «ушкал» имеет тот же корень (звук «о» закономерно переходит в «у», «с» в «ш»), только современный коми-зырянский язык сохранил более древнюю его форму, чем марийский.

Во-вторых, в самом подобном названии ничего необычного нет. Москвичам хорошо известны старые московские названия: Коровино, Коровинские улицы, Коровинское шоссе, Коровий брод. Правда, эти названия относятся к значительно более поздней эпохе, но их традиция уходит в далекую древность.

И в-третьих, на что до сих пор ни один иссле-

дователь в связи с рассматриваемым вопросом не обращал внимания, реальные обстоятельства жизни древнейших москвичей должны были подсказать им именно такое название. Природные условия Москвы, наличие заливных лугов по берегам реки (при отсутствии их в других местах района) способствовали именно здесь возникновению традиционного скотоводства. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитые Бронницкие луга, да и в пределах современной Москвы в городской топонимике сохранилось немало сведений о бывших выпасах: Остоженка, Полянка, Лужники, Васильевский луг (старое название местности между Солянкой и Москворецкой набережной) и др.

Археологические раскопки показывают, что основным занятием дьяковцев было скотоводство, и вполне естественно, что в названиях мест обитания должны были отразиться хозяйственные интересы.

Для названия Москвы-реки Коровьей рекой существовало еще одно немаловажное условие: в животноводстве древних москвичей первое место занимали коровы. Кости крупного рогатого скота, то есть коров, преобладают как в городищах дьяковской культуры (в дьяковском Мамоновом городище обнаружены кости крупного рогатого скота — 40 особей, лошадей — 27, мелкого рогатого скота — 18. Труды Музея истории и реконструкции Москвы, вып. 5. М., 1954, с. 26), так и среди раскопок слоев XI—XV веков (в слоях XI—XIII веков при раскопках в Зарядье: крупного рогатого скота — 376 особей, лошадей — 76, мелкого рогатого скота — 164. Древности Московского Кремля. М., Наука, 1971, с. 165).

Исходя из всего этого, наиболее достоверным можно полагать, что древние жители, обитавшие по берегам Москвы-реки и державшие большие стада коров, которые паслись на приречных лугах, и саму реку называли Коровья река.

Усмехнулся князь Юрий Владимирович,
посмотрел на Кучка и повторил:

— Значит, говоришь, жившими прежде

вас название дано,— а про себя подумал: «Некогда вы сменили живших здесь прежде вас, а ныне ваш черед уступить место мне». И, подумав так, спросил: — Отчего один пришел ко мне, без сыновей?

— Сыновья мои малы, по младости да неучености не сумеют, как надо, повеличать тебя,— ответил Кучко.

— Однако говорят, что сыновья твои красивы и разумны.

— На сыновей не жалуясь.

— Дай их мне, твоему великому князю, они у меня будут жить в чести, ума-разума набираться. Мы здесь станом на ночевку встанем, завтра далее поедем, а ты утром сыновей приведи.

Князь Юрий Владимирович приказал свой княжеский шатер ставить. Кучко к себе ускакал.

Настало утро. Князь Юрий Владимирович уже собрался выступать, а Кучка с сыновьями нет.

Разгневался князь, послал за ними гонца. Кучко гонца княжеского на двор не пустил.

Еще пуще разгневался князь и поскакал сам с дружиной к Кучку.

И ему не открыл Кучко ворот да еще, высунувшись из-за крепкого частокола, посмеялся:

— Иди, князь, отсюда, куда шел, пока еще у тебя дружина есть. Ведь из твоих отчин люди разбегаются, а ко мне народ стекается. Скоро я стану вровень с тобой, а потому не хочю тебе, князю моему, покориться!

Примечание

О том, что сыновья Кучка были взяты князем Юрием Долгоруким после столкновения и борьбы, говорят все варианты преданий. Некоторые из них повествуют о том, что Кучко не захотел выйти из хором к князю и «поносил его, великого князя,

бесчинно», в некоторых даже приводятся его тайные мысли: «Буду подобен князю своему и не хочу ему покоряться, яко аз сам болии его».

Так кто же такой был Кучко? В большинстве преданий он называется боярином. Но ведет себя не как боярин, а как самостоятельный властитель. Академик М. Н. Тихомиров прямо считает, что «легендарный Кучка был одним из вятических старшин или князьков». Этот вывод не исключают письменные источники, называющие Кучка боярином, так как, мы знаем, они подвергались редакции в нужном направлении. Так же, например, в летописных сводах, обосновывавших право Рюриковичей на русский престол, князь Олег (Вещий Олег) называется не князем, а воеводой. Так же и Кучко для большего подтверждения прав Юрия Долгорукого называется не князем, а боярином.

Характер Кучка, кроме сведений, сообщаемых преданиями, находит подтверждение в его имени. Вятичи, придя на мерянские земли, слились с коренным населением, вятическая славянская культура впитала в себя финно-угорские мерянские элементы: сохранились названия рек и речек, местностей, видимо, сохранилась и часть имен.

Из славянского корня имя Кучко (в преданиях встречается также написание *Кочко*) необъяснимо. В словаре древнерусских имен С. Б. Веселовского «Ономастикон» есть имена Куча, Кучин, но нет Кучко. Зато из финно-угорского корня имя, вернее, прозвище этого князька вполне объяснимо: по-зырянски «кучкась» — драчливый, драчун. Характер «легендарного Кучки» в этом прозвище отражен довольно точно.

Князь Юрий Владимирович не мог стерпеть такой дерзости, крепко разгневался и повелел дружине взять усадьбу непокорного Кучка приступом.

Хоть и очень дерзко величался Кучко перед князем, но приступа выдержать не смог.

Когда княжеские дружинники разбили

главные ворота, Кучко со своим воеводой Букалом и с воинами убежал из усадьбы через другие — малые — ворота в леса.

Князь Юрий Владимирович с дружиной погнался за беглецами. Самого Кучка настигли и немилостиво предали смерти, а Букал с малым числом воинов скрылся в дебрях.

Князь Юрий Владимирович вошел в хоромы Кучка и увидел двух его малолетних сыновей и дочь Улиту, прекрасную лицом. Их он повелел взять и отвезти во Владимир, ко двору князя сына своего Андрея Юрьевича Боголюбского, а усадьбу разрушить.

На месте же усадьбы Кучка князь Юрий Владимирович повелел поставить город, а для скорейшего его устройства созвал строителей со всех окрестностей: и суздальцев, и владимирцев, и ростовцев, и всех иных.

Назвал город князь Юрий Владимирович по реке Москве, текущей под ним, — город Москва.

Придя во Владимир, князь Юрий Владимирович сочетал сына своего Андрея Боголюбского браком с дочерью Кучка прекрасной Улитой, сыновей же пожаловал одного в стольники, другого в чашники. А сыну повелел город Москву людьми населять и распространять, и князь Андрей Боголюбский этот отцовский завет исполнил.

Примечание

Ближайший посад Москвы называется Китай-город, и его название в течение веков вызывает недоумение историков Москвы. Однако недоумение вызвано тем, что это название считают довольно поздним. Например, П. И. Сытин утверждает, что Китай-город назван «этим именем в 1534—1538 гг.».

Данные археологии неоспоримо показывают, что территория Китай-города была заселена од-

новременно с Кремлевским холмом; таким образом, город состоял из двух частей: собственно города и посада. Город был назван его строителем князем Юрием Долгоруким Москвой, посад — «распространителем» князем Андреем, а поскольку был обычай называть города своим именем, то Андрей и дал название посаду по своему второму имени — Китай, которое он получил в честь своей высокородной родни по матери-половчанке. В одном из вариантов «Повести о зачале Москвы» прямо сказано: «...сего Китая, а после был Андрей», и даже говорится, что Юрий Долгорукий повелел город «созидати во имя сына своего Китая Георгиевича».

Поэтому возникновение названия Китай-город следует отнести не к XVI, а к XII веку.

Вскоре по основании города Москвы князь Юрий Владимирович умер, а Андрей Юрьевич княжил счастливо и благочестиво. В браке с Улитой прижил троих сыновей. Его шурья Кучковичи жили при нем в великой чести.

Но однажды княгиня Улита гуляла по лесу возле Москвы, и вывела ее кривая тропа к малой хижине. В хижине той жил угрюмый старец, весь заросший седым волосом, так что глаза едва видать.

— Кто ты такой, старче? — спросила княгиня Улита.

— Я — Букал, бывший воевода Кучков, — ответил старец, и рассказал он княгине Улите, как был немилостиво предан смерти ее отец великим князем Юрием Владимировичем.

Опечалилась Улита и воспылала гневом против великого князя Юрия Владимировича и его сына, а своего мужа князя Андрея Боголюбского. Задумала она отомстить за отца.

Вернулась Улита домой, рассказала все братьям, и порешили они убить князя.

. Подошла пора зайцев травить. Поехал

князь с шурьями на полеванье, и, когда заехали в лес, тут стали они его убивать.

Но князь хлестнул коня и ускакал от них.

Князь через чащу скачет, Кучковичи за ним. Однако у князя конь добрый был, ускакал он от убийц.

А тут на пути река, через реку перевоз, перевозчик на своем челне невдалеке от берега стоит.

Нечем князю уплатить за перевоз, только на руке один золотой перстень.

— Эй, перевозчик, возьми перстень, перевези меня за реку!

Первозчик не пристаёт к берегу.

— Вы, лихие люди, обманщики: поначалу плату сулите, а как перевезешь вас, не уплатив перевозного, уходите.

— Ей-богу, заплачу,— клянется князь.

Подплыл перевозчик поближе к берегу, протянул весло:

— Положи перстень на весло, уплати перевозное вперед, и я перевезу тебя.

Положил князь Андрей Боголюбский перстень на весло, а перевозчик подхватил тот золотой перстень, оттолкнулся от берега и уплыл.

Князь же, оставшись на берегу и боясь погони, побежал по берегу вдоль реки. Была осень, день кончался, темнело. Князь устал, замерз, и негде ему было укрыться на ночь.

Но тут попался ему на пути низкий сруб-могила, в котором лежал покойник. Князь, забыв страх перед мертвым, залез в тот сруб, закрылся и заснул. Так он проспал всю темную осеннюю ночь до утра.

Его же шурья Кучковичи, упустив князя, возвратились домой в беспокойстве.

— Лучше бы нам и не замышлять убить князя,— говорят они друг другу.— Убить не убили, а только ранили. Теперь убежит князь Андрей к своему брату великому князю киевскому Даниилу Юрьевичу, придет во

Владимир с воинством, и тогда не миновать нам злой смерти и лютой казни.

А княгиня Улита (какая кровожадная зверина-львица, какая свирепая медведиха может содеять такое?!) им говорит:

— Подите и довершите начатое.

— Как же мы князя в той дебри отыщем?

— Есть у князя Андрея пес-выжлец,— говорит княгиня Улита,— и как едет князь в поход либо на сечу, то говорит мне всегда: «Ежели случится мне в битве смерть безвестная и на поле меня сыскать и опознать невозможно будет, или же возьмут меня живого в полон и повезут неведомой дорогой, то пошли тогда моих людей искать меня и вели им пустить впереди того моего пса-выжлеца. А пес тот повсюду найдет меня, и, если в поле буду лежать среди трупов многих и лицо мое кровавыми ранами изуродовано будет, тот пес все равно без ошибки отыщет и мертвому мне радоваться станет и мертвое тело мое почнет лизать в радости».

Утром, еще до рассвета, отправила княгиня Улита братьев Кучковичей в лес, дав им пса-выжлеца, и твердо наказала:

— Где вы князя живого отыщете, тут же его тотчас скорой смерти предайте.

Взяли Кучковичи пса, приехали на то место, где вчера князя Андрея ранили, и с того места пустили пса впереди себя.

Быстро побежал выжлец по следу, а они поскакали за ним.

Привел их пес к сруб-могиле, где спрятался князь Андрей, всунул голову в сруб (весь-то влезть не смог, потому что пес был большой, а сруб маленький), увидел хозяина, обрадовался ему, замахал хвостом.

Увидя это, злосердные Кучковичи раскрыли крышу на срубе и убили князя Андрея Боголюбского, пронзив его копьями и иссека мечами. И оставили тело его в том же срубе.

Но вскоре злое дело их открылось через

верного слугу князя Андрея Давыда Тярдемива, который однажды ночью тайно убежал к князю киевскому Даниилу Юрьевичу и рассказал о том, что брат его князь Андрей убит злодеями.

Пришел князь Даниил с войском Москву воевать, чтобы отомстить за кровь брата. Но жители московские сказали:

— Мы на князя Андрея зла не мыслили, а убили его, не побоявшись бога,— позор и поношение жен княгиня Улита и изменники братья ее Кучковичи. Они его злодеи, а мы за них стоять не хотим.

Схватил князь Даниил княгиню Улиту и Кучковичей, казнил их, а тела положил в берестяные короба и пустил короба в озеро. Эти короба с Кучковичами и ныне всплывают по ночам из пучины, ибо таких злодеев ни земля, ни вода принять не хотят.

А князь Даниил наутро на восходе солнца восстал ото сна в высоком терему, глянул в окно на град, на обе стороны Москвы-реки, на села окрестные красные, на поле чистое, раздолье великое, и очень ему всепрекрасное место московское приглянулось и полюбилось. Не пошел он в свою отчину, а остался княжить на Москве.





ГУСЕЛЬНОЙ СМЕЛОЙ РЕЧЬЮ...

Начинается сказ, и говорится в нем...

1

Повелитель Золотой орды поганый хан Мамай, в златоверхом своем шатре на златом троне сидючи, возмечтал о себе, что нет среди всех нынешних царей и повелителей никого могучее и славней его, только один аллах выше его.

И, возмечтав так, задумал он превзойти славу не только нынешних, но и всех древних царей и повелителей.

Призвал хан Мамай к себе стариков, стал их спрашивать про прежние времена, про безбожного царя Батыя.

Стали старики рассказывать ему, как тот безбожный царь Батый воевал Русскую землю, как пленил Киев и Владимир и иные русские города, как убил великого князя Юрия и многих других русских князей, как разграбил православные церкви и взял богатую добычу.

От тех рассказов хан Мамай совсем потерял покой. Обуяла его гордыня превзойти Батыя; решил он, что дань, которую платит Орде нынешний великий князь московский Дмитрий Иванович, слишком мала, и, помрачившись умом, объявил:

— Я, хан Мамай, пойду на Русь с великой силой, как ходил в прежние времена Батый, великого князя московского убью, веру русскую по-

срамлю, золотом русским обогащусь. Эй, сотники, тысячники, темники, объявите по всем улусам, чтобы нынче никто в Орде не пахал и не сеял, нынче все будут сыты русским хлебом!

И повелел хан Мамай своим ордынцам не мешкая готовиться к походу на Русь.

Князь рязанский Олег, прослышав, что Мамай хочет идти войною на великого московского князя, собрал богатые дары и послал в Орду быстро посла с грамотой.

Написал он в той грамоте так: «Восточному царю, вольному Мамаю пишет твой ханский верный слуга, посаженный тобою на княжеский престол Олег Рязанский. Спеши, господин всесветлый царь, на Москву, в ней сейчас много золота и много богатства. Князь Дмитрий не воин против тебя, он только услышит, что ты идешь, убежит либо в Новгород, либо на Двину. А бессчетное московское богатство все достанется тебе. Меня же, раба твоего, пощади, потому что правлю я твоим именем, и не забудь своими милостями: отдай мне в удел Коломну и под мою руку Владимир-град и Муром».

Второго гонца Олег послал к литовскому князю Ольгерду.

Ольгерду Олег написал так: «Ведомо мне, князь Ольгерд, что давно хочешь ты изгнать князя Дмитрия Ивановича и владеть Москвой. Так вот, настало наше время: идет на князя московского с великою силой хан Мамай, присоединимся же к нему. Тогда хан даст тебе Москву, а мне Коломну, Владимир и Муром. Я уже отправил к хану посла со многими дарами, пошли и ты, не поскупись, потом мы вернем свое с лихвой».

Получив письмо Олега, князь Ольгерд в тот же час снарядил послов в Орду.

Радовались Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, предвкушая, как они поделят меж собою московские земли.

Послы Олега Рязанского и Ольгерда Литовского прискакали в Орду.

Хан Мамай принял дары и грамоты и сказал в гордыне своей послам:

— Передайте князьям вашим: не велика мне

честь их поклон, и в помощи их не нуждаюсь, без них силен. Однако если они присягнут мне на верность и выйдут в поход против князя московского со своими дружинами, то так уж и быть — дам им те русские вотчины, которые они просят.

Вернулись послы в Рязань и к Ольгерду, но не решились передать своим князьям ханские слова в точности и сказали только, что князь Мамай-де желает им здравствовать, благодарит, восхваляет великими хвалами и обещает даровать вотчины.

Князя Олег и Ольгерд своим зеленым умом поверили послам и обрадовались привету безбожного хана. Шлет Олег Рязанский к Мамаю новых послов: «Приходи, царь, скорее на Русь!»

2

В это время, ничего про то не ведая, князь великий московский Дмитрий Иванович в каменном граде Москве пировал в доме воеводы своего Микулы Васильевича.

По правую руку князя сидел брат его Владимир Андреевич, по прозванию Храбрый, по левую — любимый воевода старый Дмитрий Боброк-Волынский. На своих местах сидели за столом другие его воеводы — Тимофей Волуевич, Иван Родионович Квашня-Углицкий, да Андрей Черкисович, да Данил, да Константин Конович, да иные мужи.

Был пир в полустоле, в самой середине: ни в начале, ни на исходе.

Уже и песельники пели, и гуслиеры на гуслих играли.

— Прикажешь, княже, теперь плясцов позвать? — спросил Микула Васильевич.

Но Дмитрий Иванович покачал головой и ответил:

— Не пляски, не иного скоморошьего веселья желает душа, а хочет словес, которые радуют ум. Вели послать за Софонием.

Пришел молодой монах Софоний с книгой.

— Читай, Софоний, ту повесть об Игорево

походе на половцев, что сложил в старые времена брянский боярин, тезка твой — Софоний, по прозванию Рязанец, — приказал князь Дмитрий Иванович.

Любил князь эту повесть за мудрость, за то, что слагатель ее — старый брянский боярин — сам был воином, сам знал тяжкий ратный труд, знал сладость победы и горечь поражения, потому описал он все правдиво, и писание его волнует сердце.

Сел монах на лавку против князя, развернул книгу и стал читать повесть, сложенную его славным тезкою прежним брянским боярином Софонием, по прозванию Рязанец, которая именовалась «Слово о полку Игореве, Игоря сына Святослава, внука Ольгова».

И так дочитал он до того места, которое не мог читать без слез, до того самого места, где великий князь киевский Святослав сказывает боярам худой сон свой.

«Уже соколам крылья их подрезали поганые саблями, а самих опутали путами железными. Тьма настала на третий день: два солнца померкли, оба багряных столпа погасли, и с ними два молодых месяца — Олега и Святослава тьмою заволокло. На реке на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земле распространились-разлетелись половцы...»

Тут князь Дмитрий Иванович сказал:

— С тех самых давних времен, когда на реке Каяле тьма свет покрыла, с тех самых времен невесела живет Русская земля, тужит и печалится, плачет по детям своим. Но недолго ей тужить, поможет бог, силу соберем, побьем нечестивых.

Только сказал это князь Дмитрий Иванович, как в-gridницу вбежал гонец, весь в дорожной пыли, от усталости еле на ногах стоит, лицо омрачено горем.

— Недобрая весть, князь, — проговорил гонец, — безбожный царь Мамай с несметными своими полчищами, рыкая, как лев, идет на Русь, хочет разорить великое княжество Московское.

Хотя и замышлял князь Дмитрий Иванович против Мамаю воевать, но еще не вся сила русская была под рукою князя.

Князь Дмитрий обратился за советом к митрополиту Киприану, что предпринять ему в такой беде.

— Скажи мне, княже, в чем виновен ты перед неверным ордынцем?

— Нет никакой моей вины перед ханом,— отвечал князь Дмитрий.— Платил я ему дани в два раза больше, чем платил мой отец.

— Заплати вчетверо. Может, тогда утолится его злоба. А если и тогда не утолится, то бог его усмирит.

Послушал князь Дмитрий совета, послал в Орду боярина Захария Тютчева со многим золотом. А вскоре от Тютчева прибыл в Москву гонец. Боярин сообщал, что, дойдя до Рязанской земли, узнал он, что Олег Рязанский и Ольгерд Литовский вступили в тайный сговор с ханом Мамаем против великого князя.

Преисполнилось горести сердце великого князя Дмитрия Ивановича, и воскликнул он:

— Если враг творит зло, то это так и должно быть, потому что он — враг. Но ныне восстали на меня друзья. А я никаких обид им не чинил.

В тот же час князь Дмитрий разослал гонцов ко всем русским князьям, воеводам и боярам и повелел спешно собираться в Москву войску со всей Русской земли.

Вскоре приехал из Боровска князь Владимир Андреевич, пришли ярославские князья и князь Глеб Каргопольский.

Великий князь с братом и князьями тогда пошел в Троицкий монастырь к преподобному игумену Сергию получить благословение на брань.

Игумен Сергей благословил князя Дмитрия Ивановича и все русское воинство, сказав:

— В этой битве ты, господин, победишь своих врагов.

В том монастыре были два чернеца — два опытных воина, два брянских боярина, два бра-

та — Пересвет и Ослябя, и князь Дмитрий приступил к игумену с просьбой:

— Преподобный отче Сергей, дай мне от своей обители двух воинов — иноков Пересвета и брата его Ослябю.

Повелел игумен снарядиться Пересвету и Ослябе, как подобает воинам, и идти с князем.

Тут получил великий князь известие о том, что хан Мамай приближается, и поспешил вернуться в Москву.

В Москве собралось войско со всей Русской земли, по всем улицам стук от оружия, гром от доспехов, по всем дворам стоят воины, во всей Москве и вокруг Москвы.

В четверток, на память святого отца Пимена, русское войско выступило из Москвы навстречу Мамаевым полчищам.

Великий князь Дмитрий Иванович поцеловал княгиню свою Евдокию прощальным целованием, сел на коня, и все князья и воеводы сели на коней. Солнце на востоке сияет, им путь указывает.

Войско выходило из Москвы тремя воротами: Фроловскими, Никольскими и Константиновскими. И далее, разделившись натрое, шло тремя дорогами, потому что по одной дороге такому великому войску не пройти. Князь Владимир Андреевич со своей силой двигался Брашевской дорогой, князья белозерские — Коломенской, а сам великий князь пошел той дорогой, что ведет на Котел.

У Коломны полки соединились и двинулись далее вместе.

4

Между тем Олег Рязанский узнал, что великий князь Дмитрий Иванович поднялся на брань против царя Мамаю, и очень тому удивился.

— Я-то думал, — сказал он, — князь Дмитрий, как и прежние московские князья, не посмеет противустать восточному царю.

А когда узнал, сколько идет с великим князем русского войска, испугался:

— Горе мне, окаянному! — воскликнул он.— Не только отчину свою я потерял, но и душу погубил. И пошел бы я теперь к великому князю московскому, да не примет он меня, потому что знает про мою измену.

Литовский князь Ольгерд в это время уже подошел со своим войском к Одоеву, но, известясь о великих московских полках, встал на одном месте и не решился двинуться далее. Понял Ольгерд свое неразумие.

— Если человеку своего разума не хватает, он ищет чужой мудрости,— сказал он.— Никогда прежде Литва у Рязани ума не занимала, ныне же Олег меня ввел в заблуждение, а сам совсем погиб.

Так и не дождался безбожный царь Мамай Олега Рязанского и Ольгерда Литовского, не пришли они к нему ни на границе, ни потом.

5

На Москве кони ржут, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, гремит оружие по всей земле Русской, идут полки к Дону великому.

В пятый день сентября вышли русские полки к Дону и встали станом.

Два воина из сторожевого полка добыли «языка» — знатного ордынца. Тот «язык» сказал, что Мамаево войско стоит уже на Кузьмине-броде что войска у него бессчетное множество и что будет он на Дону через три дня.

Великий князь Дмитрий Иванович стал держать совет с братом своим Владимиром Андреевичем и другими князьями, стоять ли здесь и ждать Мамаю или переправиться за Дон и там встретить его.

Говорят ему князья:

— Государь великий князь Дмитрий Иванович, за Доном крепче стоять будут полки, ибо отступать некуда. Вспомни, государь: в давние годы Ярослав Днепр перешел и победил Святополка, и Александр Невский победил шведов, перейдя реку Ижору. И тебе, великому князю, так же

надо поступить. Победим врага — всем будет честь, погибнем — так все, от князя и боярина до простого ратника, выпьем одну общую чашу.

Великий князь приказал переправиться за Дон и счесть русское войско.

Говорит князю большой московский боярин князь Федор Семенович Висковатый:

— В твоём, государь, в большом полку семьдесят тысяч.

— В моем полку правой руки, — говорит князь Владимир Андреевич, — сорок тысяч.

Воевода полка левой руки князь Глеб Брянский говорит:

— У меня в полку войска тридцать тысяч.

Говорят воеводы сторожевого полка Микула Васильевич, да Тимофей Волуевич, да Иван Родионович Квашня-Углицкий:

— У нас, государь, в полку тридцать четыре тысячи.

А воевода передового полка князь Дмитрий Владимирович Холмский сказал:

— У меня в полку двадцать пять тысяч.

И в других полках было еще семьдесят тысяч войска, да из Великого Новгорода посадники Яков Иванов сын Зензин да Тимофей Константинович Микулин привели еще тридцать тысяч.

А татар пришло с Мамаём восемьсот тысяч.

С каждым часом приближались татары. Седьмого сентября подскакали передовые татарские отряды к самому русскому стану, а русские сторожа донесли:

— Царь Мамай у Гусинога брода, к утру будет он на Непрядве.

Великий князь повелел готовиться к битве, распорядился, где какому полку стоять, а полк брата своего Владимира Андреевича послал вверх по Дону укрыться в дубраве в засаде и поставил воеводой в нем старого, опытного воина Дмитрия Боброка-Волынского.

Потом великий князь Дмитрий Иванович помолился богу, а помолившись, обратился к войску:

— Сотоварищи, братья мои милые, от мала до велика. Ночь наступает, близится грозный

день. Мужайтесь и крепитесь, стойте на местах своих, ибо утром разбираться некогда — гости близко, уже на Непрядве-реке. Заутро пить нам общую чашу и каждому свою. Уповайте на бога, потому что никто не ведает, что будет с ним завтра.

Стояли русские полки, как неоглядное море, вороненые доспехи колышутся, как морские волны, шлемы на головах сияют золотом, как утренняя заря, султаны-яловцы на шлемах горят, как огненное пламя.

Все воины готовы умереть друг за друга и за Русскую землю.

Не было во веки веков еще такого войска, и не слыхано было про такую отвагу, а ныне стоит оно на поле Куликовом.

Ответили воины князю Дмитрию:

— Мы с тобою готовы умереть, сложить головы за твою обиду, за землю Русскую.

6

Наступила ночь.

Но не спит великий князь Дмитрий Иванович, не спит воевода Дмитрий Боброк-Волынский.

О полночь сели они на коней, выехали в поле и встали между русским и татарским станами.

В татарском войске, слышат они, крик и шум, стук и скрип колесный, будто собирается базар. Позади татарского стана воют волки страшным воем. Справа — воронье грает и орлы клёкчут. На реке же Непрядве гуси и лебеди бьют крыльями, как перед грозной непогодой.

Боброк сошел с коня, припал к земле правым ухом, долго-долго слушал, а встал и поник головой.

— Ну, говори, какое тебе явилось знамение? — сказал князь воеводе.

Но Боброк молчал и только после того, как князь во второй раз приказал ему отвечать, со вздохом проговорил:

— Поведала мне мать сыра земля, что ждет нас и радость и скорбь. Слышал я плач великий. Плачет земля двумя голосами: с одной стороны

слышно, будто старуха рыдает по детям и причитает не по-нашему, с другой стороны — плачет юная девица, а голос ее, как свирель. Это предвестье ведомо мне, и сулит оно погибель язычникам, но и христиан падет великое множество. А твоя держава, государь, будет сильна и велика.

Князь Дмитрий опечалился тем, что многие христиане встретят завтра свой смертный час, и сказал:

— На все божья воля...

7

Утром, на восходе солнца, поднялся густой туман и скрыл от русских татарское войско.

В первый час дня, на восходе солнца, развернули свои стяги все русские полки. Затрубили боевые трубы, и, услыша их, взыграли боевые кони. Не торопясь и не мешкая, спокойно и бодро, идут русские полки каждый под своим знаменем на битву, словно идут на пир мед пить.

Во второй час послышались татарские трубы. Все ближе и ближе они, а самих татарских полков за туманом не видать.

Сходятся два войска на битву. Никогда не бывало столько людей на Куликовом поле, от великой тяжести поле прогибается, реки из берегов выступают.

Великий князь Дмитрий Иванович в булатных княжеских доспехах объезжал на коне полки и держал речь к воинам:

— Воины русские, братья мои милые, бояре и воеводы, и все князья — малые и большие, встаньте за землю Русскую, за веру православную. Не пожалеем себя, и увенчает нас победный венец. Если же падем, то не смерть обречем, но жизнь и память вечную.

Увидел князь Дмитрий Иванович среди воинов передового полка молодого монаха-книжника Софония рядом с седыми старцами Пересветом и Ослябей и сказал:

— Ныне время — стару надобно помолодеть, а удалым людям плеч своих попытать. Если же останешься, Софоний, жив, поведай людям о нас,

о нынешней битве на берегу Донском, сложи слово о нынешнем полку нашем, каково было сложно в давние времена о полку Игоря Святославича. Только то повествует о печали земли Русской, а ты, даст бог, воспоешь победу и радость...

Объехав полки, вернулся князь под свое великокняжеское черное знамя с образом Спаса. Здесь сошел он с коня, снял с плеч красный княжеский плащ, отдал коня боярину Михаилу Андреевичу Брянскому, которого любил, как брата, надел на него свой плащ и повелел ему быть под великокняжеским стягом.

Сам же сел на иного коня, надел простую одежду, взял копьё, железную палицу и встал в ряды воинов.

Князья и бояре в один голос принялись его отговаривать:

— Не подобает тебе, великому князю, биться самому. Тебе, государю, подобает стоять в стороне, молить бога и смотреть, кто как исполняет свою службу и кого как за его службу наградить.

— Братья мои, сыны земли Русской, хочу сам постоять за свою обиду. Если умру, так с вами, если жив останусь, так с вами же, — ответил князь Дмитрий.

8

Туман рассеялся, стало все видать из края в край поля.

Тронулся с места и пошел передовой русский полк князя Дмитрия Владимировича Холмского. Двинулся полк левой руки князя Глеба Брянского.

И татарская рать надвигается: идут и справа и слева. Силы татарской нет числа.

Хан Мамай с четырьмя ордынскими князьями с высокого холма взирал на поле, в нетерпении ожидая, когда прольется человеческая кровь.

Вот из татарского войска выехал вперед огромный печенежин, силою и ростом равный древнему Голиафу.

Троицкий монах Пересвет сказал:

— Сей человек ищет себе противника, я готов

сразиться с ним. Отцы и братья, прощайте. Ты же, брат Ослябя, помолись за меня.

С этими словами Пересвет пришпорил коня и поскакал к печенегу.

Тот пустился ему навстречу.

Сошлись, сшиблись, дрогнула под ними земля, и оба бойца упали с коней на землю мертвые.

— С нами бог! — вскричали воины передового полка, и полк левой руки, и сторожевой полк — и пошли вперед.

Тут двинулся в битву большой полк и все другие русские полки, кроме одного-единственного засадного.

Началась жестокая сеча.

Мечи сверкали, как солнце, от ломающихся копий стоял треск, подобный небесному грому, воины задыхались в тесноте: малó для такого войска оказалось Куликово поле, хотя было оно тридцать верст поперек, а в длину целых сорок. Так много войска сошлось здесь, что второго такого побоища уж не увидишь: в единый только час погибли великие тысячи! Потекли кровавые реки, наполнились озера кровавые.

На шестой час битвы татары начали одолевать. Их конница топтала русских воинов, как траву. Пал конь под великим князем Дмитрием Ивановичем, и сам он был тяжело ранен. Татарского войска на поле прибывало, ряды русских полков редели.

9

Князь Владимир Андреевич Храбрый, что стоял в засаде со своим полком, в нетерпении сказал воеводе Дмитрию Боброк-Волынскому:

— Воевода, что пользы в нашем стоянии? Если будем и дальше медлить, кому на помощь придет, ведь всех наших побьют?

— Еще не подошло время, — ответил Боброк-Волынский. — Но скоро наступит наш час, и тогда воздадим врагу всемеро.

Воины засадного полка плакали, глядя на гибель товарищей, рвались в битву.

Но воевода сдерживал их:

— Еще немного подождите.

. В восьмом часу переменился ветер и подул в спину русским, в лицо татарам.

— Князь, наступило наше время! — громко сказал воевода Боброк-Волынский.

Князь Владимир Андреевич поднял копье, взглянул на знамя с образом военачальника сил небесных — архистратига Михаила, обернулся к воинам:

— Друзья, братья мои, князья и бояре, и все сыны русские, пускайте коней своих за моим след, начинаем биться!

И рванулись воины засадного полка из зеленой дубравы. Как ясные соколы с золотого нашествия на журавлиное стадо, налетели русские витязи на татар, закипела сеча. Повалились враги на землю, как полегает трава под острой кося.

— Увы, увy нам! — закричали татары.— Перехитрили нас русские. До сего часа против нас меньшие бились, а ныне старшие бойцы идут!

Побежали татары и на бегу кричат:

— Увы, увy нам и тебе, Мамай, вознесся ты до небес, теперь пасть тебе в самый ад!

Хан Мамай принялся призывать на помощь своих богов — и Салфата, и Гурса, и Раклия, и великого пособника Махмета.

Но оставили хана его боги и не помогли ему.

Русские воины истребляли Мамаевы полчища, как огонь истребляет солому, и никто не мог спастись от их мечей.

Вскочил хан на коня, ударил пятками и побежал прочь от Куликова поля, и с ним четыре ордынских князя.

Русские конники погнались за ними, но не догнали и вернулись, потому что у татар кони были свежие, а у русских притомившиеся в бою.

На том кончилась великая битва на поле Куликовом.

Князь Владимир Андреевич Храбрый стал под великокняжеским черным знаменем и велел трубить сбор.

Начали войны, кто жив остался, сходитьсь каждый под знамя своего полка.

Конные на конях ехали, пешие пеши шли. Только многие конные в том бою стали пеши.

Сходились воины, неся оружие в усталых руках: у кого копье сломано, у кого меч щербат, у кого доспех рассечен, сходились, покрытые глубокими ранами и рудой кровью.

Иные сами идти не могли, на плечи товарищей опирались.

Иных и совсем на руках принесли.

Но сколько ни трубила труба, не пришел под великокняжеский стяг великий князь Дмитрий Иванович.

Пришли князь Борис Углицкий, князь Михайло Иванович Байков, князь Степан Новосильской и другие князья, а великого князя все нет.

Тогда поехал Владимир Андреевич по полкам, спрашивая, не знает ли кто, где великий князь и жив ли он.

— Я видел князя Дмитрия в пятом часу,— сказал князь Борис Углицкий,— он бился железной палицей.

Михайло Иванович Байков сказал:

— Я тоже видел великого князя, он дрался сразу против четырех татар.

— А я видел князя незадолго перед тем, как вы ударили из засады. Был он ранен и пеш,— сказал князь Степан Новосильской.

Князья и бояре и все, кто остался в живых, разошлись по полю битвы искать великого князя.

Нашли его под горою у речки, лежащего под березой.

Страдая от раны, а еще больше от сердечной скорби, потому что не знал еще о победе, князь Дмитрий Иванович не имел даже силы подняться.

— Радуйся, государь наш, новый Александр — победитель врагов,— приветствовал его князь Владимир Андреевич.

— Что ты говоришь, не разберу,— сказал князь Дмитрий Иванович.

— Говорю, что по милости божьей враг побежден и мы спасены!

Тут силы вернулись к князю Дмитрию, он встал на ноги и сказал:

— Коли бог послал нам победу, то возрадуемся и возвеселимся в этот день.

11

Слуги подвели коня. Великий князь сел на коня и поехал по полю.

Увидел он великое множество павших русских воинов, а побитых татар вчетверо более. Обернулся князь к воеводе Боброку-Волынскому:

— Воистину, оправдалось твое предсказание, воевода.

Ехал великий князь Дмитрий Иванович с братом своим Владимиром Андреевичем и с остальными князьями по ужасному побоищу и, видя гибель стольких православных христиан, сердцем рыдал и лицо умывал слезами.

На поле же Куликовом не видать порожнего места, но все покрыто телами убитых: лежат сыны русские, но всемеро больше побито татар.

Видит князь, лежат убитые восемь князей белозерских, да углицкий князь Роман Давыдович, да четыре сына его: Иван да Владимир, Святослав да Яков Романовичи. Полегли в одном бою, на едином месте.

А далее, видит князь Дмитрий Иванович, полегли князь Михаил Васильевич, да пять князей ярославских, да четыре князя дорогобужских, и тут же князь Глеб Иванович Брянский да Тимофей Волуевич, убит любимец князя боярин Михаил Андреевич Брянский, воевода Данила Белосусов, да новгородские посадники Тимофей Константинович Микулин да Яков Зензин и многие иные.

Восплакал над погибшими великий князь Дмитрий Иванович:

— Братья мои милые, князья и бояре, и все воины русские, простите и благословите в сей жизни и в будущей. Сложили вы головы свои за веру христианскую, за мою великую обиду.

Потом князь Дмитрий Иванович держал речь к тем, кто остался жив после грозного побоища:

— Братья мои, князья и бояре, и все люди русские, вы служите мне, великому князю, так же верно, как служили доселе, и я пожалую вас по заслугам вашим. А ныне прежде всего похороним погибших христиан, да не будут растасканы дикими зверями.

Двенадцать дней разбирали тела убитых. Князей, бояр и дворян великий князь повелел отвезти на Русь, в их вотчины, к женам и детям. Прочих же похоронили на Куликовом поле, на высоком месте, в трехстах тридцати братских могилах, и насыпали над ними большие холмы.

— Прощайте, братья, знать, суждено вам лежать на поле Куликовом, между Доном-рекой и Непрядвой,— сказал князь Дмитрий Иванович.— Сложили вы головы свои за веру христианскую, за землю Русскую. Вечная слава вам и вечная память.

Всего же пало в битве на поле Куликовом полтретья от ста тысяч и еще три тысячи русских, а осталось в живых пятьдесят тысяч.

Татар же было побито бесчисленное многое множество. Живым убежал в Орду только безбожный хан Мамай с четырьмя ордынскими князьями, да и тот в Орде был убит своими же татарами, обрел там бесславный конец.

Князь Ольгерд, услыша про Мамаево поражение и победу князя Дмитрия, с великим срамом поспешно возвратился в Литву. Олег Рязанский бежал из княжества своего и жизнь скончал на чужбине: вырванный яму, сам в нее попадет.

А великий князь московский Дмитрий Иванович с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем Храбрым, со всеми князьями и боярами вернулся с поля Куликова в стольный град Москву с великой славой.

И за ту победу над ордынским ханом Мамаем на берегах Дона получил он имя — князь Дмитрий Донской.

Сложили свои седые головы старцы Пересвет и Ослябя на поле Куликовом, но жив остался молодой монах-книжник Софоний.

Великую печаль и великую радость выпало ему узнать в юные лета, и хватило той печали и радости на всю долгую жизнь.

Много книг составил и переписал старец Симонова монастыря Софоний. И божеское откровение переписывал, и хронографы, и жития, и примечательные послания, и летописи, и притчи хитроумные. Но была одна заветная книга, написать которую дал он обет над святыми могилами Куликова поля. В книге той поставил он рассказать о страданиях Русской земли, о ее беде и трудном освобождении, в память о прежде живших русских людях, в завет и поучение тем, кто будет жить в предбудущие времена.

В книгу ту вписал старец Софоний «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о несчастной битве на реке Калке», «Повесть о разорении Рязани ханом Батыем», но вписал также «Сказание о Евпатии Коловрате» и «Житие великого князя Александра Невского» и многие другие слова и повести.

И наконец наступил тот светлый день, когда подошел черед от повествования о страданиях и разорении земли Русской перейти к повествованию о мужестве русских сынов и славной куликовской победе.

Очистив и возвысив душу свою усердной молитвой, радуясь и ликуя сердцем, держа в памяти слова великого князя Дмитрия Ивановича о песне старого Софония Рязанца про Игорев поход, что сказаны были в достопамятный день битвы Куликовской, приступил Софоний к завершению труда и святого обета своего.

«Задонщина. Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, яко победили супостата своего — царя Мамаю.

Соберемся вместе, братья и други — все сыновья Руси, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю и ввергнем в печаль восточные страны — Симов жребий, поведаем о низвержении поганого Мамаю, а великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его Владимиру Андреевичу возгласим похвалу, и речем сие слово.

Может быть, надо поведать иными словами похвальную нынешнюю повесть о полку великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, правнука святого великого князя Владимира Киевского. Поведаем же всю истину, расскажем правдиво, как было дело.

Но прежде вознесем мыслию над землями и временами, помянем древние времена, вспомним вешего Бояна, искуснейшего гудца в Киеве. Тот Боян, когда возлагал искусные свои персты на живые струны, то пели они славу русским князьям — старому князю Игорю Рюриковичу, и великому князю Владимиру Святославовичу киевскому, и великому князю Ярославу Владимировичу.

~~Я же помяну также Софония Рязанца, боярина брянского, и его ладом, его песней и гусельной смелой речью его восхваляю великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича, правнука святого великого князя Владимира Киевского, ибо так же достойно песенной хвалы мужество их, с коим встали они за землю Русскую, за веру христианскую.~~

Оле, жаворонок — летняя птица, красных дней утеха! Возлети под синие небеса, взгляни на сильный град Москву...»

Так писал монах Софоний в память и похвалу дней минувших и в поучение дням будущим.





МОСКОВСКИЕ СЛОВА И СЛОВЕЧКИ

Предисловие

Истоки, неисчерпаемая кладовая и сама по себе обширная, обладающая высочайшими художественными достижениями область нашей словесности — это народное творчество, фольклор.

В общую сокровищницу русского фольклора входит и то, что создано на Московской земле.

С. В. Максимов, автор замечательной, всем известной книги «Крылатые слова», отводит московскому народному слову особое место среди русских народных произведений.

С одной стороны, он отмечает общерусские корни всего московского: «Москву собирала вся Русь и сама в ней засела».

А с другой — московскую своеобычность: «За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречия, свои песни, пословицы и поговорки и привела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Недаром говорится, что отсюда (имеется в виду название места, где говорится поговорка) «до Москвы мужик для поговорки пешком ходил».

Меткое и выразительное, характеризующее ту или иную жизненную ситуацию, характер того или иного человека, общепонятное, общеупотребительное пословичное слово часто, если вдруг

задуматься не над переносным его значением, а над прямым смыслом, представляется загадочным и (говоря словами С. В. Максимова) «либо темною бессмыслицею, либо даже совершенной чепухой».

Но зато какую глубину и какие новые краски обретает слово, когда оно кроме переносного, абстрактно-знакового значения наполняется конкретным жизненным содержанием!

Москвичи всегда отличались пытливостью и любили объяснять и растолковывать. А. Н. Островский в «Записках замоскворецкого жителя» отметил эту страсть москвичей и добродушно посмеялся над ней.

«Страна эта,— пишет Островский,— по официальным известиям, лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместьев к этой птице. Привязанность эта выражается тем, что для скворцов делают особого рода гнезда, называемые скворечниками. Их вот как делают: сколотят из досок ящичек, совсем закрытый, только с дырочкой такой величины, чтобы могла пролезть в нее птица, потом привяжут к шесту и поставят в саду либо в огороде. Которое из этих словопроизводств справедливее, утвердительно сказать не могу. Полагаю так, что скворечник и Москва-река равно могли послужить поводом к наименованию этой страны Замоскворечьем, и принимать что-нибудь одно, значит — впасть в односторонность».

В этой представляемой читателю ниже небольшой подборке собраны некоторые пословицы, поговорки, названия, то, что Максимов называл «крылатыми словами», которые вызвала к жизни, отшлифовала и пустила в плаванье по необъятному океану русской речи московская история и московский быт.

Иногда для объяснения того или иного речения приходилось обращаться к весьма отдален-

ным временам, но, как говорится (и читается в «Пословицах русского народа» В. И. Даля): «Старинная пословица не мимо молвится».

Материалами для «Московских слов и словечек» послужили работы С. В. Максимова и В. И. Даля, различные словари русского языка, исторические документы, воспоминания москвичей, литературные произведения и живая московская речь.

На сторонний взгляд

Пословиц и поговорок, в которых упоминается Москва, довольно много. В книге В. И. Даля «Пословицы русского народа» они рассыпаны по самым разным разделам: в разных случаях жизни народ вспоминает Москву.

Эти пословицы, скорее всего, созданы не москвичами, а жителями других областей России и отображают их отношение к столице и представление о московской жизни.

Многие мысли, образы и сравнения этих пословиц напомнят высказывания о Москве Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и других крупнейших русских писателей. (Например, рассуждение Л. Н. Толстого в «Войне и мире»: «Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать; всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города».)

Образ Москвы, нарисованный пословицей, настолько ясен, что не нуждается ни в каких пояснениях.

Москва — матушка.

Москва — сердце России.

Москва не город, а целый мир.

Москва у всей Руси под горой — в нее все катится.

Москва веками строилась.

Москва царство, а наша деревня — рай.

Кто в Москве не бывал, красоты не видал.

Москва белокаменная.

Москва-матушка — золотые маковки.

Москва людей не боится.

И новый платок наденешь, да половина Москвы не проведает.

Москва слезам не верит.

Поезжай в Москву, там все найдешь.

В Москве все найдешь, кроме птичьего молока, отца да матери.

В Москву за песнями.

Славна Москва калачами, Петербург — усадами.

Москва любит поговорить.

Харитон с Москвы прибежал с вестями.

Была бы догадка, а в Москве денег кадка.

Говорят, в Москве и кур доят.

Наш городок — Москвы уголок.

Названия улиц

Одно из самых трудных дел — придумать имя или название. Не выбрать из уже существующего стандартного набора, а именно придумать, чтобы оно было точное, выразительное, запоминающееся.

Среди пишущих бытует термин «Муки заголовка». Все писатели испытали эти муки: и Лев Толстой, и Чехов, и Горький. А Константин Паустовский, названия которого, казалось бы, сами собой родились из произведения, так они слиты с ним, однажды воскликнул: «О, эти мучительные поиски названий!»

Впрочем, «муку названия» знает каждый, потому что называть приходится не только же книги.

А имя, название — очень важно и для того, что называют, и для того, кто употребляет это название.

Известный русский композитор М. А. Балакирев (у всех на слуху его замечательный романс на стихи А. В. Кольцова «Обойми, поцелуй...») заметил: «Легче запомнить улицу, называющуюся Преображенская, Сергиевская, Проломная, чем 1-я линия, 2-я линия, 3-линия, хотя с первого раза последнее кажется легче, а на деле вы-

ходит, что даже сами извозчики часто ошибаются в линиях Васильевского острова. Эдакие названия уже скверны потому, что тут нет, собственно, названия, образности».

В названиях мест обитания, или, как их называют, топонимах, народное языковое творчество проявляется прежде всего, и удачное, образное название обычно живет века, сохраняя память о былом и радуя многие поколения счастливо найденным словом.

Москва — настоящий кладезь народного топонимического творчества, названия многих улиц, переулков, местностей — это целые повести, заключенные в одно-два слова.

Но как всякое собрание, хотя бы и самых разнородных повестей, составляет библиотеку, в которой можно обнаружить некую систему, так и о названиях московских улиц, несмотря на все их многообразие и яркую индивидуальность многих из них, можно говорить как о системе, имеющей свои исторические и художественные законы и принципы создания.

Наиболее древние названия улиц пришли из тех времен, когда город только еще начинался. В них отразилась не история, которой еще не было, а география: сведения о рельефе, растительности, почвах, речках, ключах.

Некоторые из этих названий дошли до настоящего времени. О возвышенностях говорят Краснохолмская набережная, улицы Большие и Малые Кочки; наоборот, о низких местах — Вражские переулки («вражек» — старая форма слова «овраг»), Сивцев Вражек и Балканский переулок (о слове «балкан» А. Н. Островский писал как о московском областном, которое обозначает «продол между лесом и нагорьем»). Болотная площадь, Моховая улица отметили, что здесь некогда были болота, Полянка — шла среди полей.

Спасопесковский и Спасоглинищевский переулки свидетельствуют, что первый стоит на песке, второй — на глине.

О лесах, среди которых возникла Москва, общаются Боровицкая улица, Елоховский переулок («елоха» — дерево ольха) и соседний с ним Оль-

ховский. Но и позднейшие, сделанные уже человеческими руками посадки деревьев тоже дали названия Садовым улицам, улицам Липки, Липовой и Лиственничной аллеям, Тополеву переулку.

Правда, Тополев переулок получил свое название не в далекие времена, а в начале 1920-х годов, прежде он назывался Новопроектированным. В 1921 году при Моссовете была создана специальная комиссия по переименованию улиц. «По предложению комиссии,— рассказывает один из ее членов — историк-московед П. В. Сытин,— были заменены названия, в какой-либо мере связанные с памятью о царском режиме, именами членов «царской фамилии», бывших заправил царской реакции и т. д. Новые названия давались по территориальному признаку — близости к фабрике или заводу, станции железной дороги, роще или лесу и т. п.»

Мне рассказывал участник этого переименования педагог и краевед А. Ф. Родин, что перед тем, как переименовать этот самый Новопроектированный переулок, который давно уже перестал быть новым, комиссия, по принятому правилу, поехала осмотреть переулок. Дело было зимой, и внимание комиссии привлекли только деревья, росшие вдоль переуллка. Решили, что это тополя, и по ним назвали переулок. Потом кто-то попал туда летом, глядит — а тополя вовсе не тополя, а вязы. Но название менять было поздно, так и остался переулок Тополевым. Гораздо осмотрительнее поступили в 1960 году, назвав вновь разбитый бульвар Сиреневым, на котором в оправдание названия потом высадили кусты сирени.

Некоторые московские улицы напоминают о речках и ручьях, некогда протекавших по городу, а теперь заключенных в трубы и спрятанных под мостовой.

Самая известная из них — Неглинка, текущая под улицей Неглинной, пересекаемой улицей Кузнецкий мост. Сейчас — ни реки, ни моста, одни названия. А полтора столетия назад еще были река и мост.

Вот как описывает их, вспоминая первые годы XIX века, профессор Московского университета И. М. Снегирев: «Обыкновенный мой путь в университет лежал канавой (Неглинным каналом), обложенной диким камнем. Так как в дождливое время по обе стороны канавы были непроходимые грязи, то я пробирался по камням. Канавка вела на каменный Кузнецкий мост, на который надобно было всходить ступеней пятнадцать под арками. Теперь (1866) все это сравнено так, что и следу нет арок и ступенчатой лестницы, на которой сживали нищие и торговки с моченым горохом, разварными яблоками и сосульками из сухарного теста с медом, сбитнем и медовым квасом — предметами лакомства прохожих».

Москва возникла в те времена, когда каждый город прежде всего был крепостью. Москву окружали четыре кольца крепостных стен. Центральное кольцо — Кремль — целиком сохранилось до сих пор, примыкавшие к Кремлю стены Китай-города — частично, а стены Белого и Земляного города разрушены полностью. Но в названиях осталась память о башнях и воротах в этих башнях: Покровских, Петровских, Яузских...

О прежних заградительных сооружениях говорят также названия Крестьянская застава, Серпуховская застава, Симоновский вал, Валавая улица. К ним относятся и улицы Зацепа и Щипок.

Помните, в известном детском стихотворении С. Михалкова:

...до Зацепы
Мама водит два прицепа.

Старинное название улицы Зацепа, а также названия Зацепских площади, проездов, тупика и вала сохранились с конца XVII века.

В 1685—1722 годах здесь проходила таможенная городская граница, и проезд был загорожен цепью, чтобы возы с товаром не могли проехать без таможенного осмотра. Примыкающая к заставе за цепью местность называлась Зацепской.

А ближайшая к Зацепской площади улица на-

зывается Шипок, к ней примыкают Шипковские переулки. Это название также имеет отношение к таможенному осмотру. Нынешнее название несколько переименовано, раньше оно произносилось Щупок. Здесь длинной остроконечной железной палкой — щупом протыкали возы соломы и сена, чтобы узнать, не скрывается ли внутри них какой запрещенный товар.

Д. Никифоров, автор книги «Из прошлого Москвы. Записки старожила», рассказывает, что еще в шестидесятые годы XIX века здесь дежурил сторож со щупом, который следил, чтобы в Москву не провозили вина, потому что в городе оно продавалось дороже, чем в сельских местностях. И это, конечно, способствовало сохранению старинного имени улицы.

Трудовая ремесленная Москва — а ремесленники селились слободами по профессиям — живет в многочисленных современных названиях: Гончарные переулки, Каменщики, Каретный ряд, Котельнические переулки, Кожевническая улица, Ружейный, Серебрянический, Скорняжный переулки, Бронные улицы (*бронники* — мастера, выделявавшие бронь-кольчуги), Кадашевская набережная (*кадаши* — бондари, делавшие *кади* — кадушки, бочки) и многие другие.

Наследниками названий улиц по ремесленным слободам стали улицы и переулки, получившие названия по ближайшим фабрикам и заводам, которые бурно начали строить в Москве во второй половине XIX века.

Амовский проезд получил в 1915 году название от завода АМО (Акционерное машиностроительное общество). Теперь он называется Автозаводской улицей. По газовому заводу названа Газовская улица, по кирпичному — Кирпичная, по колокольным заводам — Колокольников переулок.

Распространенным видом названий улиц и переулков были названия по фамилиям домовладельцев. Таких названий, хотя все давно уже не помнят их происхождения, осталось много и сейчас: Глазовский, Даев, Докучаев, Зайцев, Калошин, Козловский, Козицкий, Костомаровский,

Лаврушинский, Лялин переулки, Молчановка, Орликов, Олсуфьевский, Рахмановский переулки, и так далее. Но названия, данные по домовладельцам, часто менялись: так, Гарднеровский переулок, названный по домовладельцу — известному фарфоровому заводчику, до этого назывался Корниловским и Волковым — тоже по домовладельцам, а Глазовский был Несвицким.

В отличие от домовладельческих названий гораздо устойчивее были названия по церквям и монастырям: Борисоглебский переулок — по находящейся в переулке церкви Бориса и Глеба, Петровка — по Петровскому монастырю, Харитоньевский переулок — по церкви Харитония и т. д. Но это и понятно: церковь была обычно не только самым большим и красивым сооружением на улице, но и общественным центром. А кроме того, названия московских церквей отличались изобретательностью, образностью и такой живой фантазией, что по одному названию можно представить и саму церковь, и местность, где она стоит.

К разряду «церковных» названий можно отнести Потаповский переулок. Он назван так в 1922 году, пишет П. В. Сытин, «по замечательному зодчему-самородку Петру Потапову, построившему в 1696—1699 гг. церковь Успения на Покровке, которую зодчий XVIII в. В. И. Баженов ставил по архитектуре наравне с собором Василия Блаженного». Церковь Успения на Покровке снесена в 1930-е годы.

Давали повод для наименований различные стороны городского быта.

Улица Ленивка получила свое название от малолюдного, «ленивого» торжка-базара, который находился здесь в XVII веке.

Лихоборы обязаны названием тому, что в XVII—XVIII веках тут в «лихом бору» нападали на проезжих разбойники.

Спасоналивковский переулок назван по церкви Спаса, что в Наливках. А откуда взялось название Наливки, рассказывает в своих записках Олеарий, секретарь голштинского посольства, посетивший Москву в середине XVII века:

«За Москвой-рекой... часть эта построена... для иноземных воинов... и называется Налейки именно по причине господствующего там пьянства; ибо слово «Налей!» значит у русских: поднеси! Это особое помещение для иноземных войск устроено потому, что иноземцы преданы пьянству еще более Москвитян, и так как нельзя было надеяться, чтобы искоренить в них привычку, так давно ими усвоенную и сделавшуюся даже их врожденным пороком, то им и предоставили полную свободу пить».

А есть и названия-загадки. Например, Арбат. Самое распространенное объяснение производит название от арабского слова «арбад» — пригороды, потому что здесь, вероятно, жили восточные купцы. Но в Москве существует также Арбатецкая улица, совсем в другом конце города, вряд ли и там жили восточные купцы.

Так и остается, по песне Булата Окуджавы:

Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат...

Значение городских названий не остается неизменным, иной раз с течением времени оно наполняется новым содержанием, по-новому осмысливается. Бывает, прозаические названия обрастают поэтическими легендами. На Крымской набережной есть Бабьегородские переулки. Свое название они получили в XVII—XVIII веках, когда велись работы по укреплению берега реки сваями, которые вбивали при посредстве «баб» — тяжелых подвесных молотов. За то долгое время, что велись работы, эти «бабы» достаточно намозолили глаза окрестным жителям.

Но позже, когда работы были закончены, «баб» разобрали и увезли, память о них сгладилась, и тогда-то возникла легенда о «Бабьем городке».

В легенде рассказывается. Было это в XIV веке, подступили к Москве татары, а князя с дружиной в городе не случилось, одни бабы с детишками и стариками остались. Тогда поставили бабы на берегу Москвы-реки наскоро городок, за-

крылись в нем и стали оборону держать. Крейко бились бабы, не удалось татарам взять их городок, да еще во время вылазок бабы немало их побили, и ушли татары из Москвы.

Каждое время оставляет свой след в топонимике города. В современных названиях московских улиц, площадей, проспектов, переулков широко и ярко отразилась советская эпоха.

В первые же послереволюционные годы некоторые улицы переименовываются и получают новые, революционные названия. Так, в Москве появляются площадь Революции и Советская площадь, Рабочие улицы, улица Коммунистическая. Владимирка — печально знаменитая дорога на каторгу — стала называться шоссе Энтузиастов.

Названиями улиц город почтил память революционеров — борцов за народное дело; в их честь названы улица Степана Разина, Пугачевская, Бунтарские улицы, Радищевская, Бакунинская, Кропоткинская. Целый ряд названий дан в память революции 1905 года и Московского декабрьского вооруженного восстания, особенно в районе Пресни, где происходили наиболее ожесточенные бои.

В 1919 году Старая Басманная улица была переименована в честь основателя научного коммунизма и стала называться улицей Карла Маркса.

Поступь новой жизни, социалистическое строительство, бурный рост промышленности давали названия новым улицам Москвы или же новые имена старым: Рабфакровский переулок, Вузовский, Колхозная площадь, Электrozаводская улица...

Стремление запечатлеть новое в жизни далеко не всегда щадило историческую память. При переименованиях Москва лишилась многих интересных и выразительных названий улиц, хранящих память о давней московской жизни. Правда, когда заходит речь об истории Метростроевской улицы, часто называют ее старое название — Остоженка, возникшее в те времена, когда здесь находились заливные луга и стога составляли характерную деталь пейзажа, и про улицу

Горького помнят, что она называлась Тверской.

Рост территории Москвы, образование большого количества новых улиц позволили отразить в их названиях многое из того, чем мы гордимся в истории нашей Родины и в современности.

Улицы получают названия в честь деятелей Коммунистической партии: Ленинский проспект, Калининский проспект, Русаковская улица, проезд Скворцова-Степанова, улица Обуха; в честь советских полководцев: улица Фрунзе, проспект Буденного, улицы Тухачевского, Толбухина, Рыбалко; в честь героев Великой Отечественной войны, крупнейших деятелей науки и искусства, в честь памятных событий.

Сейчас много московских улиц носят имена писателей: русских классиков — Пушкина, Гоголя, Чехова, Лескова, Л. Н. Толстого, Достоевского, Аксакова, Рылеева, Писемского, Гончарова, советских — Фурманова, Серафимовича, Маяковского, Есенина, Горького, А. Н. Толстого, Фадеева, Асеева, Федина, Паустовского. Список этот далеко не полон.

А до революции писательским именем называлась одна-единственная улица — Погодинская. Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — писатель, историк, профессор Московского университета. А. С. Пушкин назвал его «истинным талантом». Но улица получила имя Погодина не в знак уважения его литературных заслуг и таланта, а потому, что на этой тогда окраинной и малозаселенной улице он имел свой дом и считался весьма заметным — конечно, по масштабам улицы — домовладельцем.

У черта на куличках

«Ох как далеко! У черта на куличках!»

Это емкое «у черта на куличках» прекрасно вмещает в себя целую гамму информации и эмоций: тут и сообщение о крайней отдаленности места, и о том, что это место — дикая глушь, и горькое сетование, что надо туда ехать или — еще хуже! — приходится там жить. Но что оно

значит, это выражение, само по себе — черт его знает!

А в общем-то, все не так сложно, только надо заглянуть лет на полтысячи назад. Черт — он так и есть черт — враг человеческий. Слово же «*кулички*» (или в другом произношении — *кулишки*, *кулижки*) по-древнерусски значит «болото». Как известно, нечистая сила особенно любит обитать в болотах, поэтому понятно, что и черт выбрал своим местопребыванием кулички, то есть болото. Другими словами, «у черта на куличках» значит «пропащее место».

Древняя Москва изобиловала болотами. В. И. Даль приводит старую поговорку: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят». Память о древних болотистых местностях, которые по мере освоения города осушались и пропадали, долго еще оставалась в названиях. Еще в начале XX века в Москве существовали церкви: Всех Святых на Кулишках, Рождества Богородицы в Кулишках, Трех Святителей в Кулишках.

Неопределенность и специфичность топографического указания, содержащегося в выражении «у черта на куличках», послужила зачином для широко распространенных пародий на характер старых московских адресов.

В. И. Даль приводит несколько таких шуток, записанных им в Москве.

На вопрос приезжего о том, где находится такое-то место, шутник москвич отвечал:

— У черта на кулижках.

— Где? — переспрашивал, не поняв, приезжий.

На это следовал ответ:

— Против неба на земле!

А вот какой вид имели пародии-адреса, включавшие в себя названия старинных московских местностей, находящихся в разных, прямо противоположных концах города.

«У Всех Святых на Кулижках, что в Кожухове за Пречистенскими вороты, в Тверской ямской слободе, не доходя Таганки, на Ваганке, в Малых Лужниках, что в Гончарах на Воргунихе, у Николы в Толмачах, на Трех горах и пр.»

«За Яузой на Арбате, на Воронцовском поле, близ Вшивой горки, на Петровке, не доходя Покровки, за Серпуховскими воротами, позади Якиманской, не доходя Мещанской, в Кожевниках, прошедши Котельников, в Кисловке под Девичьим, в Гончарах, на Трех горах, в самых Пушкарях, на Лубянке, на самой Полянке и пр. и пр.».

Приведя эти пародии, В. И. Даль поясняет их смысл: «*т. е. нигде*».

Литературная форма шуточных адресов пародирует московскую манеру определения местоположения определенной территории.

В 1504 году царь Иван III в духовном завещании, отказывая сыну село Сущево (нынешние Сущевские улицы), так определяет его границы: «На ту улицу, что идет к городу мимо Петр святой чудотворец, вверх Неглинны до Рождественского переулка. Да не дошед Петра святого направо Рождественским переулком до той улицы, что идет от города мимо Юрьи святой каменную церковь к Сущеву на Дмитровскую дорогу. Да через ту Юрьевскую улицу тем же Рождественским переулком до лавок до хлебных, что стоят на той улице, что идет улица от города мимо Василей святой на Могилицах, к лавкам ко хлебным. Да от лавок тою же улицею прямо мимо Федосей святой на поле, на Тверскую дорогу, да Тверской дорогой до Сущевской межи».

Подробность и описательность московских адресов сохранялась в последующие века. Хоть с XVIII века в Москве уже существовала нумерация домовладений, москвичи не доверяли «цифры» и предпочитали словесное объяснение.

Н. М. Карамзин, сетуя на официальную краткость адреса писем, присылаемых ему из Петербурга, просит: «...пиши ко мне, не забудь в надписи прибавить: в доме Плещеева на Тверской. Постиллионы наши не из Лаконии». А потом еще велит указывать: «...в приходе Василия Кесарийского», потому что названия церквей казались надежнее названий улиц и переулков.

М. С. Щепкин тоже всегда указывал свой адрес по ближайшей церкви: «Большой Спасский переулочек у Спаса на Песках».

Т. Л. Щепкина-Куперник вспоминает, что дом, в котором она жила в юности в Москве, имел «чисто московский адрес: «Божедомка, дом Любимова, что против большой ивы».

Традиции живучи, тем более имеющие такие глубокие корни.

На днях звонит мне приятель:

— Я получил новую квартиру у черта на куличках, в Бабушкине. Запиши адрес. Выйдешь из электрички, на другую сторону не переходи, иди в туннель, за туннелем будет площадка, на ней табачный киоск, магазин «Вино», повернешь на улицу за «Вином», там дома с одной правой стороны, пройдешь три дома, потом будет девятиэтажный дом, по тропинке обойдешь его справа до серого дома, увидишь два зеленых корпуса, в промежутке между ними, перпендикулярно к ним стоит наш корпус, от правого угла третий подъезд, второй этаж, из лифта налево, первая дверь. Записал? Ну, приезжай в это воскресенье.

Москва от копеечной свечки сгорела

Увы! Это не просто фигуральное выражение, обозначающее, что от ничтожной причины может произойти большое несчастье.

Вплоть до XVIII века Москва была деревянным городом, и пожары в ней бушевали почти постоянно. Кратко, но выразительно отмечали летописцы очередное бедствие: «и посад, и Кремль, и Загородье, и Заречье погоре», «только три двора осталось», «и Оружничая полата вся погоре с воинским оружием, и Постельная полата с казною выгоре вся; и в погребах на царском дворе, под полатами, выгоре вся деревянная в них». Часто горели лавки на площади перед Кремлем, отчего и площадь называлась Пожар.

Иногда становилась известна причина пожара.

В летописи под 1365 годом описан был большой летний пожар. Стояла засуха, к тому же поднялся ветер, за два часа город выгорел дотла.

Делу время, а потехе час

Царь Алексей Михайлович был страстным любителем соколиной охоты. С ранней весны до поздней осени он почти ежедневно выезжал в поле.

Царская соколиная охота была хорошо организована. В двух больших «кречетнях» в селе Коломенском и селе Семеновском содержалось более трех тысяч ловчих птиц. Их обслуживали сотни слугителей-сокольников. Огромные средства тратились на соколиную охоту, птиц доставляли издалека — с Двины, из Сибири, с Волги, каждую птицу везли «с бережением» в особом возке, обитом войлоком.

Одежды сокольников и снаряжение птиц поражали своим богатством — золотым шитьем, драгоценными камнями. Иностранцы, которых царь в знак выражения особой милости приглашал на охоту, описывали ее восторженно.

Ведало царской охотой самое влиятельное учреждение в государстве — Тайный приказ.

Какое важное, можно сказать, государственное значение придавалось при дворе Алексея Михайловича соколиной охоте, рассказывает австрийский посланник Мейерберг. Однажды он попросил показать ему охотничьих кречетов. После просьбы прошло полгода, посланник потерял надежду, что его просьба будет исполнена, тем более что ему объяснили: птиц показывают только лицам приближенным и удостоенным особой милости.

Но полгода спустя, «в воскресенье на масленице... вдруг вошел к нам в комнату первый наш пристав и с великою важностью, как будто было какое-нибудь особенное дело, пригласил нас перейти в секретный кабинет наш,— описывает Мейерберг.— Вслед за нами явился туда царский сокольничий с 6 сокольниками в драгоценном убранстве из царских одежд. У каждого из них на правой руке была богатая перчатка с золотыми обшивками и на перчатке сидело по кречету. Птицам надеты были на голову новенькие шелко-

вые шапочки (клобучки), а к левой ноге привязаны золотые шнурки (должики). Всех красивее из кречетов был светло-бурый, у которого на правой ноге блистало золотое кольцо с рубином необыкновенной величины. Пристав обнажил голову, вынул из-за пазухи свиток и объяснил нам причину своего прихода. Мы стоя слушали, как он читал: «Дело было в том, что великий государь, царь Алексей Михайлович (следовал полный его титул), узнав о нашем желании видеть его птиц, из любви к верному своему брату — римскому императору Леопольду прислал к нам на показ 6 кречетов».

В 1656 году по повелению царя было составлено подробнейшее руководство по соколиной охоте «Книга глаголемая Урядник: новое уложение и устроение чина сокольничья пути». В «Уряднике» не столько говорится об охоте, сколько о правилах этикета, которым необходимо следовать во время царских охотничьих выездов: «А шапку подсокольничьему снять в ту пору, как увидит государевы пресветлые очи. И челом ударя государю, подсокольничий отступит от стола и от наряда на правую сторону. И мало постояв, подступает бережно... и молвит: *Время ли, государь, образцу и чину быть?*»

Самым подробнейшим образом описывается, кто куда должен ступить, с какими словами к кому обратиться, какой ответ получить и так далее.

Зная любовь царя к охоте, автор «Урядника» во вступительном слове к книге безудержно восхваляет охоту, надеясь, видимо, что никакие хвалы ей в глазах царя не будут излишни.

«Молю и прошу вас, премудрых, добродородных и доброхвальных охотников... на поле утешайтесь и наслаждайтесь сердечным утешением во время. И да утешатся сердца ваши, и да пременяются и не опечалются мысли ваши от скорбей и печалей ваших... Охотнику несть в добыче и в ловле рассуждения временам и порам: всегда время и погоде в поле... Избирайте дни, ездите часто, напускайте, добывайте, нелениво и бесскучно...»

Но Алексею Михайловичу подобное возвеличение охоты и предпочтение ее всему остальному

показалось чрезмерным, и он под рассуждениями утратившего чувство меры угодника приписал, напоминая, что кроме «славной и хвальной» охоты существуют и более важные дела: «...правды же и суда и милостивыя любви и ратного строя николиже позабывайте: *делу время, а потехе час*».

Видимо, потому, что слова эти были сказаны таким любителем соколиной охоты, как царь Алексей Михайлович, к тому же, по общему мнению, ставившему ее в разряд государственных дел, они произвели большое впечатление на современников и вошли в число «крылатых слов».

Коломенская верста

Среди царских подмосковных сел Коломенское — одно из древнейших, если не самое старое; известно, что оно принадлежало еще Ивану Калите.

Московские князья наезжали в Коломенское, жила там. Дмитрий Донской останавливался в нем, возвращаясь с Куликовской битвы. Иван Грозный построил здесь себе потешный, то есть увеселительный дворец. Но наибольший расцвет Коломенского приходится на середину XVII века, на царствование Алексея Михайловича, который сделал это село своей постоянной летней резиденцией. При Алексее Михайловиче был построен в Коломенском новый дворец.

Замысловатой архитектурой и красотой Коломенского дворца, построенного целиком из дерева, восхищались современники — россияне и иностранцы.

Он представлял собой прихотливое, на поверхностный взгляд случайное, но в действительности глубоко обдуманное столпотворение теремов, башенок, переходов, сеней, гульбищ, крытых самыми разнообразными по форме крышами — шатрами, кубами, луковицами, шлемами, бочками; окна были обрамлены резными наличниками,

кровли украшены железными позолоченными подзорами, флюгерами и прапорами.

Коломенский дворец поражал также и своей обширностью: в нем было 270 помещений. Внутри он был расписан хитрой росписью: цветами, травами, фигурами, изображавшими страны света, времена года, знаки Зодиака, картинами на сюжеты древней истории и Библии. Многие живописные работы исполнил лучший тогдашний московский живописец Симон Ушаков. Под стать была и мебель: резные, мраморные и полированные — «на китайское дело» — столы, стулья, скамьи. Печи облицованы цветными изразцами. Во дворце было собрано много диковин. Одна из них: механические звери — львы, которые под действием скрытого механизма разевали пасти и рыкали.

Придворный поэт Алексея Михайловича ученый монах Симеон Полоцкий написал приветственные стихи на благополучное вселение царя в новый дворец «предивною хитростию, пречудною красотою в селе Коломенском новосозданный».

Видя в дом новый ваше вселение,
в дом, иже миру есть удивление,
В дом зело красный, прехитро созданный,
честности царской лепо сготованный.
Красоту его можно есть равняти
Соломоновой прекрасной полате...
А злато везде пресветло блистает,
царский дом быти лепота являет.
Написания егда възглядаю,
много историй чудных познаваю...
Окна, яко звезд лик в небе сияет,
драгая слюдва, что сребро, блистает.
Множество жилищ, градови равнится,—
все же прекрасны,— кто не удивится!..
Единым словом, дом есть совершенный,
царю велику достойне строенный;
По царской чести и дом зело честный,
несть лучше его, разве дом небесный.
Седьм дивных вещей древний мир читаше,
осьмый див сей дом время имат наше.

Из Москвы в Коломенское была проложена и соответствующая дорога, не в пример обычному российскому бездорожью — выровненная, подсыпанная, с крепкими мостами, исправными гатями. Вдоль дороги были вкопаны высокие версто-

вые столбы, что тоже было новинкой и диковинкой.

Эти огромные верстовые столбы сразу приметились москвичам, и рослых людей в Москве стали дразнить:

— Эй ты, коломенская верста!

Так и пошло, что до сих пор высокого человека называют коломенской верстой.

Долгий ящик

Для того чтобы челобитные, написанные на имя царя, попадали в царские руки, минуя подьячих, чтобы каждый мог эту челобитную вручить вроде бы непосредственно самому государю, царь Алексей Михайлович повелел возле своего дворца в Коломенском на особом столбе поставить ящик, в который всякий, кому была в том нужда, мог опустить жалобу или прошение на царское имя.

Обиды на Руси много, челобитных пишется без числа, потому поставили ящик большой и глубокий — «долгий», как называли тогда.

Слово «долгий» в русском языке имело (да и сейчас имеет) несколько значений. «Долгий» — это протяженный в пространстве, здесь оно близко к слову «длинный»: долгобородый, долгоногий. «Долгий» — это просто большой; сейчас мы не чувствуем в слове такого значения, но его сохранили древнерусские письменные памятники: «Стоит град долог, а в нем сидит царь с царицей». И наконец, «долгий» — значит протяженный во времени: долговременный, долголетие. Все эти оттенки значения одного слова и способствовали тому, что выражение «долгий ящик» обрело столь долгую жизнь.

В «долгий ящик» царя Алексея Михайловича посыпались челобитные.

Жаловались бедняки, обиженные «сильными людьми», на свои обиды: у кого отобрали имение, кого в холопы забрали, кого боярин до полусмерти забил, кого приказные до нитки отобрали.

О содержании жалоб простого люда — а для него и предназначался царский ящик — дает яркое представление общая челобитная москвичей, поданная царю перед Соляным бунтом в 1648 году.

«Тебе, великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Руси, представляем мы все от всяких чинов людей и всего простого народа... С плачем и кровавыми слезами... челом бьем, что твои властолюбивые нарушители крестного целования, простого народа мучители и кровопийцы, и наши губители, всей страны властвующие, нас всеми способами мучат, насилья и неправды чинят».

Наряду с жалобами на большие притеснения писали и о мелких, но для бедного человека чувствительных обидах.

Маринка, Лукьянова дочь, жена владельца какой-то маленькой лавчонки на Тверской улице, жаловалась на бесчинство объезжего головы: «...объезжий Василей Нагаев... учал меня бранить и поталкивать, беременного человека... и ныне лежу беременна на сносах при смерти».

На побои, учиненные патриаршим слугой Митькой Матвеевым, подала жалобу вдова Феколка. Жалобу писал наемный писец, поскольку вдова была неграмотна, поэтому он излагал происшествие в третьем лице: рассказывал писец о том, что явился ко вдове на двор патриарший слуга «и стал ее, Феколку, бранить матерно всякою непотребною бранью и учал ее бить палкою незнаемо за что, и зашиб ей руку до руды».

Квасник Алешка Симонов повествовал, что послал он работника своего Зиновейку на Красную площадь квасом торговать, и некий «торговый человек, что торгует на Красной же площади белугою кашею, а как его зовут, того он не знает, бил его, Зиновейку, и разбил у него кувшин с квасом, а квасу в том кувшине было на пять копеек да копеешный кувшин», и просил, чтобы велел государь «того человека сыскать на съезжий двор».

Великая доука была царю разбирать все эти челобитные, да и не всегда руки до них доходи-

ли. Прочитанные же челобитные царь со своей надписью «разобрать и решить» отсылал в приказы. А там решали не спеша, решения приходилось дожидаться годами, многие же челобитчики вообще не получали ответа.

Поносили-поносили москвичи свои челобитные в «долгий ящик», а когда убедились, что толку от этого нет, стали дьяки вынимать из ящика всякие ругательные письма, писанные такими непотребными словами, что царю и показать нельзя.

После того ящик совсем убрали. Но память о нем осталась в поговорке: положить дело в долгий ящик — значит оттянуть его решение на неопределенно долгий срок, а скорей всего, и вообще не решить.

Волокита

Слово «волокита» не московское изобретение. Но в Москве оно обрело тот смысл, с которым существует в современном русском языке.

По отсутствию на Руси хороших дорог, а в лесных и болотистых местностях по отсутствию вообще любых дорог, наши далекие предки колесному экипажу (причина этому объяснена Н. В. Гоголем в разговоре двух мужиков, обсуждающих приезд Чичикова в губернский город NN: «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет»,— отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет») предпочитали более крепкую, хотя и менее удобную, волокушу.

Волочилась волокуша медленно, и называли езду на волокуше волокитой. Когда все-таки победило колесо, волокитой стали называть всякое медленное и затруднительное передвижение — в коляске, в санях или пешком, да и сейчас говорят: «еле волочусь...»

Но в отличие от обычной, всем известной волокиты, в XV веке объявилась другая — «московская волокита».

С централизацией Московского государства все большее и большее значение и влияние на жизнь русского общества приобретают московские канцелярии — приказы. Они ведали финансовыми делами государства, судебными, войском, им подчинялись местные власти.

В XV веке, в царствование Ивана III, московские приказы уже забрали в свои руки решение большинства тяжёлых дел. Теперь истцу и ответчику мало того, что приходилось невесть из какой дали волочиться за решением дела в Москву, в самой Москве дело тянулось бесконечно долго. Получалось это из-за несовершенства судоустройства и судопроизводства, и из-за того, что в московских приказах скапливалось несметное количество нерешённых дел, и из-за того, что служащие приказов — дьяки и подьячие — прежде рассматривали дела тех, которые дали взятку, а не имевшие возможность дать взятку вынуждены были ждать.

В XVII веке в одном царском указе читали: «...дела вершить ему околничему и воеводе... безо всякия волокиты». Осталось слово «волокита» снова само по себе, без определения «московская». Но оно больше в определении и не нуждалось, потому что то явление, которое усвоило его переносный смысл, оказалось куда более распространённым и обычным, чем езда на старинной волокуше.

Семь пятниц на неделе

Это выражение переносит нас из древней приказной Москвы, Москвы дьяков и подьячих, в Москву департаментов, секретарей, столоначальников, то есть в середину XIX века.

С. В. Максимов в книге «Крылатые слова», вышедшей впервые в 1890 году, уже дал то толкование поговорке про семь пятниц на неделе, которое бытует и сейчас. «Роковое мистическое число семь, применённое к одному из дней недели,— пишет С. В. Максимов,— обращается в справедливый упрек тем общественным деяте-

лям, на которых ни в каком случае нельзя полагаться и им доверять. Эти люди, давая обещания твердые и надежные, по-видимому, не исполняют их... виляют и обманывают, отлагая со дня на день на все семь дней недели».

Правда, затем он, вместо объяснения, почему же это выражение прилагается к ненадежным «общественным деятелям», переходит к рассказу о том, что на Руси с языческих времен пятница считалась праздничным днем.

Один из рецензентов поправил Максимова: «...потому семь пятниц на неделе, что некогда в Москве на Красной площади вдоль Кремлевской стены стояло пятнадцать церквей и между ними большинство пятницких». Максимов возражал: «...как могло уместиться столько зданий, хотя бы и малого размера, на таком сравнительно небольшом пространстве».

Полемика еще дальше увела от сути дела, и поскольку Максимов в общем ясного и определенного толкования выражения не дал, то версия про церкви на Красной площади получила широкое распространение.

Однако имеется полная возможность восстановить биографию выражения «семь пятниц на неделе». Именно биографию, потому что оно не пребывало неизменным с момента своего возникновения, а изменяло свое значение с течением времени.

Пятница — особо важный день в христианской религии: в пятницу был казнен Христос. В дальнейшем в народных воззрениях на пятницу соединились самые различные языческие, бытовые и социальные обычаи, суеверия и предрассудки, выразившиеся в запрете работать в этот день. А раз можно не работать, значит, пятница — праздник, что и отразилось в пословице, помещенной в «Толковом словаре» В. И. Даля: «Семь пятниц (*семь праздников*) на неделе».

Главное влияние на запрещение работать в пятницу («Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться», «Кто в пятницу прядет, святым родителям кострышкой глаза запорашивает». В. Даль) во времена крепостного права имели не

религиозные праздники, приходившиеся на пятницу, а социальные условия. Царскими указами помещикам запрещалось занимать крепостных крестьян барскими работами только в субботу и воскресенье. Поэтому только в эти дни мужик мог работать на себя. Когда же отдыхать?

Помните, у Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву»?:

«— Бог в помощь,— сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду.— Бог в помощь,— повторил я.

— Спасибо, барин,— говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь,— сказал он...

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину...

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники, и ночь наша».

И вот поскольку из своих дней мужику для отдыха было выкроить нечего, то оставался единственный выход: посягнуть на барщинные. Вот откуда родилась и укрепилась поговорка про пятничные праздники.

А та поговорка, про которую говорит Максимов и которая заключает в себе совсем иной смысл, гораздо моложе и обязана своим происхождением другим причинам и другой среде. Она, можно сказать, однофамилица праздничной.

Все современники свидетельствуют, что московские бюрократические учреждения XIX века в отличие от петербургских сохраняли патриархальные черты, в них главенствовали не законы и правила, а воля начальства и обычай. Так вот, по обычаю, московские чиновники в пятницу работали рассеянно, занятые мыслями не о делах, а о предстоящих днях отдыха. Пятница была их любимым днем недели.

Отец драматурга А. Н. Островского, чиновник, писал в 1822 году своему приятелю: «У нас весь год состоит из пятниц; для них все хлопоты и занятия; и они ж так скоро бежат, одна за другой».

И в творчестве самого Островского имеется упоминание о пятнице в том же смысле. В «Очерках Замоскворечья» читаем: «А у меня вечеринка была; то есть не то, чтобы бал какой, а так, по случаю Пятницы: завтра, дескать, суббота — день неприсутственный; так можно и... таво... то есть ничтоже сумняшеся». И к этой фразе Островский еще дает авторское примечание: «Пятница очень уважается у чиновников по вышеписанной причине».

Можно представить, каково было отношение чиновников к просителям в пятницу и какова цена обещаниям, данным только для того, чтобы отделаться от докучливого посетителя. Эти обещания забывались тотчас же, и при новом обращении просителя решение чиновника, естественно, не имело ничего общего с прежним. Просители прекрасно знали это, свидетельством чего и является поговорка.

Можно приблизительно определить и время, когда поговорка обрела новый смысл: В. И. Даль знает только прежнее — праздничное — значение поговорки, а С. В. Максимов — только новое, значит, это произошло около 1860—1870-х годов.

В современном нашем понимании по сравнению с максимовскими временами поговорка получила более расширительное значение, как и полагается «крылатому слову». Ныне о каждом человеке, не исполняющем своих обещаний, меняющем свои решения, говорят, что у него «семь пятниц на неделе».

Архаровец

В конце XVIII — начале XIX века два брата Архаровых, Николай Петрович и Иван Петрович, по очереди занимали в Москве первый — долж-

ность обер-полицмейстера и генерал-губернатора, второй — генерал-губернатора.

Старший брат, Николай Петрович, начал карьеру жестоким подавлением народных волнений в Москве во время чумы 1771 года, он же руководил казнью Пугачева. Архаров опутал Москву сетью полицейского сыска, его тайные агенты следили за москвичами, полицейские и гарнизонные солдаты, пользуясь безнаказанностью, терроризировали обывателей.

Их-то и называли москвичи архаровцами.

Павел I, назначив Николая Петровича петербургским генерал-губернатором, московским назначил его младшего брата, Ивана Петровича. В его губернаторство полк Московского гарнизона продолжали называть архаровским, причем солдаты этого полка также отличались распущенностью и буйством. Таким образом слово «архаровец» закрепилось в московском быту.

Лодырь

В 1828 году в Москве, на Остоженке, известный московский медик профессор Христиан Иванович Лодер открыл «Заведение искусственных минеральных вод».

О пользе минеральных вод знали еще в Древней Греции и Риме; в средние века народ почитал целебные источники священными — в 1556 году в Пьемонте был издан даже закон, запрещающий воздавать источникам божеские почести. Но уже в конце средневековья воды перестали быть предметом поклонения и стали местом не только лечения, но и увеселения. В лучшие водолечебницы Европы (Баден-Баден, Спа, Ахен и др.) съезжалось аристократическое общество со всего света. Побывал на водах в Спа и русский царь Петр I. Вернувшись, он тут же приказал искать целебные воды в России, и через три года было объявлено о «целительных водах, отысканных на Олонце». Вскоре были открыты и другие источники — липецкие, кавказские, сергиевские.

Ездить на воды стало модным среди русского барства. Вот как описывает князь А. А. Шаховской — писатель конца XVIII — начала XIX века — в своей комедии «Урок кокеткам, или Липецкие воды» даму, лечашуюся водами:

...Да как не занемочь?

В постели целый день и всю на балах ночь,
С открытою спиной, с раскрытыми плечами,
Чуть в платье, вся ажур, в гирляндочках из роз,
Какой-то Флорою в крещенский наш мороз
Изволит разъезжать. Вдруг вздумала водами
Лечиться здесь от нерв...

И вот, когда на Остоженке открылось «Заведение искусственных минеральных вод», московские барыни возликовали: теперь можно лечиться водами, не тратясь на путешествие в Германию, Италию или хотя бы в Липецк. Села в свой экипаж, а если своего нет — хоть в наемную карету, проехала несколько улиц, и вот пожалуй-ста — и воды, и изысканное общество, и знаменитый врач, профессор, бывший царский лейб-медик.

Христиан Иванович Лодер, немец по национальности, верою и правдой служил своему новому отечеству. В 1812 году ему было поручено устройство военных госпиталей на 6 тысяч офицеров и 31 тысячу нижних чинов, по его проекту был выстроен в Москве анатомический театр, в котором он сам каждый день читал лекции по анатомии.

Бесспорны заслуги Х. И. Лодера перед русской медициной, но еще, сам того не подозревая, он оказал большую услугу русскому языку, подарив ему такое необходимое и часто употребляемое слово — «лодырь».

Вот как это получилось. После водных процедур Лодер прописывал своим пациентам моцион — прогулки скорым шагом. Совершали они этот моцион в обширном саду, принадлежавшем лечебнице и спускавшемся к Москве-реке. Кучера сквозь садовую решетку с неодобрением наблюдали за, как им казалось, бессмысленным и смешным занятием своих господ. И вот один кучер, соскучившись ожиданием, на вопрос любо-

пытствующего прохожего: «Что делают господа?» — досадливо ответил: «Лодыра гоняют».

И слово «лодырь» так крепко вошло в русский язык, что трудно даже представить себе, что его когда-то не было.

О происхождении этого слова от фамилии доктора Лодера рассказывает С. В. Максимов. Но по удивительной случайности, само слово «лодэр» по-старонемецки значит «лентяй». Впрочем, этого, конечно, не знали московские обыватели, не знал и сам доктор Лодер, ибо, будучи профессором медицины, языковедением не занимался.

«Надворный советник»

— Э-э, милый, да это ж у тебя «надворный советник», — говорил в прежние времена москвич на Трубном или Миусском рынке, где сосредоточивалась торговля всякой живностью, когда ему бойкий продавец-собачник пытался всучить дворнягу, выдавая ее за какую-нибудь породистую собаку.

Это выражение можно услышать иногда и сейчас, но для нынешнего человека оно хотя и понятно, но лишено того оттенка сатиричности и вольномыслия, которое имело до революции. Ведь «надворный советник» — это гражданский чин, значащийся по табели о рангах чином 7-го класса и соответствующий в военной службе чину подполковника.

Однако происхождение употребления наименования довольно крупного чина (в первой половине XIX века он давал право на высшее, то есть потомственное дворянство) в качестве насмешливого прозвища уходит в 1830-е годы и является одним из примеров московского «злоречия».

А. С. Пушкин в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «...в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию». Правда, эпитет «безвредный» употреблен здесь для отвода глаз цензуры, как и утверждение, что книга

А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» ныне всего лишь «типографская редкость», потерявшая свою заманчивость, случайно встречаемая на пыльной полке библиомана или в мешке брадатого разносчика».

Николаевское правительство не считало московское «злоречие» столь безвредным. Достаточно вспомнить расправу над А. И. Полежаевым, над А. И. Герценом и Н. П. Огаревым.

Но были в Москве и такие острословы, которых правительство не смело тронуть; к ним принадлежал Алексей Петрович Ермолов — генерал, герой Отечественной войны 1812 года, бывший главноуправляющий Грузии, бывший командир Отдельного Кавказского корпуса.

Ермолов пользовался большой известностью и авторитетом в обществе, он отличался независимостью взглядов, ненавистью к аракчеевщине. Его считали либералом, и во время восстания декабристов распространились слухи, которым многие верили, что Ермолов во главе Кавказской армии движется на помощь восставшим.

Николай I был твердо убежден, что Ермолов входил в тайное общество, и поэтому в 1827 году вынудил его выйти в отставку. Но отставка Ермолова была вызвана не только подозрениями в принадлежности его к декабристам, но также и новым направлением внутренней государственной политики, бюрократизацией государственной машины, в которой теперь главную роль играли не фрондирующие и бравящие самостоятельностью мнений генералы, а послушные и исполнительные чиновники различных министерств. Вытеснение военных из общественно-государственной сферы штатской бюрократией было, конечно, замечено самими военными и вызывало у них недовольство. Денис Давыдов в сатирической «Современной песне» отметил смену героев времени:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей!
Но смешались шашки,

И полезли из щелей
Мошки да букашки.
Деспотизма сопостат,
Равенства оратор,—
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

С каким презрением говорит гусар про штатского чиновника, даже очков ему не прощает (он — «слеп»), и специально подчеркивает название чина, самого низшего по табели: коллежский регистратор — 14-го класса; сенатский, синодский и кабинетский регистратор — 13-го.

Но конечно, не регистраторы и прочая мелкая сошка оттеснили военных генералов от власти, а статские генералы, которые в названии своего статского чина имели слово «советник»: надворный советник, статский советник, тайный советник, действительный тайный советник.

Н. С. Лесков в очерке «Пресыщение знатностью» описывает, чем был для москвичей Ермолов в годы царской опалы.

«Никакой курьер из самых зычных, прокричав: «генерал идет»,— не может внушить того впечатления, которое ощущалось, когда, бывало, кто-нибудь шепнет на московском бульваре:

— Вон Алексей Петрович топчется.

Мало ли в Москве было разных Алексеев Петровичей, но все знали, что так называют Ермолова и что перед этим тучным, тяжело передвигавшим свои ноги стариком надо встать и обнажить головы. И все почтительно поднимались и кланялись ему иногда в пояс. Это делалось с удовольствием, не за страх, а за совесть.

Тут была, впрочем, немножко и манифестация».

Манифестация, конечно, была, и смысл ее был прозрачен: оказывая почет жертве царского произвола, тем самым москвичи выражали свое отношение к источнику произвола.

Кроме «независимости мнений» Ермолов также был известен острословием.

На возвышение статской бюрократии — «советников» он отзывался московским «злоречием».

«Едва ли не он первый,— сообщает Лесков,—

ввел у нас вышучивание чиновных титулов. Алексей Петрович звал своих лакеев «надворными советниками», а ему любили подражать и другие, и с него пошла по Москве мода звать «надворных советников» как птиц на свист или «на ладошку». Из домов мода давать лакеям эту несоответствующую кличку перешла... в гостиницы... Потом это в числе образцов московского барского тона было привезено в Петербург и получило здесь широкое применение. Лакеев начали звать «советниками» в домах и ресторанах, а потом и в трактирах низшего сорта».

С течением времени и изменениями исторической обстановки прозвище, прилепленное Ермоловым к лакеям, отстало от них, зато желание простого человека позлословить насчет правительственного чина осталось, и кличка перешла на другой объект, сравнение с которым отнюдь не возвышало настоящего надворного советника.

— Это ж у тебя, милый, не пойнтер, а чистый «надворный советник»!

Во всю ивановскую

— А ну валяй во всю ивановскую!

Скажут так, и каждому ясно, что это значит громко, во весь голос и к тому же еще лихо, по-молодецки.

Выражение «во всю ивановскую» происходит из старинного термина колокольных звонарей «звонить во всю колокольную фамилию», что означало звонить во все колокола, имеющиеся на колокольне. Поскольку колокольни имели названия, то по ним именовалась и «колокольная фамилия».

«Колокольная фамилия» колокольни Ивана Великого в Москве называлась Ивановской.

«Иван Великий» был самым высоким сооружением Москвы; возносясь своей золотой могучей главою над всем городом, он был виден отовсюду.

Уже само название колокольни — не официальное, а народное — «Иван Великий» — опреде-

ляло ее место и значение в сознании москвича и всякого русского человека. Она была символом Москвы и тем самым России.

В народе было распространено поверье, что, пока стоит «Иван Великий», будет стоять и Россия. В 1812 году Наполеон приказал взорвать колокольню. Взрывом были разрушены пристройки, взрывной волной сорвало крест, но сама колокольня уцелела. В этом москвичи видели счастливый знак, и когда в 1813 году вновь зазвонили колокола на Ивановской колокольне, то в Москве был праздник: звон «Ивана Великого» возвещал возрождение Москвы.

«Ивана Великого» изобразил М. Ю. Лермонтов в стихотворении «Два великана» как символ России, противопоставленный Наполеону:

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

«Иван Великий» был не только самой большой колокольней в Москве, но и обладал самым большим количеством колоколов и к тому же самыми крупными колоколами.

На его звонницах размещалось около 30 колоколов. Наиболее крупные имели свои имена: Большой, или Праздничный, в 65 тонн, Реут, или Ревут, в 32 тонны 760 килограммов, Вседневный в 13 тонн; Медведь в 7 тонн; Лебедь в 7 тонн, и так до Безымянного, который весит 1 тонну 71 килограмм.

Можно представить, какой стоял гул, когда звонили во всю ивановскую «колокольню фамилию»!

«Колокола льют», заливать

Врать, лгать, брехать, выдумывать, рассказывать басни, фантазировать, травить, раскидывать чернуху, пускать парашу, заправлять арапа, загибать, заливать — все эти слова говорят вроде бы об одном, а каждое по-разному: «брехать» —

это не то, что «фантазировать», и «загибать» — не то, что «заливать».

Происхождение и значение одного из этих синонимов, а именно глагола «заливать», объясняет один старинный московский обычай. (Впрочем, распространившийся по всей европейской России, но нигде не достигший такой виртуозности, как в Москве.)

На грани XVIII и XIX веков в Москве укрепилось поверье, что для удачной отливки большого колокола надо перед этим ответственным делом пустить в народ какой-нибудь вздорный слух, и чем шире он разойдется, тем звучнее и голосистее получится колокол.

— Колокола лют, — говорили москвичи из тех, что порассудительней и понедоверчивее, услышав какую-нибудь глупую выдумку.

Но слух расползлся с Балкан, где находились колокольные заводы, в Рогожскую часть, в Яузскую, в Замоскворечье и возвращался обратно, уже дополненный подробностями, именами верных очевидцев, и тут уж самый рассудительный начинал сомневаться: «А вдруг и правда...»

В общем-то, обычай понятный. Человек издревле, затевая какое-либо важное предприятие, хотя бы охоту на мамонта, стремился отвлечь внимание злых сил, заманивал их на ложный путь.

Понятно и то, почему именно в Москве возник и укрепился этот обычай. В 1599 году знаменитый русский литейщик Иван Чохов для колокольни Ивана Великого отлил колокол в две тысячи сто пудов. Этот колокол был главным колоколом Кремля, но через двадцать лет во время пожара он упал с колокольни и разбился. Пятьдесят лет спустя царь Алексей Михайлович приказал перелить обломки в новый колокол. Новый колокол звонил лишь несколько месяцев, он разбился от неловкого удара звонаря. Перелитый заново, он вновь был водружен на колокольню, но в пожар 1701 года сорвался, упал на землю, и его осколки лежали посреди Кремля тридцать лет, до тех пор, пока императрица Ан-

на Иоанновна в ознаменование своего восшествия на престол не повелела «тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было десять тысяч пудов». За работу взялись колокольные мастера отец и сын Моторины. Самый большой в мире колокол был благополучно отлит, он получил название Царь-колокол. Но в то время, когда готовились его поднимать из литейной ямы на колокольню, в Кремле случился пожар. Колокол раскалился от падавших на него горящих бревен. Чтобы он не расплавился, на него начали лить воду, чего никак нельзя было делать: колокол дал несколько трещин, от него оторвался большой кусок весом около семисот пудов. (Весь колокол весил около двенадцати с половиной тысяч пудов.)

Так неудачи преследовали отливку самого главного московского колокола, поэтому, естественно, родилась у московских колокольных мастеров мысль на старинный лад оберечься от несчастья.

Колокольные заводчики выдумывали и распускали по Москве истории одну нелепее другой, иной раз им удавалось не на шутку переполошить обывателей.

Московская полиция, расследуя слухи, иногда добиралась до их источника. Заводчикам, как вспоминает литературный критик-петрашевец А. П. Милюков, «делали строгие внушения и даже отбирали от них подписки, чтобы они вперед при отливке колоколов не распускали вздорных и в особенности неблагоприятных слухов, которые волнуют жителей и нарушают спокойствие города». Но заводчики, и дав подписку, все же продолжали придумывать все новые и новые нелепости.

Иные выдумки были весьма примитивны. Например, бродила из дома в дом какая-нибудь странница и всюду сообщала:

— Появился человек с рогами и мохнатый: рога как у черта. Есть не просит, а в люди показывается по ночам; моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. По этому-то его и признали, а то никому бы невдогад.

Иногда же придумывали историю позаковыристей. Вот одна из «колокольных» новостей.

Рассказывали, что в одной церкви на Покровке венчал священник жениха с невестой, но, как повел их вокруг аналоя, брачные венцы сорвались у них с голов, вылетели из окон церковного купола и опустились на наружные кресты, утвержденные на главах церкви и колокольни.

Оказалось, что жених и невеста — родные брат и сестра. Они росли и воспитывались в разных местах, никогда не видали друг друга, случайно встретились, приняли родственное влечение друг к другу за любовь, незаконный брак готов был уже совершиться, но провидение остановило его таким чудесным образом.

Люди со всей Москвы съезжались на Покровку. Действительно, купола церкви Воскресения, сооруженной в 1734 году, украшены золочеными венцами. Смотрели, удивлялись, ахали, и как-то в голову не приходило, что эти венцы украшают церковь уже почти сто лет, а размеры их так велики, что самые рослые новобрачные могли бы спокойно разместиться в этом венце, как в беседке. (Позже в Москве долгое время держалась легенда, что венцы на церкви Воскресения поставлены потому, что в ней императрица Елизавета тайно обвенчалась с Разумовским.)

А однажды зимой вся Москва только и говорила о происшествии, случившемся накануне николина дня (никола-зимний, 6 декабря). В тот день у генерал-губернатора был бал, и вдруг, в самый разгар танцев, ударил колокол на «Иване Великом», и в тот же момент в зале погасли люстры и канделябры, лопнули струны на музыкальных инструментах, выпали стекла из окон, и леденящим холодом повеяло на танцующих. Испуганные гости бросились к дверям, но двери с громом захлопнулись, и никакая сила не могла их открыть.

Наутро в бальной зале были найдены трупы замерзших и раздавленных, погиб и сам хозяин дома — генерал-губернатор.

Московские газеты объявили, что это нелепая сказка, что никакого бала в генерал-губернаторском доме не было, что генерал-губернатор жив-здоров. Но тем не менее слухи о замерзших ходили по городу до весны.

Выражение «колокола льют» было очень распространено в XIX веке. В. И. Даль приводит пословицу: «Колокола отливают, так вести распускают», он же отмечает, что появилась и другая форма этого же выражения: «*Лить колокола* — сочинять и распускать вздорные вести». После революции из старой формулы выбросили колокола, и профессор Н. Д. Ушаков в первом советском «Толковом словаре русского языка» (1935 год) зафиксировал новый облик старого выражения: «Заливать, аю, аешь, *несов.* — хвастливо врать, присочинять (простореч., шутол.). *Это ты, брат, заливаешь*».

На курьих ножках

Избушка на курьих ножках сейчас у нас связана с представлением о сказочном жилище сказочной бабы-яги. Но еще в начале XX века на Большой Молчановке стояла церковь, которая называлась «Николай Чудотворец, что на курьих ножках». Название это официальное. На странице 153 книги архимандрита Иосифа «Путеводитель к святыне и священным достопамятностям Москвы» (Москва, 1882 год) читаем: «Николая Чудотворца, на Курьих ножках, на Молчановке, когда построена неизвестно».

В конце XIX — начале XX века некоторые любители московской старины объясняли: говорят «на курьих ножках» потому, что прежде был тут царский птичий двор и когда кур резали, то ножки бросали в яму, на месте которой и поставили церковь. Это толкование поддерживалось названиями находящихся неподалеку переулков — Хлебный, Столовый, Скатертный.

Но в действительности ни баба-яга, ни куры к этому названию отношения не имеют. «На

курьих ножках» — старинный термин московских строителей, и обозначает он один из способов устройства фундамента, при котором избу или какое-нибудь другое строение ставили на пеньки.

По одним сведениям, такой фундамент представлял собой просто пеньки росших на этом месте деревьев. По другим — пни выкорчевывали, обрубали корни и с такими обрубленными, разлапистыми остатками корней ставили на утрамбованную землю. В последнем случае сходства с куриными ногами еще больше.

Площадная брань

Увы! — однако этот весьма непочтенный, но широко распространенный термин обязан своим возникновением Москве.

Площадью в Москве XIX века называли толкучий рынок вдоль восточной стороны китайгородской стены.

«Рынок этот, — рассказывает писатель середины XIX века Н. Поляков, — преимущественно посвящен древности, или, лучше сказать, ветхости, где торговцы и барышники скупают и перекупают все, что угодно, выворачивают и переворачивают лицо наизнанку, а изнанку на лицо и в такой степени художественно отводят глаза покупателей, что существуй в наше время знаменитый Пинетти (известный итальянский фокусник-иллюзионист конца XVIII века), то и он отдал бы нашим промышленникам в этом случае пальму первенства; так, например, купишь у них вещь, а домой принесешь другую; купил крепкую, а принес домой — оказалась в дырах и т. п.»

Другой современник — Н. Скавронский в «Очерках Москвы» замечает, что на Площади «нередко приходится слышать такие резкие ответы на обращаемые к ним (покупателям) торгующими шутки, что невольно покраснеешь... Шум и гам, как говорится, стоном стоят». Осо-

бенно умелой руганью отличались бабы-солдатки. Они, по словам Скавронского, «замечательно огрызаются, иногда нередко от целого ряда».

Щадя нравственное чувство читателя, а также учитывая, что он и без него знает их, автор этих старых воспоминаний о Площади не приводит примеров словесных выражений, именуемых площадной бранью. По тем же причинам и мы воздерживаемся от иллюстраций.

Вытанцовывается и не вытанцовывается

В общественной жизни московского дворянства 1820—1830-х годов большое место занимали балы с танцами.

Их воспевали поэты. Е. А. Боратынский в поэме «Бал» писал:

Глухая полночь. Строем длинным,
Осеребрённые луной,
Стоят кареты на Тверской
Пред домом пышным и старинным.
Пылаёт тысячью огней
Обширный зал; с высоких хоров
Ревут смычки; толпа гостей;
Гул танца с гулом разговоров.
...Вокруг пленительных харит
И суетится и кипит
Толпа поклонников ревнивых;
Толкует, ловит каждый взгляд:
Шутя, несчастных и счастливых
Вертушки милые творят.
В движенье всё. Горя добиться
Вниманья лестного красы,
Гусар крутит свои усы,
Писатель чопорно эстрится...

Ту же картину рисует и А. С. Пушкин в одной из строф седьмой главы «Евгения Онегина», в которой изображается пребывание Татьяны в Москве.

Ее привозят и в Собрание.
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы,
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг —
Всё чувства поражает вдруг.
Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет
И невнимательный лорнет.
Сюда гусары отпускные
Спешат явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

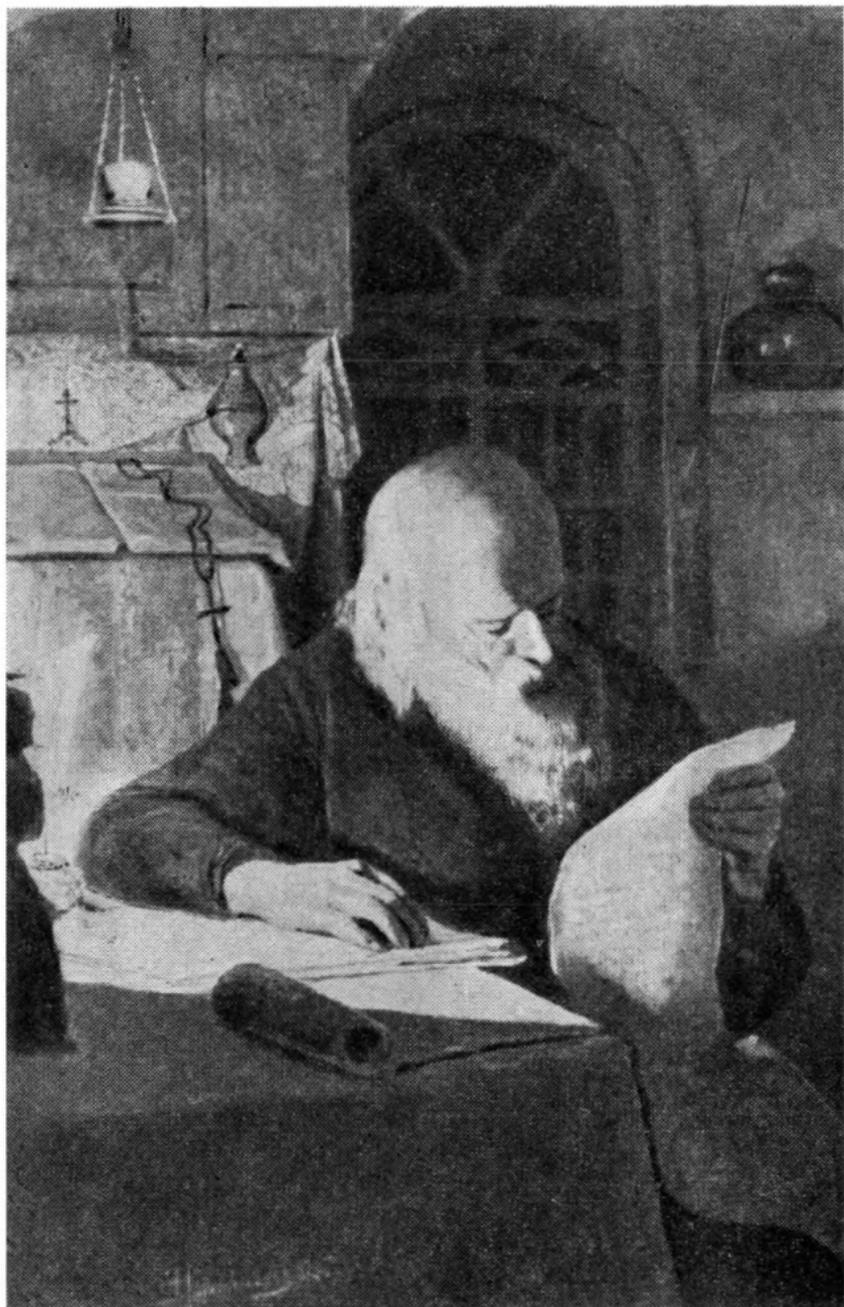
Танцевальные балы как характернейшую черту Москвы отмечает А. С. Пушкин и в очерке «Путешествие из Москвы в Петербург»: «...Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда ж из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде была толпа. В зале Благородного собрания два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».

Слово «танцор» (или, как говорили тогда, «танцовщик») в фамусовской Москве было синонимом слова «жених». Княгиня Тугоуховская, мать шестерых дочерей-девиц, узнав, что Чацкий холост, посылает мужа «просить его скорее» к ним на вечер и говорит:

Вот то-то детки:
Им бал, а батюшка таскайся на поклон;
Танцовщики ужасно стали редки!..

Через танцы, балльные успехи и знакомства лежал путь к выгодному замужеству или женитьбе, а с женитьбой можно было приобрести, или, как тогда говорили завистники, «вытанцовать», покровительство, теплое местечко по службе, чин.

Московские балы уже в конце 1830-х годов отошли в прошлое («Московские балы... Увы!» — вздохнул о них Пушкин), а словечко осталось, только обрело более широкий и глубокий переносный смысл.



Летописец.
Художник А. Н. Новосколь-
цев





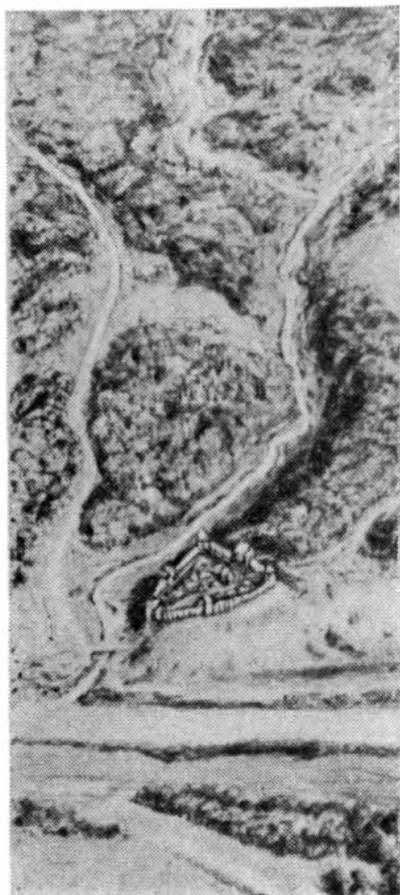
Сбор дани в Древней Руси.
Художник Н. К. Рерих

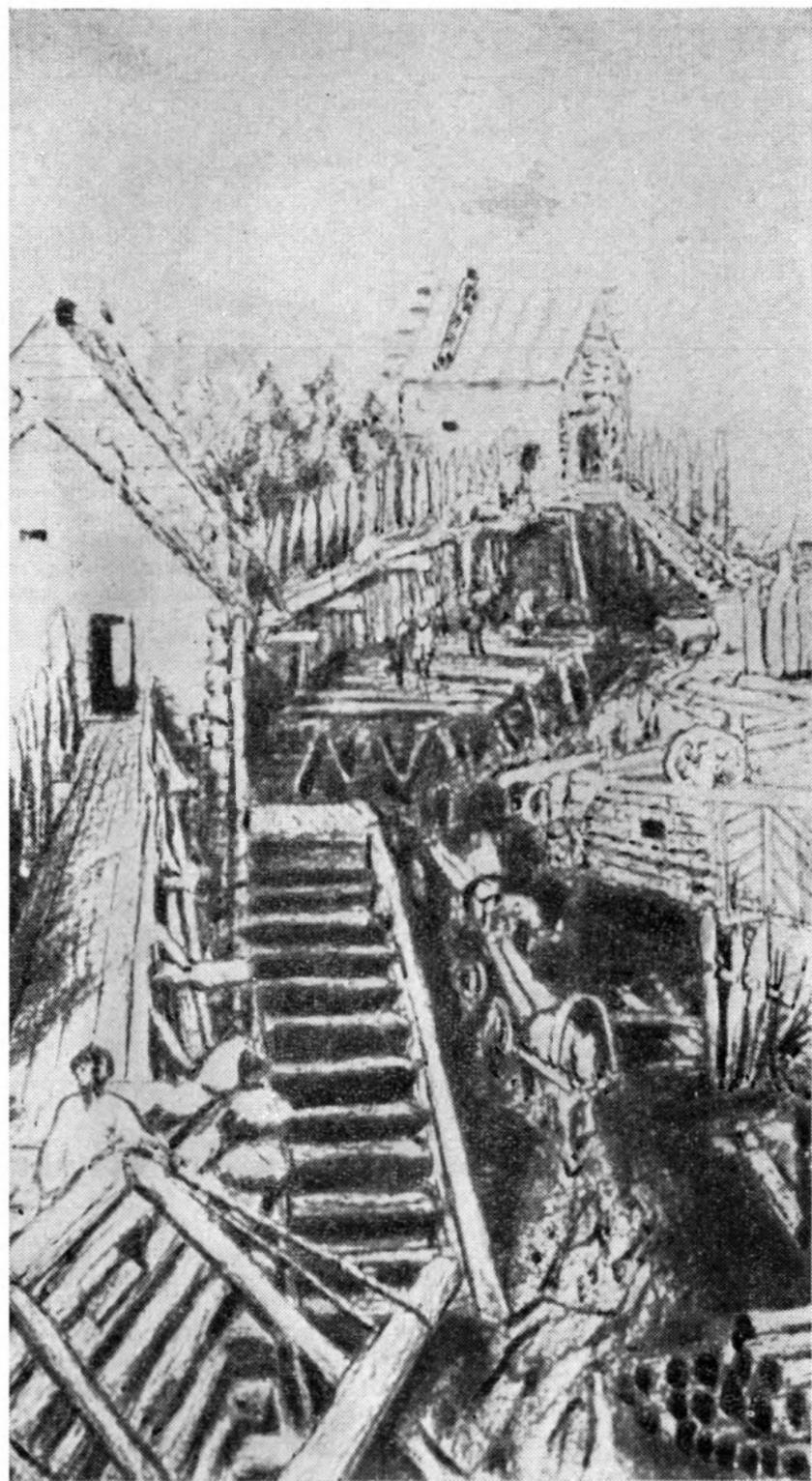
Девушка из племени вятичей.
Реконструкция М. М. Герасимова



Москва-городок и окрестности в XII в. Художник А. М. Васнецов

Основание Москвы. Постройка первых стен в 1156 году. Художник А. М. Васнецов







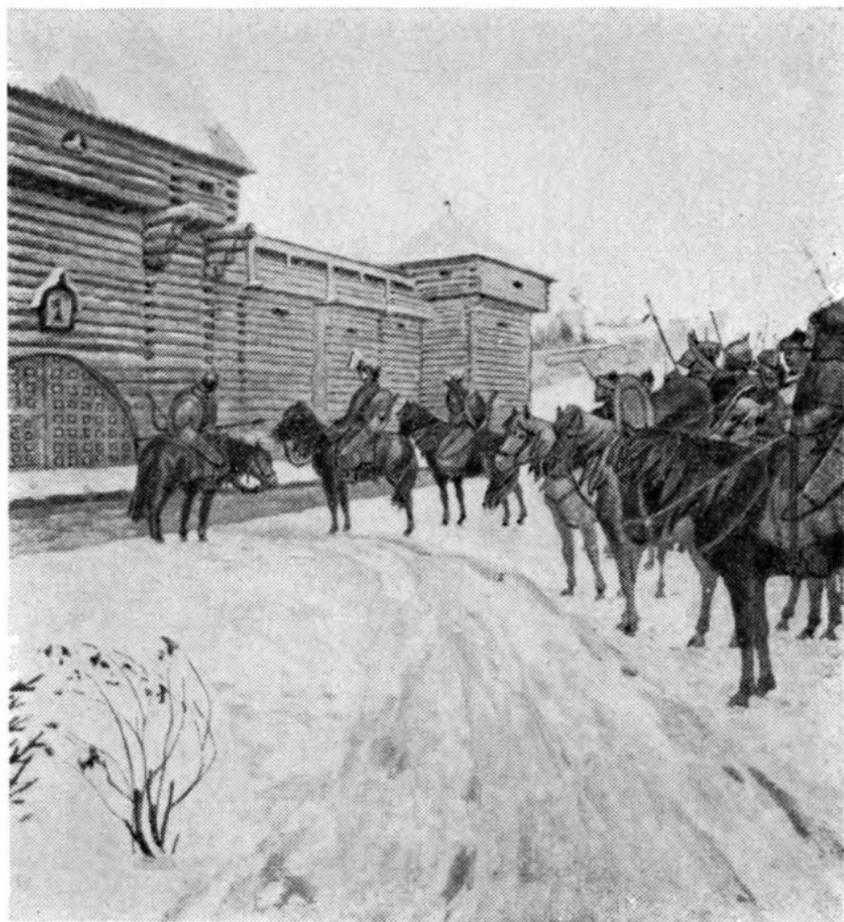
Памятник Юрию Долгорукому на Советской площади.

Враг под стенами. XII—XIII века.

Художник А. М. Максимов

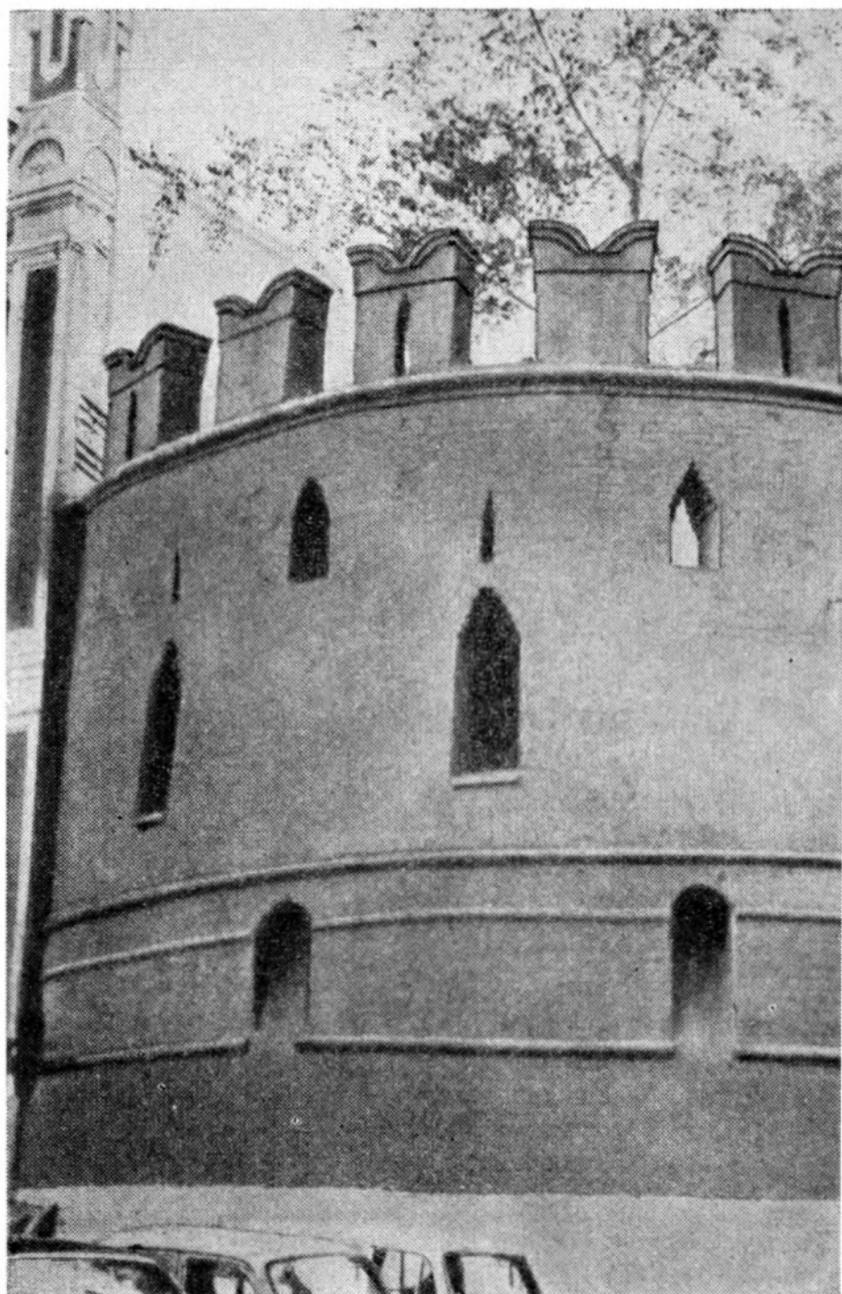
После побоища Игоря Святославича с половцами.

Художник В. М. Васнецов



111

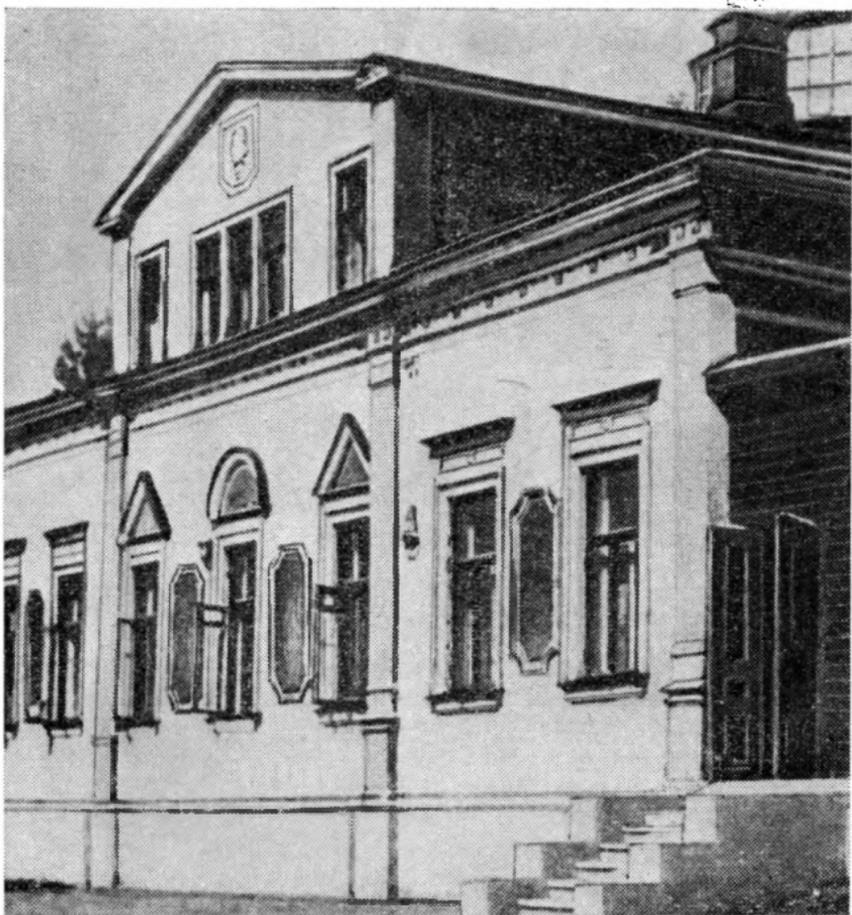
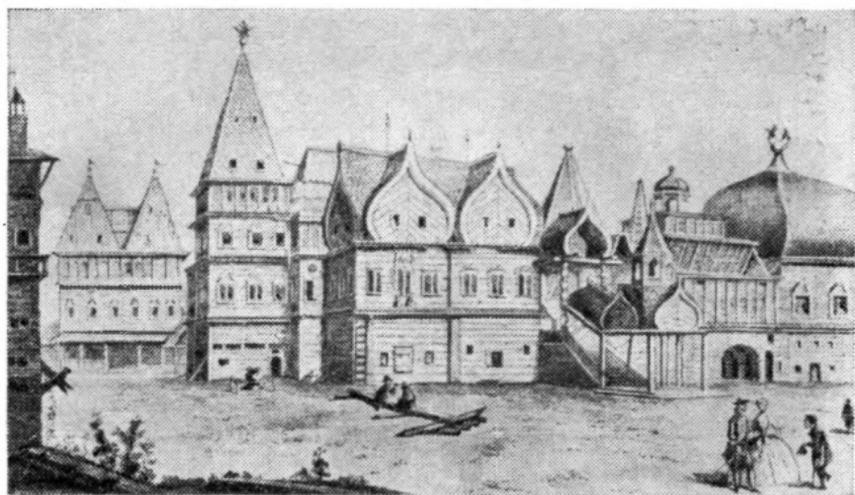




Башня Китай-города

Коломенское. Общий вид
деревянного дворца второй
половины XVII века

Погодинская улица. Дом
М. П. Погодина







Обед на толкучем рынке.
Художник В. Е. Маковский

На толкучке. Фотография
начала XX века



Собачья радость

Родилось это выражение в конце XIX века среди бойких на слово полунищих мелких ремесленников и мастеровых московского Зарядья, которым не по карману было обедать в трактире. Они покупали у разносчика-лотошника вареное «голье» — печенку, сердце, легкое и другую требуху. Порция «голья» стоила копейку-две. Более состоятельные покупали обрезки кожи и жира с окороков, что стоило уже пятак. Богачи же, имевшие 10—15 копеек, брали в лавке кость от окорока, с которой можно было нарезать некоторую толику остающейся на ней ветчины, правда жилистой и заветренной.

Вот такая кость и называлась у мастеровых собачьей радостью.

Об этом рассказывает в своих воспоминаниях «Ушедшая Москва» поэт-суриковец И. А. Белоусов.

Впрочем, для нетребовательного и часто голодного обитателя старого Зарядья подобное угощение было и желанно и привлекательно. Л. М. Леонов, проживший там детство, вспоминает «пирожные и обрезочные, откуда даже по ночам шибало вкусной вонью жареных ветчинных обрезков».

Кулак, печальник и халтуры

(Московские диалектизмы)

Областными словами, или диалектизмами, называются такие слова, которые имеют распространение только в одной какой-нибудь определенной области и понятны только жителям этой области.

Правда, граница между областным словом и общенародным очень условна: они могут переходить из диалектов в литературный язык и из литературного уходить в диалект.

Русский общенародный язык сложился из всех говоров, или диалектов, русского языка.

Процесс обогащения общенародного языка за счет диалектов происходил всегда, происходит и сейчас.

Конечно, определить в полном объеме вклад того или другого диалекта в общенародный язык невозможно, но о некоторых словах можно определенно сказать, из какого диалекта они пришли. Помогают это сделать специальные областные словари.

К сожалению, областные словари русского языка стали составляться поздно, только в XIX веке. В 1852 году русская Академия наук издала первый большой диалектический словарь: «Опыт областного великорусского языка», шесть лет спустя, в 1858 году, — «Дополнения к «Опыту областного великорусского языка», в 1863—1866 годах вышел знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, и в последний год XIX века языковед В. И. Чернышев выпустил труд «Сведения о народных говорах некоторых селений Московского уезда».

Во всех этих словарях слова, употребляемые только в Московской области, были помечены специальной отметкой: «московское» (так же, как слова, обнаруженные собирателями в Орловской губернии: «орловское», в Пензенской — «пензенское» и так далее).

Если перелистать областные словари прошлого века, то среди слов, названных в них *московскими* диалектизмами, можно найти целый ряд таких, которые к настоящему времени стали общерусскими.

В этих бывших диалектизмах отразилось и московское острословие, и умение дать в одном слове точное определение целого явления, например слова «кулак», «печальник» (слово «печальник» письменно зафиксировано впервые в Духовном завещании Ивана Калиты); отразилось и московское произношение: когда-то московский выговор — аканье и штоканье — передразнивали скороговоркой: «С Масквы, с пасада, с авашнова ряда», этот выговор и вошел в общерусский язык с московским словечком «дотошный».

Вот небольшой списочек московских диалек-

тизмов вековой давности с тем объяснением, какое дано в тогдашних словарях, и с примерами употребления, приведенными там же.

Большой — старший. «Большой сын ушел (отделился)».

Булдыга — гуляка.

Вещунья — сорока, птица.

Вякать — надоедать словами, просьбами.

Гуляка — крестьянин, который, живя на стороне, не пользуется землей. «Гуляков семь человек».

Дотошный — искусный, знающий в точности дело.

Замысловатый — предприимчивый и остроумный. «Замысловатый на все дела, што возьмется, всё сделает».

Извозничать — заниматься извозом (легковым).

Кулак — торгош с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лен, пеньку, мерлушку, щетку, масло и пр.

Любота — существительное, близкое по значению к слову «любо».

Малышка — малорослая женщина или девица.

Мужчина — мужик, крестьянин. «Мущиной называется мужик, барина так не назовут».

Начин — начало. «Ей (*Клязьме*) здесь самый начин».

Первовесень, перволетье, первоосень — начало весны, лета, осени.

Печальник — человек, жалеющий кого-либо, ходатай.

Поговорка — молва, разговор по случаю чего-либо.

Пользовать — лечить.

Пострел — бранное выражение.

Прокуда — проказник, шалун.

Просьба — прошение.

Пустодом — нехозяйственный человек. Употребляется также как бранное слово.

Сквалыга, сквалыжничать — скряга, скупец; скряжничать.

Смётка — соображение, сноровка.

Халтуры — богатые похороны, особенно с архиереем.



«БЕДНАЯ ЛИЗА»

28 сентября 1790 года Николай Михайлович Карамзин вернулся в Россию после полуторогодового путешествия по Европе.

Корабль из Англии прибыл в Кронштадт, откуда пассажиров доставили на катере в Петербург.

Николай Михайлович распрощался с попутчиками, нанял извозчика и велел везти себя на Фонтанку к Семеновскому мосту, где снимал квартиру Иван Иванович Дмитриев — друг, поэт и к тому же родственник.

После объятий, поцелуев, взаимных расспросов о здоровье, о родне Карамзин спросил:

— А каковы новости в российской литературе? Чьи сочинения сейчас наиболее читает публика? Ведь я полтора года совершенно не имел известий об этом.

Дмитриев задумался.

— Читают и хвалят многих... Но пожалуй, больше всего говорят о книге Радищева.

— Какого Радищева? Не друга ли нашего Алексея Михайловича? Помнится, Алексей Михайлович говорил, что получил от него книгу, в которой Радищев описывает жизнь их соученика по университету Федора Васильевича Ушакова. Но о том, чтобы книга Радищева обладала какими-либо выдающимися литературными достоинствами, он ни словом не обмолвился...

— Ты говоришь, видимо, про «Житие Федора Васильевича Ушакова», что вышло в прошлом году. Но этим летом Радищев напечатал в собственной типографии и пустил в продажу другую

книгу — «Путешествие из Петербурга в Москву».

— И чем же замечательно это сочинение Радищева?

Дмитриев удивился:

— Ты ничего не знаешь! Ну так слушай! Книга Радищева попала к государыне и вызвала ужасный гнев. Ее величество изволила выразиться об авторе, что сей сочинитель — бунтовщик хуже Пугачева. Радищева, конечно, тотчас арестовали, допрашивал Шешковский, ходили слухи, будто несколько раз государыня присутствовала на допросах и задавала вопросы. Правда, потом говорили, что ее величество присылала письменные вопросы арестованному, а не задавала их самолично. Но нам правду трудно в этих делах сведать. Одним словом, Радищева вскоре судили, лишили чинов, дворянства. Уголовная палата приговорила его к смерти, но государыня заменила казнь ссылкой в Сибирь, в Илимский острог, на десять лет. Книгу сожгли, а автора три недели назад в оковах повезли в ссылку.

— Как? За книгу — казнь, ссылка?

— Да.

— Но это невозможно в благоустроенном государстве! Законы, наконец, здравый рассудок противится этому!

— Тем не менее.

— Разум отказывается понимать!

— А посвящена книга Радищева — кому ты думаешь? — Алексею Михайловичу Кутузову! Правда, на ней пропечатано: «Любезнейшему другу А. М. К.», но всем известно, что А. М. К. — это Алексей Михайлович. Его искали как сообщника, и только то, что он находится за границей, спасло его от темницы. Полиции приказано его арестовать, как только он пересечет границу.

— Боже, боже! Я слышал от Алексея Михайловича, что Радищев — человек глубокого ума и редких достоинств... Но что же такое ужасное и противозаконное содержится в его книге?

— Нашли, что она проповедует возмущение против существующего правления, подстрекает к кровавой расправе с дворянством, к убийству го-

сударыни и вообще полна всяческих заблуждений.

— Ты ее читал?

— Только перелистал. В ней есть и стихи, которые кроме заблуждений автора выказывают, что прямым наставником его в стихотворстве был Василий Тредиаковский.

— Где ее можно достать?

— Нигде. Все проданные в лавках и подаренные автором экземпляры отобраны у владельцев в Тайную канцелярию. Такое тут было, Николай Михайлович: и книгопродавцев и покупателей таскали, допрашивали... Я-то видел книгу у Гаврилы Романовича Державина, ему Радищев прислал свое сочинение в дар. Тоже отобрали в Тайную канцелярию.

— Не может быть, чтобы все собрали, у кого-нибудь остались...

— Может быть, и остались, да владельцы об этом молчат.

Карамзин даже забыл про то, как он всего каких-нибудь полчаса назад жаждал рассказывать про чужие страны, другая мысль занимала его.

— Я должен прочесть самое замечательное произведение нынешней нашей словесности,— говорил он.— Но где бы достать его? Где бы достать?..

— Я слышал,— сказал Дмитриев,— будто какие-то купцы получали «Путешествие из Петербурга в Москву» на прочтение и платили по двадцать пять рублей за час.

— Ого! Выгодная коммерция!

— Но и риск велик. Книготорговца, которому Радищев давал свою книгу на комиссию, тоже ведь арестовали.

Карамзин взял Дмитриева за плечи и, глядя ему в глаза, проникновенно проговорил:

— Иван Иванович, у тебя в Петербурге полно знакомых книгопродавцев, узнай, достань книгу Радищева...

Потом, отняв руки, он вытащил из кармана кошелек, раскрыл его над столом, высыпал содержимое и стал считать.

— Сто двадцать три рубля пятьдесят восемь копеек с полушкой.

Дмитриев, глядя на тощую кучку денег, в смущении сказал:

— Книгопродавцы знакомые, конечно, есть, но не представляю, к кому обратиться... И как заговорить про такое дело... Можно ведь на шпиона правительства напасть, или тебя самого шпионом сочтут... Не знаю, не знаю... Не обещаю...

— Иван Иванович, милый, постарайся!

— Ну ладно,— сдался Дмитриев.— Попробую для тебя... Ну, рассказывай, как ездил...

Достать книгу Радищева оказалось очень трудно, книгопродавцы не отрицали, что книга ходит по рукам, и весьма уклончиво обещали посодействовать. Дмитриев совсем уж было отчаялся, когда как раз накануне отъезда Карамзина в Москву, вечером, на квартиру к нему пришел мужик — разносчик клюквы. Он принес крамольную книгу, забрал сто рублей и, уходя, взглянул на часы и сказал:

— За книгой вернусь в половине первого пополудни. Служителю вашему скажите, чтобы дверей не запирали.

«Вот она, эта заветная книга, которая внушила страх одному из самых могущественных повелителей в нашем подлунном мире — самодержице российской!» — думал Карамзин.

С волнением и трепетом взял он в руки книгу и, прежде чем читать, хотя дорога была каждая минута, осмотрел переплет, уже потрепанный, пролистнул страницы, раскрыл на титульном листе: имя автора на нем отсутствовало, книга была напечатана анонимно, только название: «Путешествие из Петербурга в Москву», ниже эпиграф из «Тилемахиды» Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», и еще ниже указаны год и место издания: «1790. В Санкт-петербурге».

Вот и бедоносное для Алексея Михайловича посвящение:

«А. М. К. Любезнейшему другу. Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! со-

чувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала».

Карамзин читал страницу за страницей, главу за главой, любопытство торопило поскорее к тем самым страницам, из-за которых книга подверглась преследованию. «Проект в будущем» из главы «Хотиллов», здесь о крепостном рабстве сказано наиболее резко, там же содержится пророчество о неизбежном: «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в которой мы вращаемся опасности?.. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможно. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се — пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие». А далее — прямой призыв рабов к мщению и оправдание его: «...прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалось его мучительство».

А вот и те строки вставленной в повествование оды, которую путешественнику якобы читал случайный встречный на станции в Твери, и которые императрица отметила как криминальные и бунтовщические, потому что в них сочинитель грозит царям плахой:

Возникает рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна,
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы;

Се — право мщенное природы
На плаху возвело царя.

Сцена продажи крепостных, история несправедливо отданного в солдаты мужика, описание подвигов развратного помещика, нищеты крестьянской избы, тяжкого труда крепостных крестьян, их бесправия, размышления о царской власти, беззакониях и лживости, составляющих ее необходимую принадлежность, — все это было справедливо, все это не могло не вызвать возмущения честного человека, и Карамзин вполне разделял негодование Радищева.

Книга заключала в себе так много эпизодов, лиц, фактов, мыслей, трактовала о таком множестве предметов, что, по совести говоря, надо было бы после каждой главы, прочтя ее, отложить книгу и обдумать прочитанное, но Карамзин — увы! — этой возможности не имел.

Взглянув на часы, показывающие уже полночь, последнюю главу «Черная грязь», которую составляло «Слово о Ломоносове», как понял Карамзин, восхваляющее научные и литературные труды сего великого мужа, он просто пролистнул: читать уже не было времени, да и ум был переполнен впечатлениями.

После возвращения из путешествия прошло почти два года. В жизни Николая Михайловича это путешествие пролегло как рубеж между двумя эпохами.

До него он был всего лишь любителем литературы, начинающим автором, нуждавшимся в поддержке, в одобрении. Спасибо Николаю Ивановичу Новикову, увидевшему в юноше любовь к литературе, литературный талант, способность к литературной работе и поэтому предложившему ему участвовать в составлении и редактировании журнала «Детское чтение для сердца и разума», который издавала «Типографическая компания». В «Детском чтении» Карамзин впервые выступил в роли автора: напечатал повесть «Евгений и Юлия» — ученическое, слабое и претен-

циозное сочинение. Это была эпоха поисков, мечтаний, надежд и сомнений.

Возвратился же из заграничного путешествия Николай Михайлович совсем другим: он предстал перед московскими друзьями уверенным в своих силах и таланте писателем (что, по правде сказать, у иных компанейщиков «Типографической компании» — князя Николая Никитича Трубецкого, князя Ивана Владимировича Лопухина вызвало вежливые, высказываемые намеками, но тем не менее весьма настойчивые обвинения в самоуверенности, нескромности и гордыне). Однако наблюдения и сравнения, сделанные Николаем Михайловичем за границей (что в России является главным видом пробирования чего бы то ни было), укрепили его в намерении целиком посвятить себя писательству. Последующее показало, что он имел на эту уверенность полное право.

Уже второй год Карамзин издавал журнал, который на две трети заполнял собственными произведениями. За это время он превратился в одного из самых известных русских писателей. И написано было немало: стихи, рассуждения, статьи, лирические очерки, театральные рецензии, критики и печатаемое из номера в номер главное произведение, способствующее успеху журнала, — «Записки русского путешественника» — вольное и легкое собрание повестей и рассказов, анекдотов и очерков, представленных в виде писем молодого, неопытного, но достаточно проникательного русского путника из разных стран Европы своим друзьям в Россию.

После выхода первого номера «Московского журнала» (так Карамзин назвал свой журнал) число подписчиков увеличилось сразу вдвое. Это был настоящий успех!

Журнал заполнил собой всю жизнь Николая Михайловича. Он влюблялся, бывал в свете, в дружеских компаниях, посещал театры и гулянья — словом, ничто человеческое не было ему чуждо, но все же главное — был журнал. Он часто ловил себя на мысли, что в самое неподходящее время и в самых неподходящих условиях начинает прикидывать: а не лучше ли то, что я со-

бираюсь сказать, приберечь для журнальной статьи,— и умолкал. Он теперь для чтения выбирал такие сочинения, о которых можно было бы сообщить читателям журнала; в театре, смотря спектакль, сочинял рецензию.

Поэтому когда летом в Москву приехал Дмитриев, то в первую же минуту свидания разговор зашел о журнале.

— Да ты скажи, как живешь, как здоровье, как твои сердечные дела,— перебил его Иван Иванович.

Николай Михайлович на мгновение замолк, потом ласково коснулся руки Дмитриева:

— Прости, друг, но сейчас мое здоровье, мои сердечные дела, моя жизнь — это журнал.

Привыкнув за путешествие к вольному и независимому положению гостиничного постояльца, Карамзин и в Москве хотел было поселиться в гостинице или снять квартиру. Но не тут-то было: Москва осталась Москвой, и когда он сказал, что будет искать квартиру, то Алексей Александрович Плещеев, тот самый московский друг, к которому были обращены «Письма русского путешественника», добрейший и безалабернейший, истинно московский барин, со всеми всегда во всем соглашавшийся, тут твердо объявил:

— Ты будешь жить у нас. И не думай отказываться. Отказавшись, ты нас с Настасьей Ивановной смертельно обидишь. Дом большой, места много. Или ты разлюбил нас, что тебя тяготит наше гостеприимство?

— Ну что ты, Алексей Александрович...

— Тогда о квартире или гостинице и не заикайся больше.

Николай Михайлович стал жить в плещеевском доме на Тверской. Дом Плещеева, действительно, был большой и просторный — настоящий барский дом, построенный еще в те времена, когда не теснились и строились в Москве так же просторно, как в каком-нибудь орловском или саратовском имении. Двухэтажный каменный дом глаголем, смотревший одной стороной на Тверскую, другой — в Брюсовский переулок, был внушителен и вместителен: два десятка жилых

покоев, множество теплых сеней, переходов, кладовых соединялись в нем причудливо и безо всякого плана. Конечно, наверное, вначале план существовал, но при постройке и последующих многочисленных пристройках, перестройках, приспособлениях и приноровлениях оказался окончательно нарушен, и теперь иной раз оказывалось, что пробитая когда-то лестница, поднявшись на второй этаж, упиралась в глухую стену, потому что бывшая тут когда-то дверь почему-то оказалась неудобной, а в иную комнату можно было попасть только через внешний балкон. Вся обстановка в доме была старая. Зато вещи были добротные, обжитые, привыкшие к хозяевам и к их гостям, круг которых не менялся десятилетиями, и такие же доброжелательно-гостеприимные, как хозяева дома. К дому прилегал двор с хозяйственными постройками и сад. Во дворе плотно стояли большая и важная каменная поварня, просторный каретный сарай, конюшня на четырнадцать стойл да еще с навесом на случай, если кто приедет на ямских, ледник, житница для ссыпки хлеба, людская и еще много строений, смотря по надобности менявших свое назначение.

Комнаты Карамзина располагались в конце здания и имели отдельный выход. Окна были обращены в запущенный и неухоженный, а потому именовавшийся английским сад. Работать здесь было хорошо и покойно. Кроме того, тут же, на Тверской, помещалась и типография, и книжная лавка, через которую распространялся журнал. Одним словом, жизнь в доме Плещеева представляла множество удобств.

Опека друзей, по правде сказать, не казалась Николаю Михайловичу отяготительной. После того как целых полтора года он целиком был предоставлен самому себе и все это время никому, в сущности, до него не было дела, она была для него даже приятна.

Утро 24 апреля 1792 года было ясно и солнечно. На березах и липах уже светились листочки.

Николай Михайлович проснулся от птичьего раннего гама, слышного даже сквозь закрытые окна, подошел к окну, раскрыл, и его охватило

радостное ощущение бодрого, полного надежд и счастья весеннего утра.

Он оделся, взял чернильницу с пером, трость и, сказав буфетчику, чтобы его не ждали к обеду, вышел на улицу.

Николай Михайлович шагал по улице, повторяя свои старые стихи:

Зима свирепая исчезла,
Исчезли мразы, иней, снег;
И мрак, все в мире покрывавший,
Как дым, рассеялся, исчез.
Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно...

На углу Тверской и Газетного переулка, возле типографии, стояла совсем юная, лет пятнадцати, девушка с корзинкой влажных, еще хранящих прохладу росы ландышей. Продажа лесных и полевых цветов была новым делом в Москве, всего года два, как на ее улицах появились цветочницы со скромными букетиками. Но мода на все пасторальное способствовала развитию этого нового вида коммерции.

Девушка стояла молча, что одно уже выделяло ее из сонма московских крикливых разносчиков. Она с робостью поглядывала на прохожих и прижимала к груди белый букетик.

Николай Михайлович остановился возле нее. На него пахнуло свежим ароматом ландышей.

— Продаешь цветы, девушка? — спросил Карамзин.

Девушка покраснелась до корней волос и тихо-тихо ответила:

— Продаю.

— Что стоят твои ландыши?

— Пять копеек.

Карамзин дал пятак, и девушка, перебрав букетики в корзине, выбрала ему самый пышный.

Николай Михайлович сначала хотел было зайти в типографию, узнать, как идет печатание мартовской книги «Московского журнала», и поторопить, поскольку и так очень запоздали с ней. Но солнце, ландыши, ясная свежесть утра заставили его остановиться в воротах.

В Москве есть несколько мест, откуда вид на город особенно хорош. Все эти места отлично известны москвичам, и, оказавшись в одном из них, москвич обязательно остановится и хотя бы краткое время постоит, посмотрит на открывшуюся перед ним панораму и, умилившись сердцем и сказав: «Какая красота, господи», побежит дальше. Но бывает и так, что московский житель вдруг почувствует неодолимую потребность увидеть красоту родного города и тогда нарочно идет или даже едет откуда-нибудь из-за тридцати земель — с Пресни, с Басманной, с Коровьего вала — только для того, чтобы взглянуть на первопрестольную.

Самым известным почитается вид с «Ивана Великого», откуда широко видать во все стороны. Картина, ничего не скажешь, величественная: взору предстает вся громада города, которая поражает своей обширностью. Но здесь имеется один важный недостаток: не видать Кремля — главной московской достопримечательности и красоты.

Любят москвичи и вид с Воробьевых гор, откуда Москва представляется протянувшейся по всему горизонту за обширными приречными лугами панорамой, напоминающей сказочный венец с возвышающимися посередине сверкающими золотом и белизной кремлевскими соборами.

Известен также вид с Воронцова поля. Отсюда, с одного из семи московских холмов, Кремль предстает как бы парящим над крышами обывательских домов, и многие считают, что лучше всего смотреть на него именно отсюда.

Но Карамзин предпочитал всем этим видам вид из Симонова монастыря.

Симонов монастырь, основанный во времена Дмитрия Донского племянником знаменитого Сергия Радонежского, за долгие века своей истории знал разные времена — и плохие и хорошие, и благоденствовал, и приходил в упадок. Но всегда местность вокруг него славилась своей красотой; один из древних московских митрополитов, рассказывая о ней, употребил такое сравнение: «Яко ин некий рай».

Расположенный на высоком левом берегу Москвы-реки, в шести верстах от Кремля, Симонов монастырь возвышался над окружающей местностью, и от него открывался чудесный вид на город и заречье. В прежние времена монахи даже соорудили нарочитую площадку над папертью, куда приводили знатных гостей любоваться этим видом. Но после чумы 1771 года, при которой умерла вся братия, монастырь был оставлен и с того времени пребывал пустым. Постройки его ветшали и настраивали случайных прохожих на меланхолический лад.

Еще в годы юности Николай Михайлович с сердечным другом Александром Андреевичем Петровым открыли для себя окрестности Симонова монастыря. Тут счастливо соединилось все, что нужно было молодым философам: великолепная природа, простор, небо, тишина — никто не мешал им громко спорить, никто не удивлялся восторженным восклицаниям и громким завываниям, с которыми они читали стихи.

А как хорошо писалось под сенью векового дуба или у окна кельи! С того времени Николай Михайлович привык всегда носить с собой медную чернильницу с крышкой, перо и записную книжку, и эта привычка оказалась очень кстати в путешествии.

«Наверное, в Симоновом сейчас чудесно!» — подумал Карамзин и, махнув рукой, прошел мимо типографии и пошагал по Тверской дальше вниз.

На Моховой он нанял извозчика.

— Эх, залетные! — весело прикрикнул извозчик на лошадь и погнал по полупустынной улице, нарушая указ московского полицмейстера о запрещении быстрой езды на улицах столицы.

Извозчика, как и Карамзина, переполняла радость жизни.

— Какая благодать-то нынче, барин,— сказал он, оборачиваясь.— Давно такого Юрья не бывало, а нынче по пословице: «Коли на Юрья березовый лист в полушку, то к Ильину дню клади хлеб в кадушку».

— Дай бог.

— Конечно, дай бог.

Симонов монастырь встретил Карамзина легким шумом деревьев, жужжанием пчел, теплотой нагретых кирпичных стен, проросших травой и кустами.

Он вышел к башне, обращенной в сторону реки, и сел на поваленное дерево. На голубой глади выделялись светлые паруса лодок, темные баржи, сверкали крылья ныряющих чаек.

Вид реки с судами неизменно вызывал в памяти воспоминания детства, те далекие и счастливые дни, когда у него еще не было забот, а обязанности были так не обременительны... Ему вспомнилось ясное летнее утро, солнце на стене, доброе и задумчивое лицо отца и его сухая теплая рука, протянутая для поцелуя, после которого отец неторопливо целовал сына в лоб и отпускал на все четыре стороны. Ах как весело было бежать через сад, через поле — на Волгу (а в руке — том не дочитанного вчера романа) и предвидеть новую встречу с Даирой, Мирамондом или Селимом и Дамассиной. Там, на высоком берегу над рекой, были пережиты первые, а потому сладкие и незабываемые волнения, тревоги и восторги, внушенные книгой. Целый мир — множество разнообразных людей, событий, приключений — явился ему, как в магическом фонаре, и он вошел в этот мир и остался навсегда очарован им.

В тишине и покое, царивших вокруг Симонова монастыря, Николай Михайлович ощущал ту могучую творческую силу, которая неприметно для постороннего скользящего взгляда совершает великое дело жизни: из неподвижного мертвого семени рождает живое вещество, способное расти, цвести и чувствовать. Сердце замирало, и голова чуть кружилась, как будто он стоял на огромной высоте. Его охватило то необычное состояние, при котором человек обретает чудесную и редко проявляющуюся способность видеть не только внешний облик предметов, но их внутреннюю сущность и связь с окружающим миром.

Под горой, недалеко от монастырского пруда, стояла старая, брошенная изба с обвалившейся-

ся крышей. Она вся заросла черемушником и лебедой. Когда-то здесь кипела жизнь, обитало счастье, и вот все миновало...

Эта изба пробуждала у Карамзина чувство тихой, задумчивой печали. Он глядел на нее, и у него зрела мысль, что описание этой избы может послужить началом повести — простой и бесхитростной, но трогательной и светло-печальной.

Сюжет повести Николай Михайлович представлял смутно, но уже был уверен, что напишет эту повесть, потому что главное — ее настроение, ее душа уже жили в нем...

Рождение замысла таинственно и волнующе. Совершенно непонятно, откуда вдруг приходит все это: является мысль, вырисовываются образы персонажей, плетется прихотливая вязь сюжета.

Сегодня же Николаю Михайловичу казалось, что эта повесть давно уже жила в нем и что она только ожидала вот этого ясного весеннего утра, чтобы сказать о себе.

Домой Карамзин решил идти пешком по берегу Москвы-реки.

Он шел по тропинке над рекой мимо Крутицкого подворья, Новоспасского монастыря, Котельников и думал о повести.

Главная героиня, конечно, девушка. Миловидная и юная, как та продавщица цветов на углу Газетного переулка. Ее любовь... Сначала счастливая, потом несчастная...

Николай Михайлович начал импровизировать.

«Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Часто прихожу на сие ме-

сто и почти всегда встречаю там весну. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет...

Но всего чаще привлекает меня к стенам Сиимонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы.

Саженьях в семидесяти от монастырской стены подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине, лет за тридцать перед сим, жила прекрасная любезная Лиза с старушкой, матерью своей».

Не замечая времени, Карамзин прошел весь путь до кремлевской стены и только тут очнулся.

«Скорее, скорее домой, за письменный стол!» — сказал он себе, повернул на Красную площадь и, пройдя ее, вышел в Охотный ряд.

Охотный ряд кипел. Бойко торговали лавочки с распахнутыми настешь по теплой погоде дверьми. На каждом шагу сидели, стояли над своими корзинами, бочонками и подстилками уличные торговцы вразнос. Их веселые крики, которыми они возвещали о доброте продаваемого товара и тем привлекали покупателей, в отличие от деловитой краткости зимнего времени были пространны и столь заковыристы, что люди останавливались и с улыбками на лицах выслушивали их до конца.

И вдруг среди этой веселой толпы Николай Михайлович увидел Тургенева. Иван Петрович был бледен и имел какой-то потерянный вид.

Карамзин его окликнул:

— Иван Петрович, что с вами?

— Николай Иванович арестован, — быстро сказал Тургенев.

— Как? За что?

— Не знаю, не знаю, иду в губернаторскую канцелярию, может быть, что-нибудь удастся узнать. Передай Алексею Александровичу, что ве-

чером приду к вам.— И добавил с горькой усмешкой: — Если со мной за это время ничего не случится.

Вечером у Плещеева собрались Тургенев, князь Трубецкой и еще несколько человек — членов бывшей «Типографической компании». Всем удалось кое-что узнать, и постепенно, черта за чертой, вырисовывалась картина ареста Новикова.

Московский генерал-губернатор Прозоровский послал за Новиковым в его подмосковную Авдотьино воинскую команду гусар под начальством майора князя Жевахова.

Жевахов с гусарами ворвался в Авдотьино, как в неприятельский лагерь. Новиков был болен, не мог сам идти, его вынесли в кресле, в Москву привезли еле живого, так что Прозоровский, снимавший с него допрос, сетовал: «От слабости одно слово нашепчет, другого еле дождешься...»

Позже всех пришел Иван Владимирович Лопухин, неожиданно веселый.

— Друзья, мне под большим секретом дали прочесть указ императрицы Прозоровскому, по которому наш друг и брат подвергнут аресту. Обвинения ложные и пустые, Николаю Ивановичу нетрудно будет оправдаться.

— Так в чем же его обвиняют? — нетерпеливо спросил Тургенев.

— Во-первых, в издании раскольничьей книги «О страдальцах соловецких...».

— Но ведь мы же не печатали такой книги! — воскликнул Трубецкой.

— Не печатали,— сказал Лопухин,— так что первое обвинение — вздорное, и опровергнуть его не составит никакого труда. А по второму обвинению требуется Николаю Ивановичу показать, что нажитое им имение приобретено законным путем.

— Это тоже не представляет трудности, так как счета «Типографической компании» в полном порядке,— повеселев, сказал Тургенев.

Тягостная атмосфера разрядилась.

— Всё клеветники, клеветники,— говорил Лопухин.— Ох, сколько их у трона, но как госуда-

рыня сведает их бесчестность, они будут посрамлены.

Но когда в Москве узнали, что Новикова отправили в Петербург, то поняли, что дело, действительно, серьезное и грозит обернуться бедой. Все члены бывшей «Типографической компании» ожидали ареста. Пока арестовали лишь нескольких книгопродавцев, в лавках которых обнаружались запрещенные ранее масонские издания. Трубецкого и Лопухина только вызвали к главнокомандующему на допрос и отпустили.

Все отсиживались по домам.

Прошло несколько дней. Первоначальная острая тревога улеглась. «Может, обойдется»,— мелькнула у оставшихся робкая мысль, с каждым днем все более и более утверждавшаяся.

В доме Плещеевых, как и во всех домах, обитатели которых были так или иначе связаны с Новиковым, пережили немало тревожных дней. Алексей Александрович был растерян, разговоры только и вертелись вокруг новиковского дела, строились догадки, почему арестован оказался один Николай Иванович, и сходились, что причина — какой-то неведомый навет. В его невиновности никто не сомневался.

Карамзин решил посоветоваться с князем Николаем Никитичем Трубецким, который после Новикова был наиболее авторитетным человеком среди типографских компанейщиков, и поехал к нему на Басманную.

Князь был явно недоволен визитом Карамзина. Он не пригласил Николая Михайловича сесть и разговаривал стоя.

— Что делать, Николай Никитич? Что делать? Чем можно помочь Николаю Ивановичу?

— Тише, тише,— с болезненной grimасой сказал Трубецкой,— говорите об этом тише. Слуги могут подслушать и донести. Давайте отойдем подальше от двери, к окну. И говорите, пожалуйста, тише.

Они встали возле окна, в которое глядела сверкающая молодой зеленью ветка липы.

— Николаю Ивановичу мы помочь ничем не можем,— тихо проговорил Трубецкой и поднял

палец вверх.— Его делом занимаются там. Можно только себя погубить.

— Но нельзя же просто ждать!

— Вы — человек не служащий, не чиновный, не родовитый. Что вы сможете поделывать? Я, конечно, попытался бы попросить кого-нибудь, если бы не знал, что все равно никто не замолвит слова в таких обстоятельствах, будь он хоть министр. Ждать надо, Николай Михайлович, ждать. Придет и для нас пора милости, ибо без вины виноваты... Люди посильнее нас молчат. Кто вы в сем мире? Всего лишь литератор... Так что благоразумие велит вам молчать и ждать.

Карамзин поклонился и пошел к двери. Князь Трубецкой проводил его до сеней.

Николай Михайлович шел по шумной весенней улице, гремящей колесами карет и колясок, полной говора, смеха, и ничего не слышал.

«Да, я — литератор, — думал он, — литераторство — моя гражданская должность, и я должен поступить как честный гражданин».

Николай Михайлович решил сделать то, чего не посмел бы сделать вельможа, — обратиться к самой императрице и высказать все публично, чтобы ответ государыни тоже был бы публичным. Он верил, что найдет в обществе если не поддержку, то сочувствие. И как только он это решил, на душе стало легко.

Ему припомнились поразившие его тогда слова Канта, которого он посетил во время путешествия.

— Мне уже шестьдесят лет, — сказал Кант, — я приближаюсь к концу жизни, и, вспоминая наслаждения, испытанные мною когда-то, я теперь уже не чувствую удовольствия, но, вспоминая случаи, где поступал сообразно с законом нравственным, — радуюсь. Назовем этот закон — совестью, чувством добра и зла или как-нибудь иначе, но он существует: я солгал, никто не знает, что я солгал, но — мне стыдно.

За два дня Николай Михайлович написал стихотворение «К Милости». Оно было написано в традициях оды — в той стихотворной форме, с ко-

торой прилично обращаться к царственной особе. Только не так велико по объему, как полагалось бы оде.

К Милости

Что может быть Тебя святес,
О Милость, дочь благих Небес?
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез,
Без радости и восхищенья,
Без сладкого в крови волненья
Взирать на прелести Твои?

Какая ночь не озарится
От солнечных Твоих очей?
Какой мятеж не укротится
Одной улыбкою Твоей?
Речешь, и громы немеют;
Где ступишь, там цветы алеют,
И с неба льется благодать.

Любовь Твои стопы лобзает
И нежной Матерью зовет;
Любовь Тебя на трон венчает
И скиптр в десницу подает.
Текут, текут земные роды,
Как с гор высоких быстры зоды,
Под сень державы Твоея.

Блажен, блажен народ живущий
В пространной области Твоей!
Блажен Певец, Тебя поющий
В жару, в огне души своей! —
Доколе Милостию будешь,
Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать,
И дети — подданные вольны
По мыслям жизнь располагать,
Везде Природой наслаждаться,
Везде наукой украшаться,
И славить Прелести Твои;

Доколе Злоба, дочь Тифона,
Пребудет в мрак удалена
От светло-золотого трона;
Доколе правда не страшна,
И чистый сердцем не боится
В своих желаньях открыться
Тебе, Владычице души;

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех Твоих делах,—

Дотолє будєшь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.

Спокойствия Твоей державы
Ничто не может возмутить;
Для чад Твоих нет большей славы,
Как верность к Матери хранить,
Там трон вовек не потрясется,
Где он любовью брежется,
И где на троне — Ты сидишь.

Несколько дней спустя Карамзин встретил князя Трубецкого на Никольской.

— Николай Никитич, я сочинил стихи в защиту Николая Ивановича и перед тем, как поместить в журнале, хочу дать вам на прочтение.

Князь выставил вперед ладонь, как бы отстраняясь от Карамзина:

— Нет, нет, уволь, и читать не буду, не хочу отягощать совесть знанием таких вещей... И ты сам будь осмотрительнее, — Трубецкой перешел на шепот. — О тебе спрашивал Прозоровский. Ничего не могу сказать, поскольку дал слово его превосходительству, но знай, что о тебе тоже спрашивали...

Трубецкой быстро поклонился и ушел.

Карамзин, не заходя домой, отправился в типографию и отдал оду «К Милости» наборщику, заканчивавшему набирать очередную — апрельскую — книжку «Московского журнала».

Никакого ответа на оду Карамзина не последовало.

Вскоре был напечатан и разослан по всем официальным учреждениям императорский указ с приговором Новикову.

«...Впрочем, хотя Новиков и не открыл еще сокровенных своих замыслов, но вышеупомянутые обнаруженные и собственно им признанные преступления столь важны, что по силе законов тягчайшей и нещадной подвергают его казни. Мы, однако ж, и в сем случае следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния, освободили его от оной и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость.

Что же касается до сообщников его, Новикова, статского действительного советника князя Николая Трубецкого, отставных бригадиров Лопухина и Тургенева... мы, из единого человеколюбия освобождая их от заслуживаемого ими жестокого наказания, повелеваем им отправиться в отдаленные от столиц деревни их и там иметь пребывание, не выезжая отнюдь из губерний, где те деревни состоят...»

Но, несмотря на все волнения, тревоги и переживания, которые, казалось бы, должны были целиком занять и время и мысли, как они и занимали всех остальных, повесть, начатая Карамзиным в тот памятный апрельский день, писалась легко.

Николай Михайлович не решился бы утверждать, что сюжет им придуман. Что-то подобное он слышал от кого-то, и слышал не раз. Иные эпизоды он просто списывал с природы, как в «Записках русского путешественника». Потом он жалел, что не спросил имя той девушки, у которой купил на углу Газетного переулка ландыши. В ее облике он представил себе героиню повести и свой краткий разговор с ней вставил в повесть лишь с тем небольшим изменением, которое требовалось для дальнейшего развития действия.

А имя он ей дал первое пришедшее на ум — Лиза.

(Потом-то вспомнилось: это из его же старого незаконченного стихотворения:

Лиза в городе жила,
Но невинною была;
Лиза — ангел красотою,
Ангел нравом и душою.
Время ей пришло любить...
Всем любиться в свете должно,
И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить...)

А повесть выходила грустная... Все, что переживал в это время Карамзин, его душевные страдания, возмущение, горькое сознание собственного бессилия перед грубым могуществом власти, принародно совершающей беззаконие с вызы-

вающим и оскорбительным презрением к истине, к общественному мнению,— все это отразилось в повести и разве только для совершеннейшего болвана осталось бы незамеченным и непонятым. Тем более что состояние Карамзина разделяли с ним многие его современники. Наверное, потому и оказался так велик успех «Бедной Лизы», когда она была напечатана в июньской книжке «Московского журнала».

Дождавшись выхода книжки «Московского журнала» с «Бедной Лизой», Николай Михайлович уехал из Москвы к Плещеевым в их орловское имение, где они пребывали уже месяц.

Алексей Александрович тотчас же схватился за журнал и унес его в спальню, так как читать он предпочитал перед сном.

На другое утро Карамзин вышел к завтраку в прекрасном настроении, весь в предвкушении деревенского месячного отдыха. Он сразу же заметил, что Алексей Александрович чем-то смущен и обеспокоен, но так как Плещеев сам не заговаривал о причине своего беспокойства, то Карамзин счел неудобным его расспрашивать.

После завтрака пошли прогуляться по парку, и тут-то Алексей Александрович начал разговор:

— Я должен попенять тебе, дорогой Николай Михайлович, на твою неосторожность...

— Ты имеешь в виду «К Милости»?

— Нет, не оду, хотя она тоже — неосторожный шаг. Сейчас я говорю о повести «Бедная Лиза». Она великолепна! Она — само совершенство! Но она при чтении слишком явно напоминает о том, о чем велено забыть. Я понял твой тайный умысел: ты хотел «Бедной Лизой» — пусть замаскированно — напомнить про Радищева.

— Вовсе нет.

— Неужели? — растерянно проговорил Плещеев.— На прошлой неделе мне доставили список с несчастной книги Радищева, и я нашел в твоей повести большое сходство с некоторыми страницами ее...

Карамзин пожал плечами и сказал:

— Я читал «Путешествие из Петербурга в Москву» единожды, сразу по возвращении в Рос-

сию, так что очень давно. Книгу имел на краткое время и, естественно, мог составить самое общее впечатление. После же мне не довелось книгу Радищева даже держать в руках.

Алексей Александрович остановился:

— Удивительно! Удивительно! Тогда я ничего не понимаю.

— В чем же все-таки заключается сходство?

— Вспомни, в одной главе Радищев рассказывает о молодой крестьянке Анюте. Это в главе «Едрово». Там говорится о том, как автор пожелал дать Анюте сто рублей ради того, чтобы она могла выйти замуж за любимого ею парня. Но Анюта, ее мать и сам жених не взяли денег.

— Из сюжета, кажется, не следует, что моя повесть похожа на рассказ Радищева.

— Из сюжета — нет, но... Да я кое-что отметил по пунктам. У радищевской Анюты отец умер, и в доме не осталось работника. В «Бедной Лизе» та же ситуация. Мать Анюты отказывается от денег проезжего барина, и мать твоей Лизы говорит ей: «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля». Твои слова «ибо и крестьянки любить умеют», правда, в другой форме, но мы тоже найдем у Радищева, у него говорится, что крестьянки «когда любят, то любят от всего сердца и искренне». А когда ты восклицаешь: «Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его!» — то я слышу голос автора «Путешествия из Петербурга в Москву».

Карамзин молчал, задумавшись, потом сказал:

— Совпадения, действительно, замечательные. Но наверное, иначе и быть не могло... Я сейчас пишу статью «Что нужно автору?» и начну ее так: «Ты хочешь быть автором! Читай историю несчастий рода человеческого...» Впрочем, помнится, у Радищева тоже говорится что-то подобное...

Плещеев тихо проговорил:

— «И душа моя страданиями человечества уязвлена стала...»





**ЗАПРЕТНОЕ ЧУДО,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ
УДАР СУДЬБЫ
В ГОРЕСТНОЙ ЖИЗНИ
КРЕПОСТНОГО СОЧИНТЕЛЯ
ВАСИЛИЯ ВОРОБЛЕВСКОГО**

1

Есть у древних греков жестокая и безнадежно мрачная сказка про царя Сизифа.

Этот Сизиф по воле богов был обречен на то, чтобы втаскивать на высокую гору тяжелую каменную глыбу. А как втащит, глыба тотчас же скатывалась обратно в долину. И Сизифу вновь приходилось приниматься за свой тяжкий труд.

Не единожды в своей жизни чувствовал себя таким Сизифом Василий Григорьевич Вороблевский — сочинитель, переводчик (целую полку в большом шкафу можно было бы уставить книгами переведенных им романов, повестей и пьес), распорядитель, или, как называется за границей, режиссер, при постановке спектаклей на сцене Шереметевского театра в Петербурге, Москве, Кускове и Останкине, а также письмоводитель, дворецкий, смотритель за порядком в актерских покоях и исполнитель прочих должностей, на которые его, своего крепостного, было угодно употреблять владельцам графам Шереметевым — сначала старому графу Петру Борисовичу, затем его сыну и наследнику графу Николаю Петровичу, нынешнему господину.

Но особенно часто вспоминалась сказка про царя Сизифа Вороблевскому в последние годы,

когда жизнь уже близилась к концу. И не хотел бы вспоминать, но древний греческий вымысел возвращался как наваждение: то ночью, когда сон мешался с бодрствованием, то днем, среди какого-нибудь дела, — и тогда замирало сердце, все валилось из рук, глухая, безнадежная тоска давила так, что казалось, и дышать нечем... Когда человеку уже за шестьдесят, питать надежды на будущее смешно, потому что это время — пора собирать плоды и подводить итоги, а не закладывать сад и начинать что-либо...

Из состояния задумчивости и протрации, в котором находился Василий Григорьевич, его вывел глухой удар в дверь и громкое сердитое восклицание:

— О, черт! Нет никого! Или заперся...

В доме крепостным запрещалось запираеть двери комнат, в которых они жили, чтобы не мешать надзору за их нравственностью. И Вороблевский обычно не запирался, хотя по распоряжению еще старого графа ключ от его каморки был выдан ему на руки. Сегодня же он, зайдя в комнату, вставил ключ в скважину и как-то случайно повернул его.

— Василий Григорьевич, ты здесь?

— Здесь.— Вороблевский встал с незастеленной постели, отпер дверь.

Молодой лакей Матвей Ермаков, недавно взятый в лакеи из-за того, что обнаружил способность к игре на басу, просунул в дверь:

— Василий Григорьевич, тебя граф требует. Сей момент.

— Зачем?

— Не знаю. Но нынче он в духе.

Вороблевский поглядел в зеркало:

— Ну и рожа!.. Надо хоть маленько в порядок привести. Я сегодня и не умывался еще. Слейка мне, вон там в кувшине вода есть...

Граф Николай Петрович Шереметев находился в том возвышающем душу радостном и приятном возбуждении, которое он испытывал только тогда, когда музицировал или занимался делами, связанными с театром.

Всего три дня назад он обмолвился в одном мимолетном разговоре у Ивана Петровича Голицына, что вскоре собирается дать спектакль в своем новом театре в Останкине, и вот уже сегодня с утра несколько ливрейных лакеев принесли письма, запечатанные гербовыми печатями, известными всей России.

Николай Петрович с улыбкой поднял двумя пальцами пахнувший парижскими духами голубой листок с кружевной каймою.

«Милостивый государь мой
Николай Петрович,

многие дамы из моих знакомых желают иметь удовольствие видеть Ваш спектакль, и поэтому покорнейше прошу Ваше сиятельство одолжить меня среднюю ложею, если она никому еще не отдана и не обещана. Вы чувствительно одолжите пребывающую с почтением

княгиню Долгорукую».

Оборудование сцены Останкинского театра еще не было полностью закончено, поэтому граф решил ставить не новый спектакль, а возобновить с успехом шедшую в прежние годы в Кускове и Москве оперу Монсиньи «Дезертир», которую Василий Вороблевский перевел на русский язык под названием «Беглый солдат».

Еще вчера вечером граф распорядился, чтобы из библиотеки принесли все нужное для подготовки к репетициям, и сегодня, придя в кабинет, увидел разложенные на столах партитуру, либретто и альбом иллюминированных гравюр, изображавших сцены из оперы Монсиньи в постановке различных европейских театров.

Николай Петрович послал лакея за Вороблевским и с удовольствием погрузился в рассмотрение многочисленных листов: опера пользова-

лась в Европе большой известностью и ставилась во всех крупнейших театрах.

На листах кудрявились аккуратные, как будто завитые старательным парикмахером, рожицы с белыми беседками на опушках. Задники изображали прелестные виды, какие только могла себе представить изощренная и тонкая фантазия: в голубых далях поднимались окутанные туманом горы со сверкающими снежными вершинами. Лучи солнца, прорываясь сквозь легкие белые облачка, заливали весь пейзаж ярким светом, освещая стены древнего замка с высокими башнями, украшенными большими знаменами, с седой громадой донжона, с красными черепичными крышами надворных построек и золочеными крышами господских покоев. Под сенью замка на светло-зеленых луговинах паслись стада чистеньких пушистых овец и толстых внушительных коров. На шеях овец были повязаны красные ленточки, а у коров подвешены колокольчики. Пасли стада пастухи и пастушки в широкополых шляпах и одежде, которой не удивились бы на любом светском балу. Пастухи были в обтягивающих тело шелковых штанах и чулках, в башмаках с пышными лентами; из-под распахнутых кафтанов выглядывало мелкофрированное жабо. Пастушки щеголяли в расшитых цветами корсетах с большими декольте; тонкие шеи и полуобнаженные груди прикрывались легкими платочками; длинные, громоздкие юбки-панье были так широки, что пастушки в панье, встав рядом, могли едва-едва коснуться друг друга кончиками пальцев вытянутых рук.

Пейзажи, сцены, группы, отдельные фигуры, банты, фижмы, мушки на щечках... Николай Петрович одни листы едва пробежал глазами, другие рассматривал внимательнее, к третьим возвращался по нескольку раз.

С «Дезертиром» у графа Николая Петровича были связаны самые приятные воспоминания.

Впервые он слушал эту оперу в Париже, в Итальянской комедии, двадцать, да нет — уже двадцать два года назад.

Но до сих пор Николай Петрович помнит ова-

ции, которые устроила публика исполнительнице главной партии — Луизы — госпоже Трияль.

Ника Демидов, тоже путешествовавший тогда по заграницам и оказавшийся в тот день в парижской Итальянской комедии, все повторял: «Как натурально сыграла! Лучше и желать невозможно!»

— Очень натурально, очень, — задумчиво произнес Николай Петрович, вызывая в воображении воспоминание об игре госпожи Трияль.

Ему это, кажется, удалось.

Представилось, что он сидит на жестких креслах в зале «Комеди д'италиан» и слышит взволнованный и трогательный речитатив Луизы из последнего акта.

Ах, милый, любезный друг...

Но вскоре Николай Петрович понял, что вспоминается ему вовсе не Париж, а кусковский спектакль, и не заграничная примадонна госпожа Трияль, а Параша.

Как поразила тогда всех эта тринадцатилетняя девочка! Вот уж, действительно, так сыграла, что лучше и желать невозможно!

С какой естественностью, с какой страстью, с каким тонким пониманием, совершенно необъяснимым в дочери крепостного мужика-кузнеца, она провела роль!

Чего стоит одна сцена в тюрьме!

Взволнованная, задыхающаяся, с быстро меняющимся лицом, на котором то выражалась надежда, то страх и отчаяние, она вбегала в каземат и падала без чувств в объятия любимого.

Весь театр тогда замер от восторга, чтобы потом разразиться аплодисментами и исступленными возгласами: «Браво! Фора!»

Своим искусством Параша тронула и разволновала тогда даже тех гостей графа Шереметева, которых давно уже ничто не трогало и не волновало, кроме собственных дел...

— Необъяснимо и удивительно, — тихо проговорил Николай Петрович. — Удивительно и необъяснимо...

И тоскливо заняло сердце.

Сердце, сердце...

Еще в давние времена тетка Марфа Михайловна говаривала:

— Слишком мягкое у тебя, Николаша, сердце, будто воск... У тебя вон даже твоя виолончель слезу вышибает, как заведешь что-нибудь меланхолическое. С таким-то сердцем трудно жить на свете. Эх ты, сантиман!

Николай Петрович и сам знал, что он — сантиман. (Так с недавнего времени стали называть на французский манер человека, который все принимает близко к сердцу.)

Вон, когда прочел в номере «Московского журнала» повесть «Бедная Лиза», то плакал. А проезжая мимо Симонова монастыря, велел остановиться коляске на горе и побежал к пруду, чтобы взглянуть на места, где любила и обрела последний приют несчастная Лиза. И опять плакал... Хорошо еще, никто его тогда не видел.

Впрочем, может быть, и не сочинение нынешнего самого модного русского писателя Николая Михайловича Карамзина, хоть и замечательное по своим литературным достоинствам — это граф Николай Петрович признавал, — было причиной его тогдашних слез. Конечно, и оно тоже, потому что произведения изящной словесности и искусств всегда оказывали на него сильнейшее действие, но тут — особое дело, тут виною его слез, скорее всего, жизненные обстоятельства.

Никак не предполагал Николай Петрович, восхищаясь юной актрисой своего театра Парашей Ковалевой, что пройдет время, и он полюбит ее и эта любовь станет его счастьем и несчастьем одновременно.

В том кругу, в котором жил граф, у людей с которыми он встречался, говорил, дружил, приятельствовал и враждовал, пожалуй, ничто не занимало такого большого места в жизни, как любовь.

О любви разговаривали, встречаясь, приятели; любовь была постоянной и почти единственной темой читаемых романов; о любви пели в гостиных, разыгрывали спектакли на сценах театров; любви добивались; любовью награж-

дали; от любви стрелялись; о любви философствовали; любовь славили и проклинали; о любви писали ученые трактаты.

Граф Николай Петрович тоже не представлял собой исключения. Ему казалось, что он знал о любви все, и сам с удовольствием напевал куплеты, которые так изящно и верно изображали любовные муки:

Льются слезы, дух мятется,
Томно сердце томно бьется;
Где любезная моя?
Нет ея!

Или же воспевали любовные радости:

Как с тобой не вижусь, те часы прелюты
Ставлю век я жизньнюю пустой.
Чту прямою жизнью те одни минуты,
В кои я выдаюся с тобой.

Но только полюбив Парашу, он понял, что любовь совсем не то, что красиво и мелодично поет, красиво вздыхает, кокетничает и жеманится в стансах, рондо, песенках, триолетах, сочиненных стихотворцами — от Третьяковского с его «Покинь, Купидо, стрелы, и так уж мы не целы» до нынешнего модного романса Ивана Ивановича Дмитриева про «сизого голубочка», который сейчас поют в каждом доме.

Крепостная, раба, актриса... Бывало, вначале, лет шесть назад, иной раз взбунтует в нем барская гордость и решит он, что надо-де указать ей ее место. Не за проступки — проступков за ней не числилось, — а так, для острастки: пусть знает, кто она есть. Можно и выпороть на конюшне. Не с жестокостью, лишь ради порядка.

Но когда Параша приходила, он отводил глаза и проклинал себя, терзался за давешние мысли. И то, только замышляемое, ее страдание отдавалось в нем, как будто это уже случилось не в мыслях, а въявь, и он от этого так страдал, как, наверное, не страдала бы она...

Параша никогда ничего не просила. Его подарки были ей дороги не своей ценой, а тем, что они от него. Она одинаково радовалась тысячному бриллианту и цветку, который Николай Петрович, сорвав во время прогулки, приносил

ей... Цветку даже, пожалуй, больше. Она любила Николая Петровича, и он это знал.

Они могли бы быть счастливы, но не были.

Николай Петрович был несчастлив, потому что знал, что Параша страдала. Постоянно, глубоко, скрытно от всех глаз. Улыбаясь, смеясь, она ни на миг не освобождалась от своего страдания. Николай Петрович чувствовал это.

Как-то она сказала:

— За вас я готова без ропота гореть в геенне огненной...

Он понимал, что она недоговорила. Она считала их любовь, не благословленную венчанием, грехом, за который ее ждет возмездие на том свете. И она готова принять возмездие ради него!

Николай Петрович уже не мог выносить ее страдания, которое давно стало и его мукой.

Был один выход: венчаться в церкви, назвать Парашу княгиней Шереметевой. Николай Петрович возвращался к этой мысли постоянно. На память приходили все пьесы, все романы, где соединялись любящие сердца вопреки разнице состояний. Немало подобных примеров знает история. Ну, хотя бы Петр Великий и его вторая супруга — Екатерина I... Однако то были пьесы, книги, история, а тут — разве повернется язык сказать кому-нибудь, что женюсь на крепостной своей?..

Но еще знал граф Николай Петрович твердо: ни за что на свете не откажется он от Парашы, от своей любви.

Если бы она была вольной! Из самых захудалых однодворцев! Если бы вывез ее откуда-нибудь из дальних мест, можно было бы сказать: мол, дворянская дочь. А тут по деревне у всех на глазах бродит вечно пьяный ее отец...

Мысль о том, чтобы выдать Парашу за дворянку, давно запала ему на ум, и он даже обдумал, как это осуществить.

«Надо же когда-нибудь решиться,— сказал сам себе.— Пусть это будет сегодня.— Он взял стоящий перед ним на столе серебряный колокольчик, слегка потрянул им. Колокольчик корот-

ко звякнул, и в тот же момент бесшумно раскрылись обе створки дверей и на пороге появился лакей в ливрее.

— Сыскать Никиту Сворочаева и немедленно представить сюда,— дрогнувшим голосом приказал Николай Петрович.

Лакей упятился, затворив за собой дверь.

Николай Петрович снова принялся за гравюры, но перебирал их без прежнего внимания и время от времени поглядывал на дверь.

3

Вороблевский и крепостной шереметевский стряпчий Никита Сворочаев, низенький, с головой, ушедшей в плечи, и хитрым взглядом человек, одновременно подошли к дверям графского кабинета.

Они недоуменно посмотрели друг на друга: вроде бы не может быть никакого дела, для которого они могли бы понадобиться оба вместе.

На вопросительный взгляд Вороблевского Никита пожал плечами.

Лакей раскрыл дверь и отступил в сторону.

Василий Григорьевич со Сворочаевым вошли в кабинет и, поклонившись, остановились возле двери.

Граф поднял глаза от гравюры.

— Вот что, Василий, мне угодно, чтобы на нашем театре в ближайшее время был дан спектакль. Я выбрал «Беглого солдата». Распорядись незамедлительно перевезти из Кускова сюда, в Останкино, декорации, бутафорию и прочие необходимые принадлежности. В конторе скажи, что я повелел наряжать к тебе в работу то количество мужиков, которое надобно. И завтра же начнем репетиции.

Все это граф говорил строгим, приказывающим тоном, и на каждое распоряжение Вороблевский только кланялся.

Затем граф улыбнулся и совсем другим голосом сказал:

— Тряхнем, Василий Григорьевич, стариной. Впрочем, полагаю, что теперь-то сделаем спек-

такль еще лучше. Прежние актеры стали опытнее, новых выучили талантливых, оркестр увеличился... Как думаешь, сделаем лучше?

— Николай Петрович, всё в наших руках!

— Ну, иди. Докладывать будешь каждое утро.

4

Уже перегорели желания, зарубцевались язвы многочисленных обид, спокойнее и равнодушнее смотрел Вороблевский на мир, лишь иногда, не увлекаясь, а только отвлекаясь какими-то заботами.

Поэтому он сам удивился себе, когда вдруг подготовка к новому спектаклю так захватила его. Видно, все-таки еще тлели угли под толстым слоем седого пепла.

Отец Вороблевского был управляющим в ярославских вотчинах Шереметевых. Старый граф Петр Борисович ценил управляющего «за радетельную,— как было сказано в одном графском письме,— службу и безленостное в вотчине управление». Сыновей управляющего — старшего Николая и младшего Василия — граф определил учиться в частные пансионы в Петербурге. Николай после учения граф назначил приказчиком в одну из вотчин. Василия же оставил при себе секретарем, поскольку тот оказал в ученье большие успехи и склонность к сочинительству. Еще в пансионе Василий представил графу свое сочинение «Разговор между двух русских солдат», которое было одобрено и водворено в графскую библиотеку.

В царствование Елизаветы Петровны граф, подчиняясь моде, завел у себя крепостной театр и мало-помалу увлекся им. Вороблевский переводил для театра пьесы с французского и немецкого, изучил сценическое мастерство и сделался главным руководителем театра. В театр он вкладывал все силы, не по рабскому усердию старался, а по душевной склонности. Оттого и стал Шереметевский театр славен среди других театров.

Когда графа назначили членом комиссии по составлению нового Уложения, то Вороблевский в качестве его личного секретаря стал ездить с ним на заседания.

Государыня императрица Екатерина II, устраивая обсуждение составленного ею нового свода законов депутатами от всех сословий (кроме, конечно, крепостных), полагала, что все депутаты восславят мудрость государыни и ее предложений, а затем, получив следуемые за усердие и послушание награды, спокойно разъедутся, опять же прославляя столь милостивую и пекущуюся о народном благе власть.

Однако получилось не так, как предполагала царица.

Конечно, недостатка в славословиях не было, но депутаты от третьего сословия и некоторые дворяне — кто поверив призыву императрицы честно высказаться о своих нуждах, а кто воспользовавшись этим неосторожным призывом — с трибуны комиссии заговорили о главных язвах государства: о бесправии народа, о бесчеловечности крепостного права и прямом вреде его для дальнейшего развития страны.

Господа владельцы крепостных душ всячески старались опровергнуть жалобы и рассуждения критиков рабства.

После выступления пахотного солдата Жеребцова один казанский мелкопоместный помещик закричал в возмущении:

— Что же это такое? Никогда такого не бывало, чтобы мужик смел говорить такие речи! Слушать их считаю за один смех и в обиду дворян!

Князь Щербатов, высокоумный философ, повел речь по-умному:

— Оттого дворяне имеют более прав, что издревле оказывали и оказывают ныне государству Российскому великие услуги. По трудам и почет.

Но крестьянин Чупров тогда же отвечивал ему:

— Справедливо, ежели заслуга будет признаваема, да, однако, в государстве не только дворя-

не, а всех званий люди свою должность честно отправляют, тем и стоит оно. Но ныне не о том речь идет, и не для того собраны господа депутаты, чтобы о чести препираться, но для того, чтобы установить узаконения, касающиеся всех вообще и каждого в особенности. А потому не должно оставить без определенного закона и помещиковых крестьян.

После же того как казачьи атаманы и богатые купцы внесли предложение, чтобы им было разрешено владеть крепостными, как владеют ими дворяне, выступил простой казак Алейников. Стриженный в скобку, чернобородый, ладный, быстрый, блестя глазами, он взбежал на помост, с которого говорили депутаты, и, прищурившись, заговорил смело и дерзко, наверное, так же он скакал на неприятеля в славном сражении под Кунерсдорфом, за которое был удостоен высшей для солдата почетной награды — медали «Победителю над пруссаками».

— Хотя некоторые господа депутаты и представляют, что казачьим войсковым атаманам и полковым командирам без крестьян быть предосудительно, то это они говорят напрасно. Мы видим целую Европу, которая в крепостных крестьянах никакой нужды не имеет. Не больше ли будет предосуждения всем господам депутатам и всему нашему государству перед другими европейскими странами, когда по окончании сей высокочтимой комиссии узаконено будет покупать и продавать крепостного, как скотину! А что насчет заслуг командиров, то во время сражений с неприятелем рядовые казаки такую же кровью венчаются, какою и предводители.

Воробьевский слушал выступления депутатов, и волнующие надежды переворачивали все в его душе. Один из депутатов потребовал дарования законом прав и тем людям, «которые обитают в городах и, не быв дворяне или хлебопашцы, в художествах, в науках, в мореплавании, в торговле и ремеслах упражняются».

Комиссию императрица вскоре распустила, никаких законов о правах людей «среднего рода» и тем более крепостных не последовало. Но имен-

но во времена комиссии Вороблевский познакомился с исполнявшими при ней секретарские должности поэтом Михаилом Поповым, драматургом Аблесимовым и с Николаем Ивановичем Новиковым, который тогда затевал издавать свой первый сатирический журнал «Трутень». С Николаем Ивановичем приятельство продолжилось на много лет, и когда он открыл в Москве типографию, то почти все свои книги Вороблевский печатал у него. По правде говоря, без одобрения и душевной поддержки Николая Ивановича их было бы много меньше...

В самый год упразднения комиссии граф Петр Борисович Шереметев отправил своего подросткового сына, Николая Петровича, за границу — поучиться, людей посмотреть и себя показать. Сопровождать молодого графа и руководить его занятиями Петр Борисович назначил Вороблевского.

В Париже, Лейдене, Амстердаме, Лондоне, Женеве — четыре года Вороблевский жил, не ощущая себя крепостным. Он бывал в тех же музеях и театрах, что и граф, слушал те же лекции в университете.

Но, вернувшись в Россию, Василий Григорьевич снова стал крепостным. Ум, талант, образованность не избавили его от неверной и унижительной общей участи раба, он не был хозяином ни своей судьбы, ни настоящего, ни будущего часа. Такое положение отнимало силу воли, истребляло желания, вселяло отчаяние и тупую покорность. То есть лишало всего, что необходимо художнику, творцу для того, чтобы творить.

«Как бы ни был ты несчастен, всегда найдутся люди несчастнее тебя». Вороблевскому оставалось искать утешения в этой сомнительной сентенции. Крепостные других господ завидовали графским: Шереметевы никогда никого не продавали, не разлучали семьи, что по тем временам было великим благодеянием.

Но никогда никого и не отпускали на волю.

Многие шереметевские мужики пребывали на оброке, ремесленничали в столице, торговали, бывало, разживались большим капиталом — и тогда

в ноги графу: дозвожь, мол, купить волюшку. От графа — отказ.

Один-единственный раз сплеховал граф.

Был у него на оброке ярославский мужик по фамилии Шелушин, миллионами ворочал. За себя, за свою волю предлагал он графу двести тысяч, деревню за эти деньги можно купить. Не раз предлагал, граф отказывал, но однажды граф, пребывая в веселом расположении духа, ему сказал:

— Напрасно, Шелушин, ты предлагаешь мне двести тысяч. Я не знаю, что мне со своими-то деньгами делать. Вот если доставишь мне к завтраку устриц, получишь свободу.

Граф так сказал в полной уверенности, что купец устриц не достанет, потому что не было в ту пору в Петербурге устриц, даже к царскому столу не подавали.

Только плохо знал граф мужика, которого по-манила воля.

На следующий день в зал, где граф завтракал с гостями, вдруг вкатывает Шелушин бочку с устрицами.

Пришлось графу дать ему вольную.

Но с тех пор всякие просьбы об освобождении вызывали у графа гнев.

Как-то Степан Дегтярев, первый капельмейстер оркестра, композитор, сочинявший музыку для оркестра и к спектаклям, после одного трио, особенно расхваленного графом Николаем Петровичем, решился заикнуться о вольной, за что был изгнан с глаз самым грубым образом, с горя напился и был высечен на конюшне.

Василий Григорьевич тосковал о свободе и всю жизнь надеялся, сначала, что старый граф оценит его заслуги, потом — надеялся на Николая Петровича...

Усердие и смирение, смирение и усердие. Ах как трудно было соблюдать принятую линию жизни! Сколько раз приходилось смиряться перед невежеством и глупостью, сколько раз за долгие годы подмывало плюнуть на все и взбунтоваться или хотя бы напиться до беспамьтства, как Дегтярев, забыться...

Занятый хлопотами о предстоящем спектакле, Вороблевский забыл о встрече с Никитой Сворочаевым в графском кабинете.

Он составлял и отправлял в Кусково требования доставить то и другое, объяснял театральному механику Федору Пряхину, какие машины нужны для представления, и уже три дня визг пил и стук молотков разносились со сцены по всему дому.

«Может, и вправду вернулись былые времена? — думал Василий Григорьевич. — Может, предана забвению опала, наложенная на меня графом в том несчастном девяносто втором году?..»

Вороблевский вздохнул. Вспоминался Николай Иванович Новиков и его горестная судьба. Каково-то ему сейчас в страшной и таинственной темнице? Да и жив ли?.. Но — такова уж человеческая натура! от мыслей об участии пропавшего друга перешел Василий Григорьевич незаметно к тешащим самолюбие мыслям о себе, о том, что, как ни крути, не обойтись графу без него...

Проходя по галерее, Вороблевский встретил Сворочаева, спросил мимоходом:

— Зачем тебя тогда граф требовал?

— Для одного тайного дела, — тихо ответил стряпчий.

Василий Григорьевич остановился.

— Ну-ка, пошли ко мне, поговорим без лишних ушей.

Действительно, то, что рассказал Никита Сворочаев, можно было рассказывать только с глазу на глаз.

Когда граф отправил Вороблевского, приказав ему докладывать каждый день о подготовке к спектаклю, то снова принялся рассматривать гравюры.

Никита Сворочаев молча ждал.

Наконец граф, не поднимая головы от очередной гравюры, словно бы между прочим спросил:

— Никита, скажи-ка, возможна ли у нас та-

кая ситуация...— Граф снова наклонился над гравюрой и, только рассмотрев на ней какую-то привлекающую его деталь, продолжал:— Такая ситуация, чтобы потомки благородного по рождению человека оказались крепостными какого-либо российского помещика?

Никита отвечал так, будто только и ожидал этого вопроса:

— Подобная ситуация очень даже возможна. И в старые времена, бывало, люди благородного происхождения, обедняв, шли в услужение к знатым персонам и, ежели потом не могли представить соответствующих документов, попадали в состояние дворовых. Так же иностранные, попавшие при изменении военной фортуны в полон, пополняли собой крепостных слугителей.

— Разве эти несчастные не пытались выйти из подлого состояния и доказать свои права?

— Э-э, ваше сиятельство, сколько слезниц ихних по канцеляриям бродит!

— Ну, и каковы же результаты?

— Всё впустую. Кто их во внимание принимать станет? Дело-то судебное, средств требует, а у них, как говорится, в одном кармане вошь на аркане, в другом — блоха на цепи. Опять же владельцы их — не те люди, противу которых суд решится выступить.

Николай Петрович поднял голову от гравюры и смотрел на Никиту прищуренными глазами.

Стряпчий выжидательно замер.

— Послушай, Никита...— медленно, растягивая слова и вроде как бы запинаясь, заговорил Николай Петрович.— Послушай, Никита... Меня тут сомнение взяло насчет Прасковьи Ивановны...

Никита весь превратился в слух.

Он был, пожалуй, самым осведомленным человеком в доме, а тут даже и догадаться не мог, что же такое насчет Прасковьи Ивановны.

Граф Николай Петрович, произнеся первые фразы, замолчал. Он старался казаться спокойным, но голос выдавал его волнение.

— Понимаешь, Никита, взяло меня сомне-

ние, глядя на достоинства ее души и таланты...

— Действительно, Прасковья Ивановна обладает высокими достоинствами души,— подобострастно проговорил Никита.

— На нежную красоту черт ее лица,— словно не слыша стряпчего, продолжал граф.— И вот подумал я: не течет ли в ней кровь благородных предков...

Никита Сворочаев, совсем растерявшись, забормотал:

— Нам сие неведомо... Отец-то ее, Иван Степанович...

— Не про отца речь,— перебил стряпчего Николай Петрович.

— Ежели в старых бумагах посмотреть...

— Вот-вот, посмотри. Я уверен, что ее дед или прадед были не мужиками. Ищи со всем тщанием, но чтобы бумаги были найдены в скором времени.

— Понял, ваше сиятельство, граф Николай Петрович. Уж приложу все старание.

Вот такая сцена произошла в кабинете графа.

— Ну и что же ты теперь, Никита, будешь делать? — спросил Вороблевский.

— Найду, что надо.

— Да-а, значит, будет Параше вольная...

— Не ей одной, всей семье.

— Ох, господи, вот она — барская воля.

6

Из высокого, до потолка, и широкого, почти во всю стену, окна кабинета графа открывался вид на парк. Возле дома расстилался партер — светло-зеленые газоны, разделенные прямыми желтыми песчаными дорожками. Вдали дорожки сближались и тем самым подчеркивали всю обдуманность перспективы.

Среди зелени газонов, в легком окружении неярких и низких цветов, белели стоящие на невысоких постаментах мраморные статуи богов и героев — копии работ Фидия, Алкамена и дру-

гих известных и неизвестных скульпторов Древней Греции и Рима.

За партером зеленели густые липы, между стволов которых таинственно просвечивала стена оранжереи, сложенной из серого дикого камня.

Дорожки были пустынно. Всюду царила отрадная тишина, словно все вокруг смолкло специально для того, чтобы не мешать размышлениям Николая Петровича.

Вдруг тишину пустынного парка нарушил какой-то пронзительный скрип.

Шереметев недовольно поморщился и потянулся за колокольчиком.

Но в это время из-за угла флигеля выехала скрипящая подвода, груженная длинным и, видимо, тяжелым грузом, накрытым серой холстиной.

Привезли декорации. Николай Петрович, не позвонив, поставил колокольчик обратно и не отошел от окна, пока во двор не въехала последняя телега.

Граф не обратил никакого внимания на шагавшего возле предпоследней телеги рядом с мужиком-возчиком мальчонку лет двенадцати.

Зато мальчонка, во все глаза тарасившийся на все вокруг, разглядел стоявшего у окна графа.

— Дядя Семен, кто это вон, в горнице, из окошка смотрит? — дернул мальчонка мужика за рукав. — Сам?

Мужик повернулся к дому, стянул с головы шапку.

— Сам, — тихо ответил он. — Сам граф Николай Петрович. Кланяйся, Петька.

Мужик с мальчонкой поклонились в сторону дома. За ними, также посдергивав шапки, закланялись и все остальные возчики.

Во двор выскочил управитель Алексей Агапов и закричал на мужиков:

— Куда вперлись? Давай поворачивай! К галерее вези!

Управитель схватил первую лошадь под уздцы и принялся ее заворачивать.

В другое время мужики быстренько развер-

нулись бы и подъехали куда надо — эка невидаль подводу повернуть! Но тут, на глазах у барина, они заметались, дергая и пугая лошадей. Поднялась суматоха.

— Давай левей!

— Ворочай направо!

— Куда лезешь?

— Бе-ерегись!

Две телеги сцепились колесами. Послышался треск.

Петька растерялся и тут же ни за что ни про что получил по затылку: не путайся под ногами.

Кое-как подводы выбрались с парадного двора и, объехав барские хоромы, подъехали к галерее сзади.

— Вноси все в дом, — приказал управитель.

Мужики подняли наверху толстый длинный шест тяжелую холстину и понесли.

В дверях получилась задержка. Холстина не лезла, цеплялась за притолоку. Мужики нажали.

Из галереи выбежал Вороблевский, схватился за голову, закричал:

— Что же вы делаете? Ведь это же декорации! Осторожнее! Осторожнее!

— Ничего, Василий Григорьевич, мы помаленьку, — сказал дядя Семен.

— А-а, это ты, Семен. — Василий Григорьевич на ходу погладил Петьку по голове: — Твой? — И тотчас же, словно молодой, сорвался и выскочил во двор, где разгружали телеги, и уже оттуда слышался его голос:

— Осторожнее! Осторожнее! Это вам не дрова!

Разгрузились только поздно вечером. Последние вещи вносили в дом уже при фонарях.

Петька так устал, что за ужином задремал над кашей и уронил ложку.

Мужики посмеялись, а кухарка пожалела Петьку, взяла его за руку и отвела в сарай спать.

Петька повалился в сено и перед тем, как через секунду заснуть, успел подумать:

«Зря я напросился с дядей Семеном в Останкино... Скорей бы домой...»

Но получилось иначе.

Утром его разбудил дядя Семен

— Уезжаем уже? — встрепенулся Петька.

— Да нет, не выйдет сегодня уехать. Видишь ли, к спектакле барской готовятся, и людей не хватает эту спектаклю делать. Поэтому всех нас оставили помогать здешним дворовым.

— А что такое — спектакля?

— Театр, или, говоря по-нашему, представление. Нарядятся девки и парни в разную чудную одежду и начнут говорить всякие штуки, или петь, или плясать. Вроде как на святках ряженные.

— Так нынче не святки...

— А господам все равно — у них круглый год святки. Ты, Петька, вставай, поди на кухню, Дарья тебе щей даст, а потом приходи на задний двор, где вчера разгружались, там Василий Григорьевич скажет, что работать будем.

— Это барин-то вчерашний?

— Какой он барин! Только одежда барская, а сам — крепостной, как и мы, грешные.

— Не похож он на крепостного, — с сомнением сказал Петька, — и обличье, и все выходки у него барские, а не крестьянские.

— А это потому, что он всем наукам, какие барину положено знать, научен. Разные языки чужие знает и во всех других делах смыслит. Кабы с такою головой был бы он не крепостной, быть бы ему министром.

— То-то он такой важный, — сказал Петька.

Семен махнул рукой:

— Сейчас-то он весь вид потерял, не в милости у барина. Посмотрел бы ты на него годов десять назад!

— Почему же он к барину в немилость попал? — спросил Петька.

— Из-за книжек, — шепотом ответил дядя Семен.

7

Находясь за границей, Василий Григорьевич перевел из книги Августина Алеца «История славных государей всей вселенной» главу о Пет-

ре Великом. Как раз в том году граф Петр Борисович издал переписку своего отца-фельдмаршала с Петром I, поэтому перевод Вороблевского случился ко времени и тоже был напечатан в Петербурге отдельной книжкой.

Граф Петр Борисович поощрял занятия Вороблевского переводами: ему льстило, что среди его крепостных есть и литератор, к тому же литературные опыты которого получали одобрение весьма знающих людей.

Много с тех пор книг издал Вороблевский. А сколько осталось пьес, им переведенных, сыгранных на театре, но так и не напечатанных!..

В восемьдесят восьмом году, когда умер старый граф, Вороблевский уже решил было, что дождался светлого дня, хоть и на пятьдесят девятом году жизни, а приходит конец его рабству: молодой граф Николай Петрович намекнул, что намерен его наградить. И Василий Григорьевич возмечтал: вдруг старый господин в завещании велел дать ему вольную? Но последовало долгожданное повеление, и в нем значилось, что Николай Петрович приказывает «за усердную и долговременную службу производить жалованье Василию Вороблевскому как управителю»...

Впрочем, и этой милостью Вороблевский пользовался недолго. В восемьдесят девятом году у Николая Ивановича Новикова отобрали университетскую типографию, в которой печатались все переводы Вороблевского.

Нераспроданные книги Василий Григорьевич перевез в графский дом и опубликовал в газете объявление, что-де он, Вороблевский, продает изданные собственным коштом книги, а обращаться за ними к оному Вороблевскому в доме графа Шереметева.

А книг оставалось на складе немало, названий десятка два: «Сокращенное описание жизни и дел Петра Великого, императора всея России», «Путешествие в Берлин его высочества государя — цесаревича великого князя Павла Петровича», «Жизнь и приключения Лазария Тормского...», «Пателен стряпчий», «Заря — карточная игра», «Башмаки Мордоре, или Немецкая

башмачница», «Живописец, влюбленный в свою модель», «Две сестры, или Добрая приятельница», «Опыт дружбы», «Колония, или Новое селение», «Двое скупых», «Лоретта», «Жнецы», «Беглый солдат», «Три откупщика», «Клементина и Дезорм», «Описание села Спасского, Кускова тож», «Яшина история», «Собрание любопытных повестей, модное сочинение», «Сказание о рождении и воспитании и наречении на Российский престол государя Петра Первого» и другие.

Одних книг было по многу экземпляров, они лежали кипами, других — оставалось лишь по нескольку штук, но их тоже надо было продать, чтобы оправдать затраченные на издание деньги.

Графу не сразу стало известно об опубликовании Вороблевским объявления. Но когда он о нем узнал, его гневу не было предела.

Граф тогда жил в Петербурге, и в Москву был отправлен строгий указ: Вороблевского за дерзость перевести на меньший оклад, а продавать что-либо, писал граф Николай Петрович своему управителю, «как ему, так и никому в моем доме не позволяю и никогда не позволю».

Груды книг были перенесены в подвал, где и пылятся по сию пору...

Случилось это в девяносто первом году, а в следующем стряслось настоящее несчастье.

Утром 24 апреля Вороблевский, будучи в Москве, как обычно, зашел в книжную лавку Никиты Афанасьевича Кольчугина, старинного комиссионера по продаже новинок изданий. Кольчугин был взволнован и растерян.

— Слышал уже, Василий Григорьевич? — тихо спросил он.

— Что?

— Про Николая Ивановича?

— А что такое?

Кольчугин припал к уху Вороблевского и прерывисто прошептал:

— Вчера в Москву из имения арестованного под стражей привезли, сейчас в Тайной канцелярии сидит. Говорят, заговор против государыни открыли...

Следующие дни были полны слухами о причинах ареста Новикова, говорили разное, но все сходились на том, что дело серьезное.

Московский главнокомандующий князь Прозоровский каждый день допрашивал Новикова. Были потребованы к допросу и ближайшие друзья Николая Ивановича — пайщики «Типографической компании» князь Лопухин, князь Трубецкой, Тургенев. Потом арестовали Кольчугина и нескольких рабочих из типографии.

В один жаркий день в Останкино приехала полицейская карета с приставом.

— Имею приказание арестовать и доставить к господину главнокомандующему сочинителя Василия Григорьева Вороблевского, — объявил пристав.

Графа в имении не было. Управитель Алексей Агапов не посмел перечить приставу.

Вороблевского увезли в Тайную канцелярию.

Большого страху натерпелся Василий Григорьевич, пока везли до Москвы, пока ночь до следующего дня в каземате находился.

На другой день привели его к Прозоровскому.

Главнокомандующий — в мундире со звездами — сидел за столом, заваленным бумагами и книгами, спиной к окну. В стороне, за особым столиком, помещался писец-секретарь. Солдат, введший Вороблевского, остался стоять у него за спиной.

— Каковы у тебя, Вороблевский, были отношения с Новиковым и в чем они заключались? — спросил Прозоровский.

— Я только печатал свои книги в его типографии... И больше ничего...

— А книги-то какие! — Князь достал из кучи одну небольшую книжку в бумажной обложке: — Посвящение: «Известному отменному славному московскому извозчику Алексею Чистякову». Не какой-нибудь титулованной особе или достойному человеку, а извозчику!

— Сия книга повествует про извозчика, посему и посвятил я ее извозчику, поскольку литератор волён посвятить свой труд, кому пожелает.

— Волён, волён. От излишней вольности все

зло. От вольности переделал и название книги, что переводил с испанского, про Лазария Тормского. Мало тебе прежнего названия: «Неудачная жизнь и странные приключения несчастного гишпанца», так при новом издании ты еще обозвал его на русский манер: «Терпигорев, или Неудачная жизнь...» Ведь и я не дурак, догадываюсь, на что намекаешь: на то, что, мол, и в России такие гишпанцы проживают.

Прозоровский встал из-за стола, подошел к Вороблевскому, замахнулся, но не ударил, опустил кулак.

«Видать, господская одежда смутила,— подумал Вороблевский,— мужику бы зубы выбил, как пить дать, да и то слава богу, что князь — человек военный, к сыску непривычный. Не то что Степан Иваныч Шешковский, тот, говорят, даже статс-дам собственноручно кнутом куда ни попадя хлещет».

— Твое счастье,— сказал Прозоровский, отходя,— что никто на тебя не показал. По просьбе господина твоего графа Шереметева препровождаю тебя к нему на суд и расправу. Кабы не граф, отведаль бы ты у меня плетей, хотя и не причастен к новиковской масонской компании...

8

Петьку послали работать в доме, натирать суконкой медные ручки дверей.

Ручки блестели, что золотые. Петьке казалось, что уж ярче они не будут. Но лакей взял суконку и быстрыми легкими движениями потер медь.

— Смотри, учись. Сначала три легко: смахнешь пыль. Потом — сильнее.

Петька смотрел, и вскоре ручка, которая, казалось ему, блестит, как солнце, заблестела еще ярче.

Лакей — молодой парень — с удовольствием посмотрел на свою работу:

— Вот как надо. Ну, бери суконку. Три. Петька принялся тереть.

— Легче. Теперь сильней. Теперь веди в одну сторону, в другую,— поучал лакей.

Петька подхватывал все на лету.

— Ты — парень понятливый,— похвалил его лакей.

Лакей ушел. Петька остался в зале один. Он поднял голову и оглядел зал.

На стенах — картины в золотых рамах. Блестит паркетный узорчатый пол.

Петька, наверное, никогда не решился бы своими босыми ногами ступить на эти узоры, но для того, чтобы пройти к следующей дверной ручке, надо было пересечь зал.

И он пошел.

Он шел медленно, ступая на цыпочки и вертя головой по сторонам, поглядывая на картины.

Картин было много, одна красивее другой, но особенно его привлекла одна, на которой были нарисованы девушка и парень в красивых заморских нарядах.

Петька тер дверную ручку, а сам поглядывал на картину. Когда же дверная ручка заблестела и надо было идти дальше, он со вздохом прошел в следующий зал.

Ближе к галерее ручки стали менее узорными, натирать их было проще, да и залы пошли не такие красивые.

Петька уже не смотрел по сторонам и видел только одни ручки. Он тер их одну за другой, и они мелькали перед ним.

Неожиданно он услышал над ухом тихий голос:

— Ба! Да это Семенов мальчонка!

Петька обернулся и увидел Василия Григорьевича. Он замер.

— Да ты никак меня боишься,— сказал Василий Григорьевич и провел рукой по Петькиным вихрам.— Не бойся. Как тебя зовут?

— Петькой,— еле слышно ответил мальчик.

— А ловко ты, Петька, ручки чистишь. Ишь как блестят.

— Красивые они...

— Нравятся?

— Кому ж красивое не нравится? — просто-душно воскликнул Петька.

Василий Григорьевич печально улыбнулся:

— Бывает; не нравится...

Он покачал головой, потом кивнул Петьке:

— Поди-ка сюда,— и пошагал к маленькому столику, стоявшему у окна и заваленному бумагами.

Василий Григорьевич подошел к столу и вынул из кипы два листа.

— Иди, иди,— позвал он замешкавшегося Петьку.— Вот, смотри.

Перед Петькой были две картинки. На одной — белые каменные столбы, хитро изукрашенные золотом. На другой — просто поляна, лес. Петька даже старался вспомнить, где он видел такую поляну: то ли в Кускове, то ли ближе к Вешнякову.

— Ну как? — спросил Вороблевский, показывая на картинку с позолоченными столбами.

— Богато,— ответил Петька.

— Вот именно — богато,— подхватил Василий Григорьевич.— Древние справедливо говорили: не умеешь сделать изящно, сделай богато.— Он вздохнул.— Не могут ведь понять, что это только богато...

Петька, не отрываясь, разглядывал понравившуюся ему картину с поляной и лесом.

— Да ты молодец,— сказал Василий Григорьевич.— Это, действительно, прекрасный пейзаж.

Петька почувствовал доверие к Василию Григорьевичу и решился спросить его про спектакль.

Вороблевский поглядел на мальчика с еще большим интересом:

— А тебе очень хочется узнать?

— Очень.

— Ну что ж... Ну что ж, попробую тебе объяснить. Называется спектакль «Беглый солдат», драма французского сочинителя господина Седена. А я переложил ее на русский язык. Драма эта с большим успехом была представлена в самых лучших заграничных театрах,— говорил

Вороблевский.— У нас, в России, в первый раз ее разыграли актеры нашего домового театра в Кускове. Потому она пользуется таким вниманием, что весьма примечательная по содержанию и представляет трогательную историю самоотверженной любви.

После такого предисловия, которое Петька выслушал внимательно, но не совсем уразумел, Василий Григорьевич встал, взял со стола один лист, свернутый в трубку, развернул его и показал Петьке:

— Это декорации первого действия. Видишь?

— Ага,— неуверенно отвечал Петька.

— Небось не знаешь, что такое декорация?

— Ага.

— Так бы и сказал. Декорации — это убранство места, где играют пьесу, а само место называется сцена. Так вот — здесь происходит первое действие.

Вороблевскому вдруг припомнились те далекие дни, когда он переводил эту драму. Стоявший перед ним мальчишка почему-то вызвал в его памяти живое ощущение тех дней. Может быть, потому, что он сам был тогда наивен и простодушен, почти как Петька.

Вороблевский не заметил, как увлекся своим рассказом. Он словно разыгрывал пьесу перед мальчиком, а Петька с горящими глазами слушал его, и перед ним будто наяву вставало то, о чем говорил Василий Григорьевич.

Сельская местность близ одной пограничной деревни. Невдалеке от деревни расположен военный лагерь того полка, в котором служит солдатом Алексей.

А в деревне живет его возлюбленная Луиза.

Алексею скоро кончается срок военной службы, и молодые люди ждут не дождутся его близкой отставки, чтобы пожениться.

Рядом с деревней находится замок некоей княгини, у которой служит управителем Луизин отец.

И вот княгине вздумалось подшутить над молодым влюбленным солдатом. Она приказывает Луизе разыграть ложную свадьбу, а Алексею

сообщить, что Луиза, мол, вышла замуж, и посмотреть, что будет делать Алексей.

Луиза отказывалась, ей очень не хотелось причинять возлюбленному страдания, хотя бы и в шутку.

Но затея с ложной свадьбой всем понравилась; отец Луизы Жанлуи уверял, что Алексей, узнав, что измена Луизы мнимая, потом будет втрое счастлив, княгиня настаивала, и Луиза не могла долее противиться желанию шутников.

Алексей спешит на краткое свидание с Луизой и вдруг — слышит шум свадьбы: игру волынки, скрипки, видит свадебное шествие и в невесте узнает свою Луизу.

Он не верит глазам и спрашивает у случившейся тут девочки, чью свадьбу играют.

И девочка, как ей было велено коварными шутниками, отвечает:

«Это свадьба Луизы, дочери Жанлуи».

Алексей не верит, спрашивает еще раз и вновь слышит ужасные слова:

«Луиза вышла замуж за Бертранда, за этого пригожего молодца».

Василий Григорьевич увлекся. Он любил эту пьесу и знал ее наизусть, поэтому даже не заметил, как начал подавать реплики разными голосами.

А Петька представлял себе Алексея тем молодым веселым лакеем, которого отдали в рекруты в прошлом году. Красавица Луиза представлялась как Дуняшка — мать-племянница, а княгиня почему-то напоминала жену приказчика — старую тощую бабу с грубым, крикливым голосом, рябую и с желтыми клыками, вылезавшими из-за губы.

Алексей в отчаянии упрекает Луизу:

Неверная! Что сделал я?
Скажи мне, в чем вина моя?
Ответствуй мне, о дорогая...
Всю грудь мученье адско рвет!
Ответствуй мне ты, дорогая...
Меня несчастней в свете нет!

Все становится Алексею постыло, и он решает навеки покинуть отчизну и умереть.

Но когда он бежит к реке, его замечают солдаты. Они думают, что он дезертирует из армии, и ловят его.

Алексея сажают в тюрьму и как беглого солдата приговаривают к смертной казни.

Но казнь не страшит Алексея, он спокойно ожидает смерти.

Смерть милей,
Конец всему страданию в ней,—

говорит он.

А в это время Луиза, узнав, что ее дорогой Алексей заключен в темницу...

Рассказ Вороблевского прервал лакей, быстро вошедший в комнату:

— Василий Григорьевич, велено вам тотчас же идти в репетишную.

Вороблевский вздохнул.

— Сейчас буду.— Потом он кивнул Петьке: — Жаль, не пришлось досказать пьесу. Ну да не последний раз видимся, как-нибудь в другой раз доскажу.

По пути в репетишную Вороблевский думал о том, что, пожалуй, хорошо бы попросить графа, чтобы этого Петьку определили ему, Вороблевскому, в помощники. Он размышлял, как они будут жить с мальчишкой, как он выучит его грамоте, будет учить истории, географии, словесности, языкам... Парень, видно, умный и с эстетическим врожденным вкусом, что дается далеко не всякому...

Особенно заманчивы такие мечты одинокой старости, а Василий Григорьевич был бездетен и одинок. Было — любил и был любим, но соединиться с любимой не дали непреодолимые жестокие обстоятельства. Но про ту любовь и то горе никому никогда не говорил, таил в себе, и, невысказанная, мучила она всю жизнь горькими муками. Потом женился, граф сам ему невесту подобрал, прожили с женой два с лишним десятка лет, но не дал бог детей, видно, потому, что не был их брак благословен любовью...

«Вот как пройдет спектакль — уж постараюсь, все силы положу, чтобы получилось все лучше

прежнего,— думал Вороблевский,— после того и пойду к графу с просьбой своей о мальчонке...»

9

Вороблевский ушел вслед за лакеем, а Петька снова принялся за дверные ручки.

Он натирал медь, а сам думал о том, что же будет дальше с Алексеем и Луизой.

Дверей в каждой комнате было две — одна против другой, и за каждой второй дверью опять оказывалась комната.

Петька шел от двери к двери и так дошел до какого-то покоя, дверь в который была притворена.

Из-за двери слышались голоса. Громко разговаривали двое мужчин. Потом они запели.

Петька принялся за работу.

Но, прислушавшись, он уловил знакомые имена: Алексей, Жанлуи, Луиза — и узнал голос Вороблевского.

Петька нажал на дверь, и та тихонько приткрылась. Тотчас же из комнаты высунулась сердитая физиономия дядьки-надзирателя, представленного следить, чтобы никто не ходил к актерам. На то был строжайший графский приказ: «Ни отец, ни брат, ни сват».

— Чего тебе надо? — сердито зашипел дядька на мальчика. — Пошел прочь!

— Я, дяденька, по приказу... на дверях ручки чищу, — так же шепотом ответил Петька и показал дядьке суконку.

— А-а, — более миролюбиво сказал дядька. — Ладно, валяй чисти. Только тихо, видишь, репетиция идет.

— Чего?

— Репетиция, говорю. Ты что, нездешний, таких вещей не знаешь?

— Нездешний, дяденька, мы из деревни с дядей Семеном приехали.

— Ну, тогда понятно. К завтрашнему театру пробу делают. По-господски, значит, репетицию. И комната эта потому называется репетишная.

— А-а-а...

Петька принялся за работу, а сам прислушивается.

— Повторим явление восьмое. Луиза, узнав, что Алексей в тюрьме, приходит к нему. Прасковья Ивановна, Михаил, начинайте,— сказал Вороблевский.

Молодая женщина с большими и печальными черными глазами протянула руку к стоявшему рядом с ней молодому мужчине.

Петька понял, что эти актеры изображают Луизу и Алексея.

Луиза с печальной мольбой и любовью смотрела на Алексея, но он отстранялся от нее.

Алексей. Ах! Я не тебя хотел бы видеть, но отца твоего.

На эти слова Алексея Луиза тихо ответила:

Луиза. Правда, что батюшка...

Но Алексей, не дав ей договорить, перебил быстрым восклицанием:

Алексей. Этот бесчестный старик! Его скупость, без сомнения, не могла устоять против небольшого числа денег. Он за деньги продал благополучие двух людей... Но ты... Пошла! Я не хочу тебя видеть. Ах! Луиза, я люблю тебя еще, а твой долг вечно не вспоминать обо мне!

Но на гневные слова Алексея Луиза все с той же кроткой мольбой протягивала руки.

Луиза. Алексей!

Алексей. Но с каким бесстыдством, с каким хладнокровием!

Луиза. Не была бы я столько спокойна, когда б была виновата.

Алексей. Изменница!

Луиза. Ты в ложных мыслях; я не обижаюсь...

Алексей. В ложных?

Луиза. Я могу тебя успокоить одним словом.

Алексей. Одним словом? Говори, если смеешь.

Луиза. Я не замужем.

Алексей. Ты!

Луиза. Батюшка лишь хотел...

Алексей. Жестокая! Что мне пользы, ты или он?

Луиза. Княгиня наша...

Алексей. Ты осмелилась предстать перед ее глазами!

Луиза. Ведь это все по ее приказанию.

Алексей. Как?

Луиза. Она приказала батюшке моему уверить тебя, что я вышла замуж.

Алексей. Что ты говоришь?

Луиза. Так она сделала распоряжение к этой мнимой свадьбе, эту музыку, этот праздник. Научили ту маленькую девочку говорить с тобою, чтоб ввести тебя в обман, и все это была только шутка.

Луиза простодушно улыбнулась и развела руки, думая, видно, что Алексей бросится к ней и заключит ее в объятия.

Но Алексей в изнеможении опустил на грубый табурет возле стола и, положив руки на стол, в отчаянии сказал только два слова:

Алексей. Какая шутка...

А Луиза, не понимая его огорчения, запела:
Луиза.

Такого ль я смятенья
От слов моих ждала?
Не стоит огорченья
Вся шутка, что была.
В обман не я вводила,
Чему же поразить!
А чтоб я изменила,
Как мог ты вобразить?
А чтоб я изменила,
Луиза б изменила,
Тиран, тиран,
Как мог ты вобразить?..

Но Алексей все с тем же отчаянием воскликнул:

Алексей. О небо!

Луиза. Что ж, неужели ты мне не веришь?

Алексей. Ах, я верю тебе.

Давно уже медь на двери блестела, как огонь, а Петька все водил и водил суконкой по одному и тому же месту.

Дядька, поглядев на блестящую ручку, мрачно сказал:

— Хватит, парень, хороша.

— Нет, дяденька, вот тут еще темновата,— ответил Петька и принялся тереть с удвоенной силой.

Репетиция между тем продолжалась.

— Теперь пройдем явление одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое,— сказал Вороблевский.— В тюрьму приходит отец Луизы Жанлуи. Алексей просит Луизу выйти из камеры, чтобы в ее отсутствие поговорить с Жанлуи. Но тюремщик уже сообщил Луизе, какая судьба ожидает ее возлюбленного. Итак, явление одиннадцатое. Начали!

Луиза, отойдя в угол, бегом бежит к пожилому мужчине, стоящему рядом с Алексеем, и хватается его за руку.

Луиза. Ах, батюшка! О несчастье! Эта свадьба привела его в отчаяние, он сделал побег, осужден и приговорен к смерти!

Жанлуи. Как?

Алексей. Она узнала. Как я несчастлив!

Жанлуи. Бежал! Как бежал? Осужден! Алексей, правду ли она говорит?

Алексей. Точная правда.

Жанлуи. О небо!

— Входят тюремщик и солдаты.— Это сказал Вороблевский:— Тюремщик, твоя реплика. Подойти к Алексею. Ближе.

Тюремщик. Тебя спрашивают.

Алексей. Кого?

Тюремщик. Вас. Идите.

— Солдаты уводят Алексея,— сказал Вороблевский.

Луиза. О небо! (*Повернувшись к тюремщику.*) Господин добрый, куда он пошел?

Тюремщик. Переговорить с этими господами.

Луиза. Но скажи, господин честной, ведь это не для...

Тюремщик. О нет, это не так скоро. Может быть, между пятым и шестым часом, а может статься, и в семь часов.

Луиза. О, я несчастная!

Вдруг все актеры замолчали и обернулись к противоположной от Петьки двери.

У Вороблевского как-то опустились плечи.

Дядька-надзиратель повел взглядом вокруг.

— Ты еще здесь! Кыш! — прикрикнул он на Петьку. — Граф идет!

Он взял Петьку за ворот, вытолкнул из репетишной и прикрыл за ним дверь.

Граф Николай Петрович сел в кресло и наблюдал продолжение репетиции. Но Вороблевский видел, что не было у графа прежнего интереса к спектаклю. Нет, не вернулись прежние времена! Он смотрел только на Прасковью Ивановну, не обращая внимания на остальных актеров, да и то не за игрой ее следил: она ошиблась несколько раз, он и не заметил, хотя прежде всегда в таких случаях останавливал репетицию и указывал на ошибку.

Не о театре, не об актерской игре думал он сейчас. Василий Григорьевич понимал, что граф в тысячный раз решает для себя мучительный вопрос, быть ли Параше Ковалевой графиней Шереметевой, и в его глазах было страдание и смятение.

И, глядя на графа, Вороблевский подумал: «Почему в этом доме все несчастливы?»

10

После обеда Петьку послали помогать садовникам, и он до темноты лазил по деревьям — развешивал на сучьях фонари с цветными стеклами.

Вечером у него опять слипались от усталости глаза, но он не шел спать, потому что зашедший в людскую графский камердинер Терентий Саввич рассказывал про очень интересную теперь для Петьки вещь — про театр.

Все в Останкине жили возле театра, постоянно слышали про театр, но почти никому из слуг своими глазами видеть театр не приходилось.

Поэтому рассказ старого камердинера, которому довелось год назад увидеть спектакль, рассказ, хоть и не раз уже всеми слышанный, постоянно вызывал в людской самый живой интерес.

— Ну, скажу вам,— неторопливо говорил Терентий Саввич,— чудо, да и только. Красота — как в раю.

— А ты рай-то видел? — насмешливо спросил молодой конюх.

На него тотчас цыкнули, а камердинер, даже не удостоив его взгляда, продолжал:

— А может, даже и еще красивее. Музыка играет такая грустная, за душу берет и тянет, тянет... И сцена убрана великолепно красиво. Вот, к примеру, дерево — липа в лесу. Посмотришь: дерево как дерево, и смотреть нечего. А на сцене то же дерево стоит, только не дерево, а декорация, ненастоящее, значит, а сделанное, вроде такое же, как в лесу — ветки, листья, но красоты сказочной. Да-а... — Старик зажмурился, беззвучно пошевелил губами, потом неторопливо заговорил: — На одну только декорацию можно хоть всю жизнь глядеть, и не наглядисься. Но это еще не все. Значит, декорации красуются, музыка играет — и вдруг на сцену вылетают ну прямо ангелы божьи, в белые плащаницы одетые, алмазными дорогими камнями украшенные, и начинают изображать танец. Мне Иван Кириллович, старший швейцар, говорит: «Вон в балете Мавра Иванова, вон Нюшка Кузнецова...» А я ему не верю: «Разве,— говорю,— Мавра или Нюшка такой неземной красоты?» А он мне: «Гляди лучше». Гляжу я: правда — похожи на наших девок. Чертами лица похожи, а не красотой. Потом-то уж, на другой день, я все к этим девкам приглядывался: нет, вроде не они на сцене этот самый балет представляли.

— Почему же так? — спросила кухарка Дарья.

— Понятно почему,— ответил старик,— потому что — театр.

11

Петька ушел на свой сеновал, но едва приклонил голову, как его окружили неясные видения.

Он видел необычайной красоты место, и там

под необычайную музыку пели чудесными голосами девушки, похожие на Луизу, виденную им в репетишной.

Он спросил:

«Где я? Почему вы такие красивые?»

«Ты в театре».

Это было так ярко и так отчетливо, что он от волнения проснулся.

Видения, окружавшие его, рассеялись, но их присутствие так запечатлелось в его памяти, что он был почти уверен, что все увиденное было совсем не во сне, а наяву, и он вдруг почувствовал, что, наверное, умрет, если еще раз не увидит того, что видел сейчас.

— Театр,— сказал он тихо и еще раз повторил: — Театр...

И в это короткое мгновение пробуждения и живого воспоминания о только что увиденном сне в нем родилось дерзкое и страстное желание проникнуть на господский спектакль.

12

С полудня начали съезжаться гости.

В Останкине всегда было много постороннего народу, всякого рода благородных приживальщиков: отставных офицеров, вольных актеров, каких-то бедных родственников, которых граф до этого никогда в глаза не видел. Несмотря на их огромное количество, всем находилось место за столом и постель для ночлега.

Граф Николай Петрович прекрасно знал, что, по крайней мере, половина из них никакая ему не родня, но отказа никому не было.

По Москве ходила поговорка: «Поест за счет графа Шереметева», что означало промыслить что-нибудь на даровщинку.

Николаю Петровичу эта поговорка льстила: она как бы свидетельствовала о его богатстве и щедрости.

Но нынешние гости были не из мелкоты, нынче было на что посмотреть: на спектакль съезжалась высокая московская знать.

Самые разнообразные кареты, коляски с гер-

бами, с золотой и серебряной отделкой, с золочеными колесами, с лошадьми, у которых грива спускалась ниже колен, со сбруей из красного сафьяна, с фантастически одетыми кучерами, с лакеями и гайдуками, тоже выделяющимися какой-либо особой приметой: либо огромным или, наоборот, слишком маленьким ростом, либо удивительным или страшным видом.

Для дворни каждый съезд гостей был настоящим развлечением.

Тайком, из окон, из-за углов — находиться в это время на дворе строжайше запрещалось, — дворня наблюдала за приезжающими и пристрастно обсуждала каждого.

Сравнивали богатство и замысловатость экипажей, стати лошадей, вспоминали, как выглядели выезды в прошлые годы.

В дворницкой, людской, в девичьих знали наперечет имена графских гостей и привычно, попросту, как будто своих же дворовых — Ваньки Зотова или Дарьи Горбуновой, здесь называли фамилии, вызывавшие по всей России если не страх, то хотя бы почтительную зависть.

Князя Долгорукие, Голохвастовы, Апраксины, Еропкины.

— Вон валуевские гайдуки в новых ливреях, а галуны-то не блестят, видать, поскупились, со старых перешили, — осуждающе покачала головой кухарка Дарья.

— А Еропкин новую карету справил! — воскликнул молодой дворник. — В прошлом году в другой приезжал.

Петька был как во сне. Он смотрел на ряды блестящих экипажей, на дородных господ, которых из карет высаживали под руки предупредительные лакеи, на дам, сверкающих бриллиантами и возвышающихся высокими прическами над сопровождающими их кавалерами, на девиц в пышных юбках и шарфах.

Петька смотрел на все это великолепиие и не видел его.

Он мучительно думал об одном: как бы увидеть то, что будет сегодня вечером происходить в театре.

— Тетя Дарья, а ты спектакль когда смотрела? — вдруг спросил он кухарку.

— Чего? — переспросила Дарья.

— Графский театр, спрашиваю, видела ли?

— Нет, нас не пускают, — равнодушно ответила кухарка. — Иной раз граф разрешает ахтерам и камердинерам с верхней галереи, с парадиза, смотреть, а нас — не пускают. Кто же самовольно пройдет, тому такое наказание положено, что никакого театра не захочешь. Мы вот тут с утра смотрим, все одно что театр. Смотри-ка, у Апраксиных все гайдуки — арапы. И где они такую черноту сыскали?

— Очень просто, в деревне, — вмешался конюх Фаддей. — Вычерни рожу краской, вот тебе и натуральный арап.

— Ну уж, выдумываешь! — усомнилась кухарка.

— Да ты взглядишь: левый-то — Василий ихний, а правого не знаю, врать не буду. Может, настоящий арап.

— И правда Василий, — сказала, приглядевшись, Дарья. — Эк его выкрасили, мать родная не узнает!

— Тетя Дарья, а что такое — галерея-парадиз? — спросил Петька.

— В зале наверху, под самым потолком, коридорчик такой. — Дарья снова повернулась к конюху: — Вроде Василий, а вроде и не он. Сначала показалось — он, а теперь опять сомневаюсь. Какой крепости должна быть краска, коли с Москвы не облезла.

— Он! Истинный крест, он, — перекрестился Фаддей. — Он уже годов десять в гайдуках ездит, не раз видали его. А насчет краски: небось не наша — заморская, настоящая эфиопская, какой в заграничных странах настоящих арапов красят.

— Все может быть, может, и заморской эфиопской разжились, — согласилась Дарья.

«Наверное, те двери, что за сценой, как раз ведут в парадиз, — прикинул Петька. — В тот коридорчик можно из подвала пройти, никто не заметит. Главное, в дом попасть...»

— А ежели его настоящей эфиопской краской покрасили,— продолжала кухарка,— так что же — значит, ему на всю жизнь христианского обличия лишиться и в арапах век ходить?

— Перед святым причастием отмоется,— сказал Фаддей.

Апраксины прошли во дворец. Арапы-гайдуки вскочили на запятки, и кучер погнал карету на луговину за домом, где уже стояло несколько сот экипажей.

К парадному входу подъехала новая карета.

13

Дворец сверкал и светился, как хрустальный фонарь.

Вдоль дорожек парка горели тысячи плошек.

Иллюминированные лодки плавали по пруду, и свет их фонарей дробился и растекался по волнам.

Один оркестр играл во дворе, другой — в саду, за оранжереями.

С пруда неслась роговая музыка.

Лакеи еле пробирались между гуляющими по фойе и саду.

Во всей этой суете никто не обращал внимания на Петьку. У дяди Семена и тетки Дарьи — свои дела, а другим никакого до него дела нет.

Но Петька был этому только рад.

Он вышел из людской на крыльцо и остановился возле двери.

— Ох, черт, путаешься тут под ногами,— бросил налетевший на него загнанный лакей и с размаху дал ему подзатыльник.— Пошел отсюда!

Петька отпрыгнул в сторону, в густые кусты сирени, которые тянулись вдоль дорожки до дворца и заворачивали за дворец.

Высокая сирень совершенно скрыла мальчика. Здесь было тихо, музыка и голоса из парка сливались в негромкий шум.

Но зато как громко стучало Петькино сердце!

Он чувствовал его биение во всем теле, в голове.

Тук-тук-тук!

Прячась за кустами сирени, Петька добрался до дворца. В высоком белом фундаменте чернела отдушина подвала.

Петька, обмирая на каждом шагу, двинулся к ней, заглянул, послушал ровную тишину, перекрестился и юркнул в темную дыру.

Как он и предполагал, в одном углу подвала была крутая лесенка, ведущая вверх.

Наверху коридор загибался и уходил в темноту, в глубь здания. Вдоль коридора стояла простая деревянная лавка.

Петька шагнул в темноту и, касаясь рукой на ощупь, как слепец, шел до тех пор, пока лавка не кончилась, а там сел в углу на пол.

От страха и ожидания время тянулось очень медленно.

Мало-помалу он огляделся в темноте и теперь уже различал белеющие скамьи, темные стены, слепые окна, закрытые плотными занавесями.

В одном окне между стеной и занавеской была узкая щель, и Петька осторожно заглянул в нее.

За щелью он увидел обширное помещение, освещенное несколькими фонарями. Одна стенка была завешена большим занавесом, на котором было что-то нарисовано, но что — в темноте не разберешь.

Еще Петька увидел возле занавеса несколько мягких лавок.

В это время в театре стало светлеть. По залу, зажигая свечи, пошли лакеи.

Мягкий желтый свет все усиливался, и из полутьмы все ярче и определеннее выступали различные части театрального зала.

Прежде всего обрисовались белые колонны по обеим сторонам большого занавеса и вдоль стен.

Теперь Петька мог разглядеть нарисованных на занавесе пухлых розовых амуров, которые поддерживали за два конца длинную гирлянду розовых и белых роз, такую длинную, что ее концы загибались по краям занавеса и спускались до полу.

Чем больше прибавлялось в зале света, тем ярче становились розы и обвивавшая их зелень,

а пухлые амуры казались почти живыми: вот-вот они отделятся от занавеса и спрыгнут на широкий желтый помост перед занавесом.

Перед помостом была яма со стульями. В яме появился первый человек. Он сел на стул, приставил скрипку к плечу и тронул смычком струну.

Послышался тихий неуверенный звук. Он был как бы первым вестником ожидаемого чуда. И у Петьки от этого звука забилося сердце.

Потом яма как-то быстро и незаметно заполнилась музыкантами, тихий звук скрипок потонул в самых разнообразных звуках других инструментов.

Вдруг музыканты в одно мгновение стихли.

По галерее прошел теплый ветерок, распространяющий какой-то неведомый, но необычайно приятный запах.

Петьке напомнило это, как в летнюю засушливую пору с болот от цветущих пушистых растений идет сладкий дух. Но этот, появившийся в театре, был еще слаще и приятнее.

Волной налетел говор, смех.

Заходили в зал графские гости.

Молодой, блистающий золотом офицер, пройдя в первый ряд, остановился и, повернувшись к сцене спиной, обвел взглядом зал. Петьке показалось, что офицер смотрит на него, и он скорее отодвинулся в глубину галереи.

Теперь ему не было видно ни скамей, ни колонн, ни музыкантов, а только занавес и кусочек помоста.

Потом в зале начало темнеть, зато занавес осветился ярче.

Заиграла музыка.

Занавес с амурами поднялся, и тут Петька увидел то, о чем говорил старик-камердинер и что сравнивал с раем.

Петька ни с чем не сравнивал увиденное, он только ахнул в душе и замер.

Деревья на сцене — большой развесистый дуб и такой же могучий вяз с другой стороны — действительно, были и похожи и непохожи на настоящие. Под вязом стояла зеленая дерновая, как в кусковском парке, скамья, но и она была красива,

как трон. За деревьями в глубине виднелся простой крестьянский домик, но до чего же он был красив и непохож на деревенские дома!

Позади голубело небо и сверкали нарисованные горы.

На сцену вышла Луиза. Она была еще наряднее и красивее, чем в репетишной.

Начался спектакль.

Петька уже ничего не видел, не думал, не слышал, кроме того, что происходило на сцене.

Вот отец уговаривает Луизу подшутить над Алексеем.

Вот Алексей из-за кустов смотрит на свадьбу.

Вот он дрожащим голосом спрашивает Жаннету, чья это свадьба...

Вот он тоскует в тюрьме.

Вот Луиза узнает о грозящей ему казни, его уводят из темницы, а Луиза бросается к тюремщику с вопросами...

Петька придвинулся поближе к окошку, взялся рукой за занавеску и отодвинул ее.

14

Граф Николай Петрович был доволен: спектакль явно удался. Все актеры играли великолепно, а Параша была просто восхитительна. С годами талант ее только совершенствуется, и, как алмаз, который, чем больше шлифуется, тем большая глубина открывается в нем, так и ее дарование с каждым спектаклем обнаруживает новый блеск и глубину.

Кроме того, графа порадовал сегодняшний разговор со стряпчим Никитой Сворочаевым.

Никита сообщил, что по наведенным самым первым, поверхностным справкам в семейном шереметевском архиве обнаружено, что еще при графе Борисе Петровиче, дедушке Николая Петровича, фельдмаршале Петра Великого, неким несчастным случаем попали в число слуг фельдмаршала дети пленного польского шляхтича Якуба Ковалевского и от этих детей, падавших от стечения роковых обстоятельств все ниже и ниже и впавших в конце концов в подлое крепо-

стное состояние, происходит главная актриса домового графского театра Прасковья Ивановна Ковалева, коей настоящая фамилия не Ковалева, а Ковалевская.

«Молодец этот Никита,— думал граф Николай Петрович.— Вот польза иметь под рукой нужного слугу. Кабы не был он моим крепостным, разве так бы старался? Вольному сколько бы денег надо переплатить. Но деньги — пустое. Главное, что тот, вольный, чувствуя, что от него зависят, обязательно начал бы куражиться, и ведь пришлось бы терпеть...— Граф даже поежился, представив, что какая-то чернильная душа, отравляя вокруг себя воздух водочным перегаром и запахом лука...— Нет, нет! Лучше не думать об этом!»

В это время Параша — Луиза начала свою арию:

Ах, сколь несчастной родилася!
Зачем в тот час не прервалася
Нить дней и дух не вышел мой!

Наслаждаясь изящной мелодией и бархатистым тембром голоса Параша, граф, отведя глаза от сцены, поднял взгляд вверх.

И тут он увидел, что одна из занавесок парадиза отодвинута и там виднеется чье-то лицо.

Граф поднял руку.

В то же мгновение за его спиной вырос лакей.

Тихим шепотом граф процедил:

— Я же приказал никого сегодня не пускать на парадиз. Сию же минуту взять ослушника и, кто бы то ни был, тотчас же выдрать на конюшне. И — безо всякой жалости.

Лакей выскользнул из ложи.

Граф качал головой в такт музыке.

Параша — Луиза пела:

Как — я тебя навек лишусь?
В отчаяньиным не льшусь,
Как вслед стремиться за тобою.
Отчаяньем крушусь!
Отчаяньем крушусь!

Петька в беспамятстве лежал на лавке в людской.

Тетка Дарья плакала. Всхлипывая, отирала слезы уголком фартука и повторяла, наверное, уже в сотый раз:

— Не уследила я за мальчонкой... Не уберегла... Мне б его хоть в чулан запереть... И про парадиз этот анафемский я сказала. На мне грех...

— Ладно, Дарья,— хмуро отозвался дядя Семен.— Не твоя это вина. Эка, совсем без жалости мальчика разделали.

— Граф велел не жалеть,— отозвался конюх.— Не послушаешь графа, сам пожалеешь...

У изголовья мальчика сидел на стуле Василий Григорьевич Вороблевский и, опершись подбородком на высокую трость, молча смотрел на Петьку.

Что-то дрогнуло в лице мальчика, и он открыл глаза.

— Не досмотрел я театра... Что, уговорила Луиза короля? Простил он Алексея?

Петька говорил медленно, тоненьким хриплым голосом. Видно, ему трудно было даже шевелить губами.

— А? — Вороблевский словно очнулся ото сна. Он погладил мальчика по лбу.— Король простил, Луиза и Алексей поженились. Все кончилось хорошо. Слышишь?

Молодой лакей громко вздохнул:

— Фаддей — старый хрыч, смутил парня своими рассказями про рай да про ангелов... Молчал бы лучше, облизень господский. Он виноват.

В тишине, в которой только слышалось прерывистое, горячее дыхание Петьки, скрипнул стул под Вороблевским, и Василий Григорьевич негромким, безнадежно усталым голосом сказал:

— Не Фаддей тут виноват, а Петька... В том виноват, что у него душа артистическая и склонная к искусству.

Василий Григорьевич замолчал, еще ниже склонил голову и договорил еле слышно:

— А еще виновата жизнь наша... проклятая...



«ТАТЬЯНЫ
МИЛЫЙ ИДЕАЛ...»

Конспект романа

...Наталья Дмитриевна Фонвизина сама не знала, какой уже раз перечитывала эту книжку. В последний раз, когда муж спросил, что она читает, она солгала, сказав, что это старый номер «Телеграфа».

Теперь эта ложь мучила ее. Но книга все равно все более и более занимала ее мысли. Она не хотела думать о ней и не могла не думать. Она даже не могла дать себе зарок не брать ее в руки, не раскрывать так властно влекущих к себе страниц, потому что почти вся книга была выучена наизусть. Память постоянно подсказывала стихотворные строчки.

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!

«Конечно, это про нас! — уверялась Наталья Дмитриевна. — Нет Рылеева, нет Бестужева, Одоевского... А остальные, действительно, *далече*. Немногие (и их считают счастливыми: Мишелю государь вот не разрешил испытать судьбу таким образом) на Кавказе в солдатских шинелях каждую минуту рискуют попасть под горскую пулю или саблю. Другие же — и их гораздо больше — рассеяны по снежным просторам Сибири. Некоторые еще остались отбывать свой

срок каторги в Петровской тюрьме, большинство же вышли на поселение и теперь живут кто где. Кому повезло, как им с мужем, получившим разрешение проживать в Тобольске, живут в городах, кому не повезло — в глухих деревнях...»

Но во всей книге особенно занимала Наталью Дмитриевну одна фраза — та́кая таинственная и такая понятная:

А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...

Все началось с того, что однажды Молчанов прибежал, размахивая книжкой и крича:

— Наташа, знаешь, ведь ты попала в печать!

Он протянул Наталье Дмитриевне полученную с последней почтой книжку в желтой обертке. Фонвизина открыла обложку, взглянула на титульный лист: «Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина».

— Наверное, это Солнцев передал Пушкину твою историю! — захлебываясь, восклицал Молчанов. — И он своим поэтическим талантом опозитизировал тебя в своей поэме!

Прочитав тогда «Евгения Онегина», Наталья Дмитриевна нашла не так уж много сходства в истории, рассказанной в романе, со своей историей. Правда, как и Татьяна, она жила в отцовском костромском имении, потом появился Рунсброк, вскружил ей голову, все вокруг уже толковали о свадьбе, но он неожиданно уехал, даже не простившись, она же через год вышла замуж за Мишеля, который имел генеральский чин, стала появляться в свете, Рунсброк снова вздумал за ней ухаживать, но был изгнан из дома.

Во всем же остальном ничего общего: у нее не было младшей сестры, не посещал их дома молодой поэт Ленский (кого мог изобразить Пушкин в виде Ленского? Его элегия «Куда, куда вы удалились...» очень похожа на «Падение листьев» Милонова. Но Милонов — старик-пьяница...), да и Рунсброка невозможно представить дуэлянтom, он бы и не решился встать под пистолет...

— Нет, это вовсе не моя история,— возразила она тогда Молчанову.

Но многие все же находили сходство между ней и Татьяной. Иван Иванович Пущин даже стал иной раз называть ее Таней...

«Евгений Онегин» был надолго отложен. Михаил Александрович Фонвизин не принадлежал к числу любителей стихов (он делал исключение только для стихов Рылеева), а Наталья Дмитриевна, прочитав раз, не испытывала желания перечитывать этот «роман в стихах» вновь.

Но однажды желтенькая книжечка «Евгения Онегина» все-таки попала под руку. Наталья Дмитриевна начала читать — и зачиталась.

Тогда, когда читала впервые, она искала описания известных фактов, намеки на совершенно определенные обстоятельства, на имена, теперь же она была заморожена чудесными стихами, самой поэзией образов, описаний, мыслей, и — удивительно! — теперь она вдруг стала узнавать в Татьяне себя.

Она узнавала свои тайные мысли, скрытые чувства, не высказанные никому движения души, и порой лицо ее покрывалось краской смущения, как будто она оказалась среди большого собрания объектом нескромного любопытства. Да, это она, она!

И многоточие незавершенной фразы о той, которая стала прообразом героини романа, тоже говорило очень, очень много!

Ведь в печати запрещено даже упоминать имена государственных преступников, осужденных по делу о 14 декабря 1825 года, а также имена их жен, последовавших за ними в Сибирь. Потому-то и недосказано, потому-то и стоит многозначительное многоточие, как ставят точки на месте запрещенных цензором строк.

Проницательность Пушкина пугала и удивляла Наталью Дмитриевну, и в то же время она видела, что нигде поэт не пользуется своим знанием во зло, дойдя до той грани, за которую она не хотела бы допустить никого, он останавливается и умолкает. И сама история завуалирована так, что можно узнать ее и не узнавать.

Это было похоже на дружеский заговор, и Наталья Дмитриевна испытывала к Пушкину чувство глубокой благодарности.

Она разгадала и маленькую тайну поэта: почему героиня его романа носит имя Татьяны. Ведь он взял ее имя — Наталья — и первый слог имени сделал последним, а чтобы зашифрованное им таким образом имя не казалось странным, заменил одну-единственную букровку «л» на «т», и получилось редкое, но имеющееся в святцах имя — Татьяна:

Ее сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим ¹.

Господи, а генерал — конечно, Мишель! Пушкину про него рассказывал Ермолов. Конечно, это слова Ермолова: про то, что Мишель в сраженьях был ранен, и про внимание двора...

Наталья Дмитриевна, перелистнув страницы, нашла те строки, которые искала.

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.

1. Генерал

Обширный барский дом, принадлежавший отставному майору Александру Ивановичу Фонвизину, стоял на том самом месте, которое было пожаловано Фонвизиним еще двести лет назад при царе Иване Васильевиче Грозном, — на крутом обрыве над рекой Неглинной, возле Рождественского монастыря. По другую же сторону улицы, образовавшейся после сношения стены Белого города, находился дом его старшего брата, Дениса Ивановича, — славного драматурга екатерининских времен.

¹ Много лет спустя, когда будут опубликованы черновики Пушкина, то можно будет прочесть, что в первоначальном черновом наброске этой строфы Пушкин написал: «Ее сестра звалась... Наташа» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч.*, т. 6, с. 289).

Денис умер в 1792 году, но Александр Иванович свято чтит память брата и сыну своему Михаилу — воспитаннику университетского пансиона — не раз говаривал:

— Твой дядя был великий человек, острого и пронизательного ума. Когда вырастешь, окончишь курс наук и будешь в силах постичь глубину его рассуждений, получишь от меня его бумаги, которые не могли быть опубликованы. Впрочем, и ныне еще не наступило время, чтобы возможно было предать их гласности...

Михаилу оставалось еще полтора года до окончания пансиона, после чего он должен был продолжить образование в университете, единственно оставалось нерешенным — в Московском или каком-нибудь заграничном.

Но однажды — это было в последние дни ноября 1803 года — Михаил возвратился из пансиона и застал отца в большом волнении.

— Мишель, я получил письмо из Петербурга, касающееся тебя, — сказал он. — Тебе надобно оставить ученье в пансионе и явиться в полк. Ты должен служить. Хотя тебе только пятнадцать лет, но в былые времена вступали в службу и в еще более молодые лета. Я тут нашел среди семейных бумаг жалованную грамоту царя Михаила Алексеевича, данную в 1621 году нашему предку ротмистру Денису, в честь коего назван был и дядя твой. Пусть она будет тебе благословением и примером, как служить.

В грамоте было писано: «...пришел под наше государство, под царствующий град Москву литовского короля Жигимонтов сын Владислав... и хотел Московское государство взять и разорить до основания, и он, Денис... против королевича Владислава и польских, и литовских, и немецких людей, и черкес стоял крепко и мужественно в боех и приступех бился, не щадя головы своей, и ни на какие королевские прелести не прельстился, и многую службу и правду к нам и ко всему Московскому государству показал...»

На следующий же день в сопровождении дядьки Михаил Фонвизин поскакал в Петербург.

ИЗ ФОРМУЛЯРНОГО СПИСКА
М. А. ФОНВИЗИНА

1804 год.— Получил первый офицерский чин прапорщика.

20 ноября 1805 года.— Участвовал в сражении под Аустерлицем. Награжден орденом Анны 4-й степени.

Февраль — март 1809 года.— Был в походе с гвардейскими батальонами под командой Строгонова при занятии острова Аланда.

19 февраля 1812 года.— Назначен адъютантом генерала А. П. Ермолова.

14 июня 1812 года.— Будучи в составе авангарда армии, участвовал в разбитии французского авангарда Себастиани.

Июль 1812 года.— Участвовал в сражениях под Смоленском. Опрокинув со стрелками неприятельскую кавалерию, способствовал разбитию одного отряда. Был ранен пулей в левую ногу. За Смоленское сражение награжден орденом Владимира 4-й степени.

26 августа 1812 года.— Бородинское сражение. За Бородино награжден орденом Анны 2-й степени.

Русская армия, оставив Москву, двигалась по Рязанской дороге. Разведка донесла, что французские отряды из армии Мюрата обходят русских, стараясь их опередить. Столкновение арьергардов должно произойти где-то возле Бронниц.

Фонвизин отыскал Ермолова.

— Я подал рапорт о представлении тебя к ордену за Бородино,— сказал генерал.

— Спасибо, Алексей Петрович.

— Не благодари, заслужил.

— Алексей Петрович, позвольте попросить...

— Проси...

— Батюшка в деревне, возле Бронниц, а наша деревня как раз при дороге, на пути французов...

— Скажи, предупреди отца. Даю тебе отпуск на три дня. Найдешь нас на Калужской дороге.

— Разве мы движемся не на Рязань?

— Тс-с. Пока это тайна, и ты один из очень немногих, кто знает ее. Поэтому сохрани тебя бог хотя бы наедине сказать об этом вслух.

В Марьине, имении Фонвизиных, в версте от Бронниц, не ожидали французов. Дорога была пустынна. Приокские широкие луга, уже пожухлые под первыми осенниками, тоже были пусты и тихи.

Отыскав взглядом среди дворни, выбежавшей из дому, управляющего Тимофея Сидорова, Михаил Александрович сказал:

— Тимофей, вели закладывать лошадей. Нынче к вечеру или завтра утром тут будут французы, надо уходить.

Отправив отца с небольшим обозом — особенно-то собираться было некогда, Михаил Александрович сам остался в усадьбе.

— Знаешь что, Тимофей, распорядись-ка истопить баньку. Уж не знаю, сколько не мылся по настоящему.

После бани, разомлевший, ублаженный, Михаил Александрович в халате вышел на балкон под теплые лучи клонящегося к закату солнца. Но, взглянув на дорогу, он увидел приближающийся отряд французских гусар. Они уже сворачивали на аллею, ведущую к барскому дому. Бежать вниз — он как раз столкнется с ними на крыльце. Михаил Александрович сбросил халат и нагишом прыгнул с балкона в кусты. Садом выбрался к деревне и забежал в первый сарай. По счастью, хозяин был в сарае.

— Я, барин, мигом, все сладим, — загораясь азартом опасности, заговорил он. — Сейчас одежду мужицкую тебе соберем, коня выведем...

— Ты уж коня не седлай.

Со двора доносились громкие голоса французов, управляющий так же громко отвечал:

— Нету никого господ, уехали. Давно уехали. Мужик вернулся в сарай с одеждой:

— Одевайся, Михаил Александрович. А в конюшню неприметно не пройдешь: полон двор

французов. Придется тебе на моей, она хоть и крестьянская, а бойкая.

— Спасибо, Ермил.

Пустынными проселками Фонвизин благополучно выбрался к своим.

Главная квартира расположилась возле Тарутина. Фонвизин явился в штаб.

— Батюшка успел уехать? — спросил Ермолов.

— Успел, — ответил Фонвизин и рассказал о том, как он сам чуть не попал в руки французов.

— Тебе еще придется встретиться с ними, — сказал Ермолов. — По распоряжению светлейшего ты в числе нескольких отважных офицеров, лично им избранных, назначен быть начальником партизанской казачьей партии для действий против армии Мюрата.

Шел февраль 1814 года. Война близилась к концу. Армии союзников подступили к Парижу. Наполеоновские войска предпринимали последние отчаянные попытки сопротивления. Возле Бар-сюр-Об армия маршала Удино остановила союзников и перешла в наступление. Только через десять дней ожесточенных кровопролитных боев под самым городом удалось разбить французов, отряды которых рассеялись по окрестностям.

Четвертый егерский полк, которым командовал Фонвизин, к тому времени произведенный в полковники, после главного сражения и бегства французов расположился на ночевку в нескольких соседних деревнях.

Вот уже две недели люди почти не спали, поэтому, едва добравшись до ночлега, все свалились в сон, ощущая полную безопасность.

Когда ночью слышались выстрелы, многие подумали, что слышат их во сне.

Но потом по деревне пронесся громкий, отчаянный крик:

— Французы! Французы!

Фонвизин схватил пистолеты, выскочил на

крыльцо. Темноту озаряли только вспышки выстрелов. Вдруг словно комар укусил в шею, Фонвизин машинально прихлопнул его ладонью, и руку обволокло теплой липкой кровью. Михаил Александрович пытался зажать рану, но кровь текла, сочась сквозь пальцы...

Очнулся Фонвизин, когда в окно ярко светило солнце. Он лежал на полу. Попробовал повернуть голову и сморщился от боли, пронзившей все тело — от головы до пяток.

— Не шевелитесь, Михаил Александрович, а то кровь опять пойдет, — услышал он голос денщика Ерофея. — В плену мы...

Оказалось, на ту деревню, где остановились фонвизинские егеря, вышла основная часть армии маршала Удино. Отступая к Парижу, французы увели с собой пленных. Фонвизина отправили в Оверн, за сто сорок лье к югу от Парижа, к которому сейчас приближались русские войска.

— Еще что? — нетерпеливо спросил Наполеон.

— Письмо из собственной канцелярии императора Александра, — сказал адъютант.

— Что там? — встрепенулся Наполеон.

— Император Александр предлагает произвести обмен пленными. За полковника Фонвизина он предлагает отпустить любого французского полковника.

— Кто такой?

— Анна 4-й степени за Аустерлиц, Владимир 4-й степени за Смоленск, Анна 2-й степени за Бородино, золотое оружие за Малоярославец, алмазные знаки Анненского ордена за Бауцен, прусский орден «За заслуги» и Железный крест за Кульм.

Наполеон дернул щекой:

— Отказать! И держать подальше от театра военных действий.

Н. К. Батюшков

П л е н н ы й
...В часы вечерняя прохлады
Любуясь рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,

Добыча брани, русский пленный,
Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один — толпой врагов.

«Шуми,— он пел,— волнами, Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн — родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в праздности теряю время,
Душою в людстве сир;
Мне жизнь — не жизнь без славы, бремя,
И пуст прекрасный мир!..»

Так пел наш пленник одинокий
В виду Лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
В ней месяц трепетал,
И на золотых верхах Лиона
Луч солнца догорал.

1814.

Французский офицер — курьер, видимо, только что прибывший из Парижа, сообщал другому последние новости. Фонвизин прислушался. От пленных скрывали настоящее положение дел. Газетным известиям нельзя было верить.

— Париж уже осажден,— говорил курьер.— Император надеется на подход подкреплений с юга...

В том городке, где содержался Фонвизин, находилось более тысячи пленных — русских и австрийцев. Французский гарнизон был невелик, главным образом он нес службу по охране арсенала и складов продовольствия и амуниции.

«Двигающиеся с юга части, безусловно, пополнят здесь свое вооружение»,— размышлял Фонвизин, и у него созрело дерзкое решение.

— Господа,— сказал он русским офицерам,— предлагаю открыть против французов партизанские действия. Захватив арсенал и лишив идущие на помощь Парижу войска этого оружия и боеприпасов, мы тем самым облегчим хоть чем-то действия наших товарищей.

Прекрасное ощущение свободы овладело всеми. Фонвизин изложил план действий. Среди сол-

дат и казаков нашлось несколько бывших партизан.

Послали делегацию к австрийцам, но те, кроме одного офицера-чеха, отказались присоединиться к восстанию.

Ночью казаки сняли часовых у арсенала. Фонвизин в сопровождении нескольких солдат явился в казармы и объявил командиру полка и офицерам:

— Вы арестованы. Город находится в наших руках.

Фонвизин выставил посты.

На следующий день показались французские части. Фонвизин приказал дать залп из трех орудий.

Французы остановились. После небольшого замешательства и совещания от них отделился всадник с белым платком на пике. Он подскакал к посту.

— Черт возьми, мы французы! — кричал он.

— А мы — русские, — ответил Фонвизин.

Всадник ускакал.

Французы на сражение не решились и обошли город стороной.

Несколько дней спустя пришло известие о падении Парижа и отречении Наполеона.

Победители возвращались на родину. Первая гвардейская дивизия торжественно вступала в Петербург. У Петергофской заставы возле специально выстроенной триумфальной арки с водруженными на ней шестью алебастровыми конями, означающими шесть полков дивизии, в золоченой открытой карете, окруженной придворными и военными, ожидали торжественного момента императрица и великая княжна. Вдоль дороги гудели толпы народа, сдерживаемые цепью полицейских.

Наконец показались войска. Впереди на рыжем рослом коне, с обнаженной шпагой, которую он, по церемониалу, должен был опустить перед императрицей, гарцевал император. Сверкало золото эполет и орденов, колыхались перья

на треуголках, струились шелком знамена, лоснилась шерсть лошадиных круп, вспыхивала ослепительно-белым блеском сталь клинка. Это было величественное, радостное и красивое зрелище.

Народ в исступлении непрерывно кричал «ура!».

Два офицера — Толстой и Якушкин — наблюдали за въездом среди свиты императрицы.

— Государь нынче прекрасен,— говорил Толстой.— Он — истинное олицетворение победы. Только в такие минуты обнаруживается настоящая любовь народа к нему.

В это время вытесненный напиравшей толпой из ее рядов какой-то мужик оказался на дороге. Он побежал на другую сторону, где, как ему, видимо, показалось, удобнее пристроиться.

Вдруг император дал шпоры коню и бросился на бегущего с обнаженной шпагой.

— Господи, в такой момент! Как квартальный надзиратель! — воскликнул Толстой.

Мужика схватила полиция. Император вернулся на свое место. Но вся картина изменилась.

Повернувшись к приятелю, Якушкин сказал:

— Я невольно вспомнил сказку о кошке, обращенной в красавицу, которая, однако ж, не могла видеть мыши, не бросившись на нее. Впрочем, настоящее разочарование ожидает нас еще впереди. Солдаты и мужики считают себя обманутыми. В двенадцатом году в царском манифесте народ прочел в словах о великой награде, обещанной защитникам отечества, обещание об отмене крепостного права, и это питало его храбрость. Нынешний же манифест с его недвусмысленным отказом входить в нужды народа и, в сущности, издевательской фразой «да наградит вас бог» начисто опрокинул народные ожидания.

— Да-а, не было бы новой пугачевщины...

— Вполне вероятно...

Фонвизин ожидал приказа о расформировании своего полка в соответствии с производившимися переменами в армии. Уже было известно, что

полк поступит в 5-й корпус. Поэтому переведенному в его полк из гвардии штабс-капитану Якушкину он посоветовал не принимать роты до полного выяснения положения и пригласил бывать у него запросто — не как у полкового командира, а как у товарища.

Взаимная симпатия и общие воспоминания — Якушкин тоже прошел всю войну с боями, сражался при Бородине, под Кульмом — быстро привели к сближению и откровенности.

А разговоры по всей России велись одни и те же:

— Император, говоря о русских, сказал, что каждый из них плут или дурак, а устройству армии своей и ее успехам он обязан иностранцам.

— Главные язвы отечества: крепостное состояние, жестокое обращение с солдатами — спасителями отечества, повсеместное лихоимство, грабительство и, наконец, явное неуважение к человеку вообще.

— Правда, есть и прогресс: в Государственном совете рассуждали о непристойности объявлений в газетах о продаже крепостных. Указали — изменить форму объявлений. Прежде печаталось прямо: такой-то крепостной человек или такая-то девка продаются; теперь стали печатать: такой-то крепостной человек или такая-то крепостная девка отпускаются в услужение.

В разговорах Фонвизин и Якушкин сходились в том, что-де надо объединиться людям, которые могли бы противодействовать всему злу, тяготевшему над Россией.

— Если бы существовало такое тайное общество, пусть из пяти человек, — воскликнул однажды Фонвизин, — то я тотчас бы вступил в него!

Якушкин сказал:

— Тайное общество существует, и я — член его. Нас, действительно, мало. Очень мало.

— Умоляю вас оказать мне доверие...

— Я много слышал о вас прежде, полковник, и теперь убедился, что молва права. Я принимаю вас в члены тайного общества, которое называется «Союз Спасения, или Истинных и верных сынов отечества».

В 1821 году Ермолов был вызван с Кавказа в Петербург для тайного совещания с царем по поводу посылки русского отряда для подавления восстания в Неаполе, вспыхнувшего против австрийских оккупантов. После же того как австрийцы сами подавили восстание, необходимость в русских солдатах отпала, и Ермолов отправился из Петербурга обратно на Кавказ.

На несколько дней он остановился в Москве. Фонвизин поехал к нему с визитом.

Ермолов, увидев своего бывшего адъютанта, подозвал его:

— Поди сюда, величайший карбонарий! — И когда Фонвизин подошел, сказал: — Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся.

Передавая потом слова Ермолова Якушкину, Фонвизин с грустной усмешкой добавил:

— Как успешно увеличивает средства и могущество тайного общества болезненное воображение императора...

Уже не было никакого сомнения, что правительство осведомлено о существовании тайного общества. Да и немудрено это, когда о нем благовестят в гостиных, орут на пирушках, когда порицание правительства и намеки на собственную принадлежность к некоей партии его противников стали у молодых щеголей одним из способов нравиться девицам.

Михаил Александрович ясно видел, что при таком положении члены тайного общества при первых же решительных шагах будут остановлены и изолированы и ничего не смогут сделать или же общество превратится в пустую игру взрослых людей, наподобие масонских обедов.

Одному из главнейших руководителей общества — Тургеневу он сетовал:

— Не следует оставаться в таком неопределенном положении, что нельзя сказать: существует общество или же его не существует вовсе.

В январе 1821 года общий съезд членов тай-

ного общества большинством голосов постановил, что время решительных действий не наступило. Когда же позиция присутствующих на съезде обрисовалась полностью, Фонвизин объявил, что дальнейшее свое участие в собраниях он считает для себя бесполезным.

Потом он говорил Якушкину:

— Я готов рисковать головой, но не за пустые разговоры. Кроме того, открою тебе тайну: я собираюсь выйти в отставку и жениться. Но прежде чем сделать предложение, я должен был выяснить, имею ли на это право. Заговорщик не смеет подвергать невинного человека опасностям своей судьбы. Если бы я остался в заговоре, то вынужден был бы отказаться от нее.

— Но кто она?

— Наталья Дмитриевна Апухтина.

2. Барышня

Страшный переполох царил в усадьбе костромского предводителя дворянства Дмитрия Акимовича Апухтина: пропала его единственная семнадцатилетняя дочь Наташа.

Она имела обыкновение целыми днями бродить по берегам Унжи, уходила в поля, в лес, посещала окрестные деревни, где у нее были знакомые и опекаемые ею бедняки и калеки. Поэтому хватились ее только вечером.

Пока кричали по парку, обегали излюбленные места поблизости, наступила ночь.

Барыне Марье Павловне сделалось дурно, она плакала и нюхала соль.

Дмитрий Акимович разослал конных по деревням.

Горели огни, бегали слуги.

Барышнина няня Матрена Петровна поначалу разохалась вместе со всеми, всплакнула, потом утерлась и пошла в девичью.

Немного погодя она притащила к барину за руку упиравшуюся девку Марфушку, горничную, прислуживавшую барышне.

— Ну-ка, милая, изволь говорить! О чем вче-

ра с барышней шепталась? Куда нынче провожала? Говори, не то барин тебя высечь прикажет!

— Не пугай ее, Матрена,— поморщившись, сказал Дмитрий Акимович.— А ты, Марфушка, говори, если знаешь, где барышня.

Горничная упала на колени:

— Наталья Дмитриевна не велели сказывать, куда ушли.

Апухтин перекрестился:

— Ну, слава богу, жива! Матрена, беги к барыне, скажи, что Наташа жива! А я с Марфушкой еще поговорю.

После недолгого заперательства Марфушка открыла, что барышня ушла из дому в монастырь, но в какой, она не знала.

— Вот видишь, дорогая, все не так страшно,— утешал Дмитрий Акимович жену.— Я отнесусь в министерство духовных дел, запросят все монастыри, и мы найдем нашу беглянку. Только на это, конечно, потребуется время. Завтра же я отправлюсь в Москву.

— Господи, вечные истории с этой девочкой...

— У нее добрая душа, правда, чересчур пылкое воображение, но душа добрая... Я полагаю, что на нее так подействовала история с этим молодым человеком.

Марья Павловна вздохнула и сквозь слезы улыбнулась:

— Бедняжка так в него влюблена, что за версту видно...

Все признавали, что Наталья Дмитриевна — красавица. Нельзя сказать, что черты ее лица, каждая в отдельности, были правильны и могли быть соотнесены с каким-либо классическим образцом. Но их мягкость, изящество, нежность и, наконец, глаза, светящиеся добротой, доверием к собеседнику и пытливей мыслью,— все это делало ее необычайно милой.

В 1811 году на празднике у Плещеевых кто-

то сказал о восьмилетней Наташе, что она слишком мила. На эти слова Василий Андреевич Жуковский, там присутствовавший, откликнулся стихотворной шуткой, которая тотчас же им собственноручно была вписана в маменькин альбом:

Тебе вменяют в преступленье,
Что ты милее всех детей!
Ужасный грех! И вот мое определенье:
Пройдет пять лет и десять дней,
Ты будешь страх сердец и взоров
восхищенье!

Когда Наташе исполнилось шестнадцать, к ней посватался сосед по костромскому имению Черевин — молодой человек, вышедший из университета, не окончив курса, и решивший заняться приведением в порядок своего хозяйства.

Она в страхе отказала.

Потом сватались Кологривов, Верховский, им тоже было отказано.

Ни любви, ни даже интереса к женихам она не испытывала, они вызывали только досаду и скуку. Как все это не походило на то, что она читала в романах!

Так продолжалось до 26 августа прошлого года — дня ее именин. В тот день, который в Отраде — имении Апухтиных — неизменно отмечался праздником и балом, уездный судья привез к Апухтиным гостившего у него молодого человека — дальнего родственника, где-то служившего в Москве.

Молодого человека представили имениннице.

— Рунсброк,— произнес он, растягивая гласные, и пристально посмотрел ей в глаза.

Этот день перевернул в ней все. Она лишилась покоя. Мысли постоянно возвращались к московскому гостю. Она вспоминала его бледное лицо, мягко спадающие на лоб черные локоны, протяжный голос, разочарованно-спокойный тон, с которым он говорил, его взгляд, в котором, казалось, скрывалась какая-то тайна.

Рунсброк стал бывать в доме.

Вскоре все отметили, что он приезжает ради Наташи: смотрит на нее, разговаривает с ней

подолгу, и она, обычно такая дикая с гостями, от него не убегает, не скрывается в своей светелке. Соседи уже решили, что быть свадьбе.

И вдруг Рунсброк пропал. Осведомились о нем у судьи, тот сказал, что гость уехал в Москву.

— Странно. Уехал, не простившись. И ничего не велел нам передать? — спросил Дмитрий Акимович.

— Ничего, — ответил судья. — Я думал, он побывал у вас перед отъездом. Во всяком случае, он куда-то уходил...

— Они со мной беседовали, — вдруг отозвался судейский секретарь, — в трактире. Насчет имени вашего превосходительства любопытствовали, велико ли...

— Э-э, вот, оказывается, что за птица — этот Рунсброк, — протянул Апухтин и вздохнул: имение было заложено-перезаложено, и долгу на нем было больше, чем оно стоило.

После отъезда Рунсброка Наташа совсем замкнулась.

Мать, конечно, понимала состояние дочери, сочувствовала ей, но, когда Черевин повторил свое предложение, она сказала Наташе:

— Подумай, он для тебя — хорошая партия.

Это было за неделю до того, как Наташа убежала из дому.

На следующее утро к Апухтиным заглянул один из неудачливых женихов — Верховский. Ему рассказали об исчезновении Наташи. Дмитрий Акимович сказал, что он сегодня же едет в Москву и обратится в министерство духовных дел.

Верховский, не дослушав его, вскочил в коляску, на которой приехал, и погнал по дороге, ведущей в Белбажский монастырь — ближайший женский монастырь, находящийся в девяноста верстах от Отрады.

Он проехал почти семьдесят верст, так и не догнав беглянку. Увидев сидевшего на обочине дороги паренька, Верховский остановился, чтобы

расспросить, не проходила ли здесь барышня, но, взглядевшись, воскликнул:

— Наталья Дмитриевна!

Мать и отец плакали, и Наташа плакала.

— Простите меня... Я заставила вас страдать... Я люблю вас, я всю жизнь буду служить вам... Но никогда, никогда не пойду замуж... Об одном прошу: не принуждайте меня...

— Ладно, ладно,— говорил отец.— Поступай, как хочешь. Лишь бы тебе было хорошо...

Михаил Александрович Фонвизин казался ей чуть ли не стариком. Когда она была девочкой, он уже был офицером, и поэтому с детства она считала его принадлежащим к тому миру взрослых людей, с которым она никак не может быть на равных. Он был старше ее на шестнадцать лет: ей — семнадцать, ему — тридцать три.

Его сопровождала слава отважного воина. Ордена, генеральский мундир, так ловко сидевший на нем, и сам он — ловкий, сильный, жизнерадостный — был олицетворением успеха.

Она даже немного испугалась, когда он, всегда звавший ее Наташей, Наташкой, вдруг заговорил с ней, волнуясь и смущаясь:

— Наталья Дмитриевна, ваш батюшка предупредил меня про ваше отвращение к браку, но выслушайте меня. Я люблю вас и прошу быть моей женой.

Наташа молчала.

— Я понимаю, ваше молчание — не согласие, а отказ. Но я не спрашиваю ответа сейчас. Позвольте мне надеяться, я буду ждать год, два, три, сколько будет нужно...

Полгода спустя Наташа сказала Фонвизину:

— Я позволяю вам просить моей руки у батюшки... Только очень прошу, чтобы венчанье было в деревне, скромное...

Александра Кологривова, кузина Натальи Дмитриевны, восхищалась:

— Ах, мой ангел, ты стала настоящей светской дамой! Вчера в Благородном собрании все тобою любовались. И твой Мишель не такой уж старик. Как он шел в мазурке! Скажи, ты счастлива?

— Да, счастлива,— тихо ответила Наталья Дмитриевна.

— Но люди не могут понять чистую душу, я это знаю по себе. А что тебе вчера говорил князь Вяземский?

— Эпиграммы на присутствующих лиц.

— А какие?

— Я не запомнила. Ты лучше расскажи, какво там у нас на Унже.

— Ты скучаешь по деревне, по тихому журчанью струй нашей милой Унжи! Как я тебя понимаю!.. А у нас все по-прежнему: последние две недели мы танцевали — хоть в три пары, но все-таки танцы. А знаешь, вчера в Благородном собрании подходит ко мне — кто бы ты думаешь? — Рунсброк! Он такие комплименты тебе расточал: что ты стала еще прекраснее, что он очарован тобой еще более, чем в Отраде, и просил разрешения нанести тебе визит.

— Передай ему, что я не хочу его видеть,— спокойно и твердо сказала Наталья Дмитриевна.

3. Верность

15 декабря 1825 года за полночь, когда уже, собственно, было не пятнадцатое, а шестнадцатое, на Рождественку, к Фонвизину, жившему в Москве по случаю дворянских выборов, приехали Якушкин и Алексей Шереметев — адъютант графа Толстого, командующего 5-м пехотным корпусом.

— Что случилось? — спросил разбуженный Фонвизин.

— Известие чрезвычайной важности,— ответил Якушкин.— Кажется, начинается. Алексей узнал в штабе... Да говори ты, Алексей!

— Пришла эстафета об отречении цесаревича Константина и о том, что вместо него на престол взойдет Николай Павлович. Завтра этот акт будет объявлен в Успенском соборе. Семенов получил письмо из Петербурга от Пущина, написанное двенадцатого декабря. Пущин сообщает, что они в Петербурге решили сами не присягать Николаю и не допустить до присяги гвардейские полки. Он призывает всех членов общества, находящихся в Москве, содействовать петербуржцам, насколько это будет для них возможно.

— Надо что-то делать,— возбужденно проговорил Якушкин.— Тотчас же собрать членов, известить. Едем к полковнику Митькову.

Поскакали к Митькову на Малую Дмитровку.

Якушкин предложил план действий: Фонвизин, надев генеральский мундир, отправляется в Хамовнические казармы и поднимает войска, сам Якушкин с Митьковым идут в штаб и уговаривают начальника штаба полковника Гурко, когда-то бывшего членом Союза благоденствия, действовать заодно с ними, затем с помощью отряда, выведенного Фонвизиным, арестовывают командира корпуса, московского главнокомандующего князя Голицына и других лиц, которые будут противодействовать восстанию; Шереметев едет по окрестностям Москвы как адъютант, именем корпусного командира приказывает частям идти в столицу, на походе при помощи офицеров, членов общества, подготавливает солдат к восстанию...

— План Ивана Дмитриевича имеет достоинства,— сказал Митьков,— но он — больше плод пылкого сердца, чем рассудительного ума. Во-первых, офицеры и солдаты, квартирующие в Хамовнических казармах, вряд ли послушают приказа неизвестного им генерала; во-вторых, мы не знаем, что решили предпринять петербургские члены и предприняли ли что-нибудь; в-третьих, нас здесь всего лишь четверо, и мы не имеем никакого права приступить к такому важному предприятию без согласия хотя бы большинства членов.

— Михаил Фотиевич говорит дело,— сказал Фонвизин.— Нынешний день надо объехать всех,

постараться получить сведения о положении в Петербурге, и к вечеру соберемся все здесь. Тогда и сможем решить, как нам действовать.

В то время, когда Фонвизин и Якушкин возвращались от Митькова, к московскому военному губернатору примчал из Петербурга курьер генерал-адъютант граф Комаровский. Он привез письмо императора, в котором заключался приказ немедленно привести Москву к присяге. Император писал Голицыну: «Мы здесь только что потушили пожар, примите все нужные меры, чтобы у вас не случилось чего подобного».

Хотя Фонвизину было любопытно самому услышать указ о престолонаследии, в Успенский собор он не пошел, чтобы уклониться от присяги.

Доставили петербургские газеты. В них уже были сообщения о событиях, сопровождавших восшествие на престол нового императора.

Михаил Александрович впился в газетный лист, он читал, стараясь догадаться о том, что газета скрывала и что сейчас ему было так важно знать.

«Северная пчела» сообщала:

«Вчерашний день будет, без сомнения, эпохой в истории России. Столь вожделенный день был ознаменован для нас и печальными происшествиями, которые на несколько часов смутили спокойствие в некоторых частях города...

...Ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках. Небольшая толпа черни окружала их и кричала «ура!»...

...Праведный суд вскоре совершится над преступными участниками бывших беспорядков...»

Вечером у Митькова собрались все оказавшиеся в Москве члены общества — около полутора десятка человек. Якушкин привез с собой штабс-капитана Муханова, которого встретил у генерала Михаила Федоровича Орлова и о котором Орлов сказал, что он член общества и знаком

со всеми участниками восстания четырнадцатого декабря.

— Почему не приехал Орлов? — спросил Митьков.

— Говорит, что сказался нездоровым, чтобы не присягать сегодня, и поэтому не может выйти из дому.

Фонвизин грустно усмехнулся:

— Нездоровье Орлова — самый верный признак того, что дело плохо.

— Я ему сказал: «Это конец, генерал», — проговорил Якушкин, — а он мне на это: «Почему конец? Это всего лишь начало конца».

Все присутствующие уже знали и о поражении выступления, и об арестах в Петербурге и на Юге.

— Рылеев, Пущин, Бестужев, Трубецкой — все в крепости, — говорил Муханов. — Мне слишком хорошо знаком характер нового императора, чтобы можно было на что-то надеяться. Им от него пощады не будет.

— Жаль, что мы не знаем подробностей о Петербурге, — вздохнул Митьков. — И кажется, уже некому уведомить нас о них...

— Узнаем, когда нас самих повезут...

— Да, надежды на успех нет: время упущено, Москва присягнула... И руководителем мог быть только Орлов... — сказал Фонвизин. — Видимо, уже начат розыск всех причастных к тайному обществу. Мы должны подумать, как бы не увеличить число жертв и не отягчить судьбу арестованных.

Быстро приняли последнее решение: немедленно уничтожить все компрометирующие бумаги, в случае ареста не называть имен, кроме тех, что уже известны следователям, но и тут быть осторожными на случай провокации.

Наталья Дмитриевна была беременна вторым ребенком и донашивала последние месяцы. Поэтому зиму жили не в Москве, а в имении Марьино.

Скрыть от нее петербургские события и аре-

сты было невозможно. Михаил Александрович старался только смягчить рассказ о них, говорил, что все должно окончиться благополучно, что новый государь, конечно, простит заблудших в ознаменование своего восшествия на престол... Но тревога поселилась в доме. Фонвизин не таил от жены своих взглядов, она знала, что он был связан со многими из арестованных дружбой или приятельством.

Шестого января утром из Москвы к Фонвизиным прикатили на двух тройках младший брат Фонвизина, Иван Александрович, и двое странных людей. Приехавшие прошли в кабинет хозяйна. Они вышли очень скоро.

— Наташа, мне надобно ехать в Москву,— сказал Михаил Александрович.

— Иван Александрович, вы везете его в Петербург? — бросилась Наталья Дмитриевна к деверю.

— Михаилу Александровичу нужно в Москву по делам, мы приехали по поручению его товарищей...— ответил тот, опустив глаза.

— По поручению,— подтвердил один из странных людей.— Поспешите, пожалуйста, генерал, вас ждут.

— Нет, нет, не обманывайте меня,— твердила Наталья Дмитриевна,— вы везете Мишеля в Петербург!

— Не бойся, я скоро возвращусь,— сказал Фонвизин. Он как-то наскоро обнял жену, перекрестил двухлетнего сына и сел в сани.

Ямщик гикнул. Сани покатили по расчищенной аллее к тракту.

Наталья Дмитриевна раздетая выбежала на крыльцо и провожала взглядом тройку, увозившую мужа.

И тут она увидела, что сани, выехав на тракт, повернули не в сторону Москвы, а к Петербургу.

Она без памяти упала на снег. Сбежавшиеся люди внесли ее в дом.

Император Николай I взял из стакана несколько очиненных перьев, выбрал одно и, вздох-

нув, принялся за письмо брату Константину в Варшаву.

Он старательно и аккуратно вывел дату: «С.-Петербург, 11 января 1826 года». Потом еще раз вздохнул: писать он не любил, но обстоятельства вынуждали. К тому же, несмотря на все уверения брата в любви и преданности, шпионы сообщали, что в столице не прекращаются толки о том, что Константин с войском идет на Петербург, дабы в соответствии с законом занять престол, свергнув узурпатора, то есть его, Николая. Поэтому регулярная переписка с Варшавой была делом не столь сердечно родственным, сколь тактическим и политическим.

Николай макнул перо в чернильницу и ринулся писать.

«Не сердитесь на меня, дорогой и бесценный Константин, если я замедлил с ответом на Ваши два добрых письма — одно к наступающему Новому году, другое, посланное с казачьим офицером, по поводу событий в Черниговском полку. Мой курьер и то, что он привез Вам отсюда, докажет Вам, что при всей надежде на милость божью я все же готовился к худшему и что меры, которые я счел долгом Вам предложить, были в этом духе. Провидению угодно было, по-видимому, при посредстве этого события, нам дать новое доказательство своего неисчерпаемого милосердия к нам, допустив событиям разразиться, когда они были уже предвидимы во всех их ужасных последствиях, и позволив покончить с ними так же легко, как это было и здесь...

Наши аресты идут своим чередом: показания Вишневого довольно любопытны...»

Николай поднял перо, почувствовав на себе чей-то взгляд, недовольно обернулся.

В дверях стоял дежурный генерал-адъютант Левашов.

— Что? — спросил император.

— Доставили двух арестованных из Москвы, ваше величество. Генерала Фонвизина с братом.

— Брата на гауптвахту — его арестовали напрасно, он в заговоре участия, кажется, не при-

нимал, его подержать для острастки и выпустить, а генерала давай сюда!

Николай встал и, уже стоя, дописал строку: «ко мне только что привезли сегодня Фон-Визина, личность довольно значительную...»

— Тебя, Фонвизин, называют многие как члена тайного общества.

— Я вошел в тайное общество под названием Союз благоденствия в шестнадцатом или семнадцатом году по тому соображению, что ничего противозаконного оно в себе не заключало. Но в двадцать первом все сношения мои с оным прекратились, и я полагал, что оно более не существует.

— Кто тебя принял в общество?

— Об обществе я узнал, кажется, от Александра Муравьева или от кого-то другого, не помню точно.

— От кого ты получил письмо о происшествии четырнадцатого декабря?

— Об этом печальном происшествии я узнал из газет.

— Я тебя спрашиваю про письмо Пуцина!

— Это письмо показал мне Семенов, но оно написано одиннадцатого, а получено уже после официального известия о случившемся, поэтому я не придавал ему значения.

— Кто тебе сообщил о намерении Якубовича покуситься на жизнь ныне покойного государя? На жизнь нашего ангела!

Фонвизин наморщил лоб, как бы припоминая.

— Действительно, в прошлом ноябре или октябре Никита Муравьев говорил, что есть человек, питающий личную вражду к государю и решившийся покуситься на жизнь его величества. Называлась фамилия Якубовича. Но я не придавал ни веры, ни значения словам Муравьева, тем более что Якубович, раненный в голову, как я слышал, бывает подвержен болезненным припадкам.

— Так. Ну, еще что скажешь?

— Более насчет общества и его действий показать ничего не могу, ибо с двадцать первого

года прямого сношения с оным не имел и даже не знал определенно о его существовании.

— Не знал! Не знал! Не много же ты знаешь, Фонвизин,— саркастически усмехнулся Николай.— Твои гнусные товарищи знают о тебе гораздо больше, чем ты сам знаешь о себе.

— Прошу очной ставки.

— Будет, будет тебе очная ставка! — закричал Николай и крикнул в пространство: — Увести!

После родов почти два месяца Наталья Дмитриевна пролежала в постели больной. Но едва только немного поправилась, как объявила решительно и твердо, что едет в Петербург, чтобы быть ближе к мужу, чтобы хлопотать о нем.

Авдотья Петровна Елагина дала Наталье Дмитриевне письмо к Жуковскому и уговорила ее остаться у нее на вечер.

— Рассеешься немного на людях,— сказала она.

Наталья Дмитриевна осталась, надеясь узнать что-нибудь новое о заключенных в Петропавловской крепости, потому что вечера Авдотьи Петровны посещали люди, которые не только принадлежали к высшему кругу, но и были причастны к делам внутренней и внешней политики.

Наталья Дмитриевна прислушивалась к тому, что говорят вокруг. Какими ничтожными казались ей все эти заботы, пересуды, остроумие и злословие. И вдруг среди гула голосов она услышала то, что хотела услышать.

Александр Яковлевич Булгаков — московский почтдиректор, один из самых осведомленных в столице людей — рассказывал стоявшим возле него нескольким мужчинам во фраках (Наталья Дмитриевна знала из них одного князя Петра Андреевича Вяземского, поблескивавшего своими некомильфотными очками):

— Вчера мы с доктором Ремихом возле постели графа Растопчина заговорили о Трубецком и его товарищах. «В расчеты князя Трубецкого,— сказал доктор,— входило произвести то же самое,

что случилось во Французскую революцию». Граф Федор Васильевич, услышав эти слова, открыл глаза и проговорил: «Как раз наоборот: во Франции повара хотели попасть в князя, а здесь — князя попасть в повара».

— Даже на смертном одре граф, как всегда, остроумен,— подобострастно сказал один из мужчин.

— Дурная привычка,— отозвался Вяземский.

Наталья Дмитриевна, поняв, что ничего интересного для нее она не узнает, перестала слушать рассказ Булгакова.

Оставив двухлетнего сына Дмитрия и двухмесячного Михаила на попечение родителей, по тяжелой, уже начавшей рушиться весенней дороге она выехала в Петербург.

Фонвизина, как обычно, вывели на прогулку на вал.

Два молчаливых солдата с примкнутыми штыками шли за ним в некотором отдалении.

С одной стороны была стена крепости, с другой — Нева, серая и широкая, как море. Вдалеке, за рекой, как игрушечные, виднелись дома. Одинокая лодка — жалкая скорлупка среди этой могучей водной стихии — качалась на волнах. В лодке кроме гребца находились две дамы.

«Кому и зачем понадобилось так рисковать, ведь тут ничего не стоит перевернуться?» — подумал Фонвизин и стал следить за лодкой.

Между тем лодка, то совсем пропадая в брызгах воды, то поднимаясь на гребне волны, приближалась к крепости.

Одна из дам сняла шляпу и помахала ею.

«Наташа! — узнал Фонвизин. — Наташа!»

Он вглядывался в ее лицо, она была бледна, худа — милая, бедная, любимая Наташа... Он остановился, и солдаты, не допускаявшие остановок во время прогулки, ничего не сказали.

Наташа махала шляпой. Она улыбалась, и из глаз ее (он видел это отсюда, с вала, каким-то сверхъестественно обострившимся зрением) текли слезы...

Фонвизин услышал за спиной тихий голос:

— Михаил Александрович, ваше превосходительство, не стойте на месте, идите... Комендант заметит, запретит прогулки.

Приблизившийся солдат слегка подтолкнул его. Фонвизин пошел далее, оглядываясь на лодку.

— Они уж третий день в этот час сюда приплывают,— сказал солдат, помолчал и, немного погодя, заговорил снова: — Вы-то нас не помните, а мы очень помним: во Франции в плену вместе были.

— Постой-ка, не ты ли первым вызвался посты у арсенала снять?

— Я.

— А вот имени твоего не помню, прости.

— Михаил Александрович, нынче ночью на карауле в крепости егеря. Мы между собой говорили и порешили, что тебе бежать надо, мы пособим.

Фонвизин встрепенулся.

— Ялик будет,— продолжал солдат.— Выведем, как стемнеет. Хватятся утром, а вы уже далеко будете.

Помолчав, Фонвизин сказал:

— Спасибо, братцы, но не могу бежать. Вас за меня не помилуют, не хочу свободу вашими муками покупать. Да и товарищей бросить совесть не позволяет.

*Роспись государственным преступникам,
приговором Верховного Уголовного Суда
осуждаемым к разным казням и наказаниям*

...V. Государственные преступники третьего разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 15 лет, а потом на поселение:

...2. Генерал-майор **Фонвизин**.— Умышлял на цареубийство согласием, в 1817 году изъявленным, хотя впоследствии времени изменившимся с отступлением от оногo; участвовал в умысле бунта принятием в Тайное общество членов...

— Господи, пятнадцать лет! Да в сибирской каторге и пяти лет не выдерживают, умирают...— Из-за слез Наталья Дмитриевна не могла читать дальше.

— Не реви, тут есть еще указ его величества Верховному суду о смягчении наказаний,— скрипучим голосом проговорила тетка.— Во дворце говорили, что государь сказал маршалу Веллингтону: «Я удивлю Европу своим милосердием».

Наталья Дмитриевна протянула листок тетке:

— Прочтите, я ничего не разбираю...

— «Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувством милосердия...»

— Про Мишеля сначала найдите, про Мишеля!

— Вот, вот... осужденных на пятнадцать лет... генерал-майора Фонвизина... по лишении чинов и дворянства сослать в каторжную работу на двенадцать лет и потом на поселение.

Тетка растерянно умолкла. Потом в сердцах плюнула:

— Удивил Европу, гаер!

Ответная бумага от министра юстиции на запрос Натальи Дмитриевны пришла пять дней спустя после опубликования приговора. Она гласила, что по законам Российской империи жены осужденных на каторгу преступников по собственной воле могут следовать за мужьями, и в данном случае для желания Фонвизиной последовать за мужем своим отставным генерал-майором, осужденным к ссылке в каторжную работу, препятствий не имеется.

Но еще несколько дней спустя последовал императорский указ о разрешении женам осужденных считать их брак расторгнутым и позволении вступать в новый брак.

Одновременно для пожелавших все же следовать за мужьями «невинных», как их именовали официальные документы, жен вводились отсутствующие в законах ограничения.

«...Следуя за своими мужьями и продолжая супружескую с ними связь, они, естественно, сделаются причастными их судьбе и потеряют прежнее звание, то есть будут признаваемы не иначе, как женами ссыльно-каторжных, а дети, которых приживут в Сибири, поступят в казенные крестьяне...»

Пятница, 11 часов вечера

Чем более я размышляю о своем горестном положении, тем более я убеждаюсь, что время иллюзий для меня миновало и что счастье на земле — лишь пустая мечта. Я испытал, однако, это счастье, дорогая и возлюбленная Наталья, ты одна позволила мне его узнать — и я благодарю тебя за это каждое мгновение моей жизни.

Я думал, дорогой друг, о твоей великодушной преданности мне и сознаюсь, что было бы недостойно и эгоистично с моей стороны воспользоваться ею.

Жертвы, которые ты желаешь мне принести, следуя за мной в эти ужасные пустыни, огромны! Ты хочешь покинуть ради меня родителей, детей, родину — одним словом, все, что может привязывать к жизни. А что я могу предложить тебе взамен? Любовь заключенного — оковы и нищету.

Нет, дорогой друг, я слишком люблю тебя, чтобы согласиться на это.

Твое доброе сердце слишком возбуждено великодушием и сочувствием к моему несчастью, и я был бы недостоин твоей привязанности, если бы не остановил тебя на краю пропасти, в которую ты хочешь броситься.

Любя тебя больше своей жизни и своего счастья, я отказываю тебе и прошу тебя во имя всего того, что тебе дорого на свете, не следовать за мной. Предоставь меня моей несчастной судьбе и готовься исполнить священный долг матери — подумай о наших дорогих детях. Они часть меня самого, они будут напоминать тебе о человеке, которому ты дала столько счастья, сколько мо-

жет быть у смертного в сей юдоли слез, и который до последнего вздоха не перестанет обожать и благословлять тебя...

Перед отъездом вежливый чиновник III отделения, явившийся с официальным разрешением на отъезд, непреклонно отказался от чаевых и сказал:

— За Уралом вы получите указания, уточняющие перечисленные пункты, исходя из местных условий. Однако могу вас предупредить определенно, что они не будут направлены в сторону смягчения, а, наоборот, в сторону бóльших ограничений. Кстати, ваш человек, коего вы намерены взять с собой и власть над коим вы теряете в пределах Сибири, может сопровождать вас только по собственному желанию, объявленному в полиции и закрепленному его собственноручной распиской.

Когда чиновник ушел, Наталья Дмитриевна сказала няне:

— Вот, Петровна, ты можешь отказаться ехать со мной...

— Да как же я тебя, милая, оставлю? Ишь что выдумали...

Наталья Дмитриевна прижалась головой к няниной груди. А Матрена Петровна гладила ее по голове и приговаривала:

— Ты не сомневайся. Тут дело святое, богово. Да ежели я от тебя отступлюсь, то от меня бог отступится. И поделом! Ничего, милая, авось... В Сибири тоже люди живут...

Когда офицер, отперев дверь, впустил Наталью Дмитриевну в камеру, ей показалось, что она попала в ту самую тьму кромешную, которой марьинский батюшка пугал грешников в своих простодушных проповедях. В тяжелом, спертom воздухе слышался лязг железа. Наталья Дмитриевна ничего не различала в окутавшей ее темноте и была близка к обмороку.

И вдруг — родной голос:

— Наташа!

И тотчас мрак разределся, из него выступили фигуры людей, нары по стенам, стол, лавки. Наталья Дмитриевна стала различать лица: Мишель, Нарышкин, Одоевский, Лорер...

— Наташа! — Фонвизин бросился к ней, загремели кандалы, он вдруг споткнулся, его лицо исказила боль.

— Что с тобой? — в ужасе закричала Наталья Дмитриевна.

— Пустяки, на ноге под кандалами открылась рана, что получил в Смоленске в двенадцатом году...

4. «Твоя Таня»

...И вот опять Марьино. Барский дом, аллея, тополя вдоль аллеи, старые, узловатые, кое-где их ряд прерывается выпавшим деревом — за минувшие тридцать лет и над ними пронеслось немало бурь, лютых зим, летних засух, и эти невзгоды оставили свой след...

Иногда бывало сносно, но чаще Наталью Дмитриевну охватывала тоска — и от этой аллеи, и от комнат, в которых среди новой мебели кое-где оставались старые вещи — современники и свидетели той, кажущейся сейчас нереальным сном, жизни, оборвавшейся 6 января 1826 года — ровно тридцать лет назад — с арестом Михаила Александровича.

В пятьдесят третьем году ему наконец разрешили жить в Марьине под надзором полиции. В Россию возвращались к могилам: умерли сыновья (младшего Михаил Александрович так ни разу и не видел), умерли родители, за две недели до их возвращения скончался брат Иван... Всего одиннадцать месяцев прожил Михаил Александрович в родительском доме — он умер летом пятьдесят четвертого года и покоится под мраморным крестом возле Бронницкого собора...

Неожиданно для себя Наталья Дмитриевна оказалась богатой помещицей — владелицей имений в Рязанской, Тамбовской, Тульской, Московской, Тверской и Костромской губерниях, владелицей пяти тысяч крепостных душ.

Только чувство ответственности за судьбу оказавшихся в ее власти людей заставило ее в первый, самый тяжелый год после смерти мужа, преодолевая тоску одиночества, заниматься делами, ездить из губернии в губернию, хлопотать. Тяжелее всех в России приходилось помещичьим крестьянам. Наталья Дмитриевна теперь часто задумывалась о том, что и она не вечна и что ее наследником будет двоюродный брат мужа — убежденный и жестокий крепостник. Она решила избавить своих крестьян от такого помещика и обратилась в министерство государственных имуществ с прошением взять их после ее смерти в казну.

Проверка управителей (почти всех пришлось снять), перемена старост, введение новых порядков в отношения между помещиком и крестьянами

Ярем он барщины старинный
Оброком легким заменил —

все это сначала занимало время почти целиком, а затем, по мере налаживания дел, стало оставлять более и более досуга.

Наталья Дмитриевна часто предавалась воспоминаниям. Но вспоминала не ту далекую жизнь, что была до Сибири (как ни странно, в теперешних воспоминаниях тогдашние радости уже не радовали), а сибирские двадцать пять лет... И что самое удивительное, иногда она думала: уж не было ли их несчастье настоящим счастьем? Их каторжная, ссыльная, одухотворенная, облагороженная страданиями и любовью к ближнему жизнь?

Мишель почувствовал это раньше ее. Когда уезжали из Сибири, прощаясь с друзьями, он всех обнял, а Ивану Дмитриевичу Якушкину поклонился в ноги за то, что он принял его в тайное общество.

Основную часть времени Наталии Дмитриевны занимала переписка. Она писала много, обстоятельно. За письмами забывалось одиночество. Почти все письма адресовались в Сибирь.

Самым деятельным корреспондентом был Иван Иванович Пущин.

Впрочем, так оно и должно было стать. Его письма для нее были и радостью и мукой.

Началось это еще в сороковые годы. Видимо, тогда она полюбила Пущина. (Сейчас она может признаться себе и произнести эти слова, но в то время об этом даже и мысли не допускала.) Она чувствовала, что Иван Иванович тоже любит ее, что между ними существуют какие-то магнетические силы взаимной симпатии и взаимного притяжения. Но за долгие годы знакомства об этом не было высказано ни слова, ни намека...

Теперь же письма, помимо воли их авторов, все сильнее и сильнее обнаруживали так тщательно скрываемое прежде.

Наталья Дмитриевна вдруг оказалась как бы в двух эпохах одновременно: она ощущала себя той давней молоденькой девчонкой — безрассудной, пылкой мечтательницей, и нынешней, прожившей долгую жизнь, познавшей ее суровую и жестокую реальность пятидесятилетней женщиной.

Ту она называла Таней, эту — Натальей Дмитриевной Фонвизиной.

Пущину писала Таня.

«Ваш приятель Александр Сергеевич как поэт прекрасно и верно схватил мой характер, пылкий, мечтательный и сосредоточенный в себе, и чудесно описал первое его проявление при вступлении в жизнь сознательную. Потом гадательно коснулся другой эпохи моей жизни и верно схватил главную тогдашнюю черту моего характера — сосредоточенность в себе и осторожность в действиях, вообще несвойственную моему решительному нраву, но тогда по обстоятельствам усвоенную мною. Я столько же не доверяю себе, как и другим — себе потому, что так еще недавно была оттолкнута, и поняла, что свет неумолимо осудит меня за нарушение его правил благоприличия, которым независимая природа моя с трудом подчинялась, а между тем я уже вошла тогда в со-

став так называемого светского общества и осторожность делалась для меня, после моей прорухи, необходимостью; не доверяла другим — потому что, несмотря на молодость, ясно понимала, что на мои задушевные чувства не найду отзыва, и первая попытка в этом роде обдала меня холодом».

И наконец, произошло объяснение. Как в романе, она первая сказала то, что так долго и тщательно обходили они в разговорах и письмах.

«Тайна наша между нами и богом... Перед тобой твоя Таня... любящая, немощная женщина...»

Ответное письмо Пущина показалось ей холодным, отвергающим ее любовь.

«Мне сдается, что я прежняя церемонная тебе больше нравилась. Ну что же? Разлюби меня, если можешь. Отбрось, откинь от своего сердца: ведь я не обманывала тебя; я говорила и говорю прямо, что я не стою твоей любви...»

Следующее письмо из Ялаторовска несколько утешило ее.

«Ты непостижимое создание,— писал Пущин.— Заочные наши сношения затруднительны. Я с некоторого времени боюсь с тобой говорить на бумаге. Или худо выражаюсь, или ты меня не хочешь понимать, а мне, бестолковому, все кажется ясно, потому что я уверен в тебе больше, нежели в самом себе... Прости мне, если всякое мое слово отражается в тебе болезненно...

Таню... я и люблю! Неуловимая моя Таня!..

Странное дело! Таня со мной прощается, а я в ее «прощай» вижу зарю отрадного свидания!.. Мне кажется, что я просто с ума сошел,— меня отталкивают, а я убеждаюсь, что — ближе, нежели когда-нибудь, и все мечтаю!..

Верь мне, твоему заветному спутнику! Убежден, что мы с тобой встретимся...

Не верю тебе самой, когда ты мне говоришь, что я слишком благоразумен... Власть твоя надо мною все может из меня сделать. Пожалуйста, не говори мне об Онегине. Я — Иван и ни в какие подражания не вхожу...»

Наталья Дмитриевна томилась, не находила себе места. Наконец созрело решение.

— Маша,— сказала она Марии Францевой, дочери тобольского чиновника, давно жившей в семье Фонвизиных и пользовавшейся полной доверенностью,— я еду к нашим, за Урал.

— Ведь нельзя! С полицией вернут!

— Я все обдумала. Сейчас правительству не до меня, все заняты коронацией. Нашему полицмейстеру сообщу, что еду в костромские имения. Ты одна будешь знать, что я в Ялуторовске.

Наталья Дмитриевна собралась в один день. В Москве только переночевала. По случаю пребывания в древней русской столице нового императора Александра II, сменившего на престоле умершего Николая I, и подготовки коронационных торжеств город кишел полицией и военными, как будто их согнали сюда со всей России.

Наутро коляска Натальи Дмитриевны, миновав заставу, выехала на Владимирский тракт, называемый народом попросту Владимиркой.

В Ялуторовск прискакали в одиннадцать часов ночи. Наталья Дмитриевна велела ехать на постоянный двор, но, когда проезжали мимо дома Пущина, она увидела свет в окне и приказала остановиться.

Все в доме было по-прежнему, все так же, как и тогда, когда они приезжали с Михаилом Александровичем и останавливались у Пущина.

Проговорили всю ночь. Вспоминали былое, поминали ушедших навсегда...

В эту ночь о том, что, собственно, заставило Наталью Дмитриевну приехать в Сибирь, не было сказано ни слова.

На следующий день Пушин получил письмо от родных из Петербурга. Он выбежал из своей комнаты в гостиную взволнованный, радостный.

— Наташа! Наташа! Наталья Дмитриевна! Вот тут пишут, что в связи с коронацией нам готовится всепрощение с возвращением прежних прав дворянства! Мы сможем вернуться в Россию!

Иван Иванович расцвел. Остальные из Ватаги Государственных Преступников, как называл Пущин товарищей, отнеслись к полученному известию сдержанно: слишком много их было, неоправдавшихся слухов, несбывшихся надежд...

Вечером, когда все разошлись и Пущин с Натальей Дмитриевной остались наедине, он сказал:

— Согласитесь выйти за меня замуж... Поверьте, я все это гораздо прежде и давно обдумал, но не говорил и не намекал вам потому, что по обстоятельствам не видел возможности к исполнению...

Наталья Дмитриевна смутилась, возразила:

— А люди-то что скажут? Ведь нам обоим около ста лет...

Иван Иванович улыбнулся:

— Не нам с вами говорить о годах. Мы оба молодого свойства. А людей — кого же мы обидим, если сочетаемся? Вы свободны и одиноки, у вас куча дел не по силам. Очень натурально, что вам нужно помощника. Скорее на меня падет упрек, что старик женился, рассчитывая на ваше состояние. А я признаюсь, что такой упрек был бы для меня очень тяжел. Я об этом много думал, но потом нашел средство устранить от себя решение этого дела и всякое подозрение...

— Какое же средство?

Пущин, волнуясь, проговорил:

— Половина России даже на смерть идет, покоряясь жребию. Бросьте жребий.

Предложение Пущина повергло Наталью Дмитриевну в смятение. Она и сама предполагала такую возможность: выйти за Ивана Ивановича замуж. Но теперь, когда эта возможность, казалось, могла осуществиться, она вдруг начала сомневаться, имеет ли она право на это.

Мысль о жребии внесла в ее душу успокоение.

Наталья Дмитриевна отрезала от листа почтовой бумаги три полоски. На одной написала: «Остаться так», на другой: «Идти за Пущина», на третьей: «Идти в монастырь».

Во время жизни в Тобольске Наталья Дмитриевна часто посещала Абалакский монастырь, в двадцати пяти верстах от города. Туда же она поехала бросить жребий.

Отстояв обедню, попросила старца Иону принять ее для беседы и исповеди.

Старец выслушал ее долгий, сбивчивый, растерянный рассказ, вздохнул, снял камилавку, перекрестился на икону с неугасимой лампадой и сказал:

— Прости меня, господи. Кладите жребии.

— Что? — спросил Пущин.

Наталья Дмитриевна низко поклонилась ему и молча подала жребий. Он развернул его и прочел: «Идти за Пущина».

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искусства,
Послушная влечению чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

(«Евгений Онегин». Глава третья, XXIV)





БЛИЗ ЧИСТЫХ ПРУДОВ

1. Полоса невезения

Опала, наложенная Николаем I на Московский университет после того, как из следственных дел по четырнадцатому декабря царь заметил, что многие из участников тайного общества учились в этом университете или брали уроки у московских профессоров, усугублялась с каждым годом. История с Полежаевым, с обществом братьев Критских и регулярно поступающие доносы на вольнодумство студентов поддерживали и питали эту ненависть. Николай с удовольствием прикрыл бы университет, но это было невозможно, и приходилось действовать с постепенностью. Попечителем университета назначили бригадного генерала Писарева, он упразднил кафедру философии, ввел для студентов форму, карцер и обязал брать у поступающих в университет подписки о непринадлежности к тайным обществам.

Каждый год вводилось что-нибудь новое для искоренения в университете свободомыслия. Студенты, конечно, по большей части не знали, какие распоряжения получает университетская администрация, но незамедлительно ощущали на себе получение очередного указания.

Белинский опоздал к началу занятий после вакаций ровно на неделю. Обычно на такое опоздание никто не обращал внимания: приезжали

и позже. Начальство понимало, что студенту хочется побыть лишний денек под родительским кровом, и поэтому смотрело на задержки сквозь пальцы.

Но едва Белинский вошел в свой одиннадцатый номер общежития казеннокоштных студентов, в этот дневной час пустой, и принялся разбирать вещи и размещать их в тумбочке и под кроватью, как на пороге показался университетский сторож Матвей.

Сочувственно вздыхая, он сказал:

— Господин ректор приказали тотчас явиться к нему в правление.

— Зачем, Матвей?

— Кто ж его знает. У нас тут опять строгости начались. Может, за что за прошлое, вроде нового-то греха тебе некогда было совершить, только приехал...

— Ладно, приду.

— Нет уж, пойдем со мной, велено — тотчас.

— Ну, пойдем.

В своих круглых очках похожий на взъерошенную сову ректор Двигубский, не ответив на приветствие, скрипучим голосом проговорил:

— Поздно приезжаете, милостивый государь. Лекции читаются уже давно.

Двигубский откинулся на спинку стула. Он с каким-то раздражением разглядывал обтрепанный казенный вицмундир с щегольским воротником (когда Белинский его покупал, думал, что новый воротник скрасит вид мундира, а получилось еще хуже), стоптанные сапоги и неприязненно проворчал:

— Вольнодумец...

— Господин ректор, но другие опаздывают больше...

— Речь не о других, а о тебе! — закричал Двигубский. — Ишь вырядился! Об учебе надо думать, а не о воротниках с шитьем. Профессоры приходят к должности без опозданий, а студенты, видите ли, позволяют себе не являться на лекции. Профессоры читают лекции не для себя, а для вас!

Двигубский взглянул в лежавшую перед ним ведомость:

— Успехи у тебя неважные: латинская словесность и немецкий — двойки, французский язык — единица... Лекции пропускаешь...

— Я был болен, в больнице лежал...

— Все равно. Иди и имей в виду, что я не потерплю более нарушения университетских правил.

Уже уходя, Белинский услышал, что ректор бросил инспектору:

— Заметьте этого молодца. При первом случае его надобно выгнать.

В Москве было тревожно.

С каждым днем все беспокойнее становились слухи о холере и холерных бунтах. Страшная эпидемия, начав свой путь в Ширванской провинции, постепенно охватила Кавказ, побережье Каспия и вверх по Волге неумолимо продвигалась в центральные области России.

В середине сентября она дошла до Москвы.

Москвичи, кто мог, уехали из города заранее, а оставшиеся запаслись съестными припасами и безвыходно заперлись в домах. На дворах закурились кучи навоза, дома насквозь пропахли чесноком, паленой шерстью, дегтем — все это, как полагали, предохраняло от заразы.

Уличная жизнь замерла. Лишь на перекрестках стояли кое-где мрачные кучки людей и толковали об отравителях. А вдоль улиц в сопровождении полицейских шагом двигались кареты с больными и черные фуры с трупами.

На дорогах вокруг Москвы встали воинские кордоны, не пропускавшие в город ни пешеходов, ни конных, ни обозы.

Чтение лекций в университете было прекращено, своекоштные студенты распущены по домам, казенные — заперты в университете на карантин.

Конечно, обмануть университетских сторожей не представляло большой трудности: не выпускали лишь студентов в форме, а надев партикуляр-

ное платье, можно было беспрепятственно выходить из университета и входить в него, только при входе окуривали дымом.

Белинский и его друзья ходили в холерные больницы в гости к студентам-медикам, пили там прямо из бочек ковшами красное больничное вино, которое, как считали, предохраняло от заразы.

Но свободного времени, когда абсолютно ничем было заняться (не сидеть же за учебниками, когда университет закрыт!), все равно оставалось слишком много.

В одиннадцатом номере общежития как-то сама собой возникла мысль устроить что-то вроде литературного общества — с собраниями, с чтениями и обсуждением прочитанного. Потом, когда попытались установить, кто же первый заговорил о собраниях, то каждому казалось, что это ему пришла счастливая мысль, а остальные ее подхватили.

Впрочем, так оно и было, потому что даже невозможно предположить, чтобы у словесников — а все обитатели одиннадцатого номера были студенты филологического факультета — не возникло мысли о литературном обществе. К тому же почти все или писали, или переводили. Петров — земляк Белинского — переводил стихами «Потерянный рай» Мильтона и даже напечатал отрывок в «Галатее» с посвящением «В. Г. Б.», Савинич писал о польской литературе, Григорьев начал переводить пламенный роман Уго Фосколо «Избранные письма Якова Ортиса», Чистяков считал, что своим переводом «Теории изящных искусств» Бахмана он двинет вперед отечественную эстетическую мысль, и готов был говорить на философские темы в любое время дня и ночи. Белинский же еще в Чембаре считался признанным стихотворцем, к тому же с нынешних вакансий он вернулся из дому в университет с почти написанной драмой, которая, в его тайных мечтах, должна была поставить его вровень с создателем «Разбойников»...

Одним словом, общество было создано, начались чтения.

В одиннадцатый номер собирались любители литературы со всего университета, народу набивалось в комнату порядочно. Размещались вокруг стола, на кроватях, на табуретках. На столе с треском и вонью горела дешевая свеча, возле нее помещался читавший. Углы тонули во мраке и клубях табачного дыма: курили отчаянно, спорили с упоением, до хрипоты, а прямота и манера, с которой выражалось то или иное мнение, были чисто студенческие, невозможные ни в Обществе любителей российской словесности, ни в салонах. Но тем и отличалось литературное общество одиннадцатого номера от всех других литературных собраний Москвы.

Литературные вкусы посетителей имели совершенно определенное направление: отдавалось предпочтение произведениям запрещенным: «Сашке» Полежаева, стихотворениям Рылеева, пушкинской «Оде на вольность»... Самых решительных «Ода» уже не удовлетворяла. «Это — винегрет какой-то, — сказал однажды о ней один университетский Робеспьер. — По-нашему, не так: революция так революция, как французская — с гильотиной!»

Белинский засел за окончание драмы, чтобы прочесть ее на одном из собраний.

И как только он развернул тетради, то снова, как в Чембаре, когда он обдумывал драму и начал набрасывать отдельные сцены, его охватило волнение, от которого дрожали руки и слезы застилали глаза. Все тогдашние чувства возникли в нем с той же, нет, не с той — с гораздо большей силой и остротой.

Тревога, боль, радость, беспокойство и неизъяснимое блаженство переполняли его.

Страстное желание высказаться, показать равнодушному, слепому миру, какую великую, возвышенную душу этот мир не может понять, ослепленный видом богатства и знатности, изобразить ту боль и страдания, ту бездну бессильного унижения, в которое повергают человека бедность и несправедливость.

Случаи тиранства помещиков, о которых рассказывал отец — уездный лекарь, ездивший по

должности на разборы подобных дел, когда они получали огласку, да и собственный опыт Белинского давали достаточно материала для чувств и размышлений.

Но кроме гражданского негодования Белинский, написав ту или иную сцену, тот или иной удачный монолог, испытывал еще и писательскую профессиональную гордость: при бедности русской литературы драматическими произведениями вообще и при полном отсутствии романтической драмы его «Владимир и Ольга» (так он назвал свою драму) будет весьма споспешествовать успехам отечественной литературы и театра.

Сюжет пьесы был чисто русский и необычайно драматический.

Главный герой драмы — молодой человек по имени Владимир, незаконный сын богатого барина от его крепостной и сам юридически крепостной, воспитывался в барском доме наравне с законными детьми этого помещика. Владимир отличался пылким нравом и талантами. Помещик ставил его в пример своим барчатам-сыновьям. Предпочтение, которое оказывал отец холопу, вызывало у них ненависть к Владимиру. К тому же Владимир и один из его сводных братьев оказались влюблены в одну и ту же девушку — Ольгу. Помещик умирает, не успевши дать вольной незаконному сыну, и по смерти отца Владимир достался по наследству своему сопернику в любви. Новый барин, чтобы унижить Владимира, заставляет его прислуживать себе за столом. Владимир, не вынеся оскорбления, тут же, за столом, убивает брата.

В ноябре Белинский окончил драму и объявил, что будет ее читать на очередном собрании литературного общества.

Перед началом чтения Белинский обратился к товарищам:

— Господа, в этом сочинении со всем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине живой и правдивой представил тиранства людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных.

Многие лица, в ней изображенные, могут вам сказать, здравствуют и поныне. Имеющие уши да слышат. Итак, драматическая повесть в пяти картинах «Владимир и Ольга».

Белинский читал со страстью, с увлечением, передававшимся слушателям. Не раз в ответ на резкий монолог раздавались аплодисменты.

Дрожащим, замирающим голосом, не глядя в рукопись, Белинский произнес слова заключительной реплики.

— Замечательно!

— Молодец, Белинский!

К Белинскому потянулись руки, которые он крепко жал, кто-то в восторге его расцеловал.

— Господа, я полагаю, что пьесу надо представить на рассмотрение цензурного комитета! — сказал Петров.

— Правильно! Надо!

— А потом поставить на сцене нашего университетского театра!

— Только прежде все-таки надо кое-что исправить.

— Не без этого...

— Какие же, позвольте спросить, недостатки вы, господа, видите в моей драме? — сдерживая раздражение, спросил Белинский.

— Ты, брат, не горячись, — успокаивающе произнес Чистяков. — Драма твоя хороша. Но и на солнце есть пятна. Надо дописать твою драму. Во-первых, в ней очень мало действия и много лиризма, а в драме необходимо действие. Длинновата она у тебя. Вот первая картина — одни разговоры...

Критики не стеснялись: каждый кроил пьесу на свой манер, каждого она задела за живое. Разговор с драмы перешел на темы, в ней затронутые: на крепостное право, на права человека, на любовь.

Две недели Белинский перерабатывал драму. По спокойном размышлении в критике друзей он нашел немало ценного. Изменил он и название драмы. «Владимир и Ольга» уж слишком настойчиво напоминало о героях «Евгения Онегина». Поэтому герою он дал другое имя — Дмитрий

Калинин и по его имени назвал драму «Дмитрий Калинин».

Друзья взяли на себя труд переписать драму набело. Еще неделю всем номером по очереди переписывали.

В это время Белинский сочинял предисловие, которым он считал необходимым предварить пьесу. Ему нужно было, с одной стороны, показать авторскую скромность, а с другой — указать недогадливому читателю на значительность произведения молодого автора, впервые выступающего в печати.

Предисловие тоже обсуждали всем номером и нашли его мастерским и лихо написанным.

Вначале Белинский отдал традиционный поклон вежливости публике, для которой при огромном количестве вновь выходящих книг издание еще одной не может почитаться важным событием. Но автор, продолжал он, должен относиться к созданию своего произведения со всей ответственностью, он должен писать не из низкого желания получить известность в литературном мире, не от нечего делать, но — и далее шел один из самых удачных, по мнению автора, пассажей, в котором излагался взгляд на самую суть литературного творчества, — автор должен «из чистого, бескорыстного побуждения выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает, назначением, судьбою человека, сознанием его нравственного величия, — из непонятого стремления разгадать тайны его существования, из благородного желания по мере своих сил и способностей споспешествовать успехам отечественной литературы».

Автор признавал, что в его сочинении имеются слабости и недостатки, но создавалось оно в порыве пламенного вдохновения, и поэтому он надеется, что искра того божественного огня, того животворного восторга, которые оживляли автора как электричество, сообщится душе читателя.

Заключалось предисловие указанием на то, какое место занимает эта драма в современной литературе: «Осмеливаюсь льстить себя сладостною надеждою, что мое сочинение, несмотря на свои недостатки, как первое в своем роде, не будет лишним в нашей литературе, столь бедной драматическими произведениями; и удостоят своим вниманием первый опыт молодого студента».

После Нового года, уже в январе, Белинский отнес свою драму в цензурный комитет. В Москве обязанности цензоров были возложены на профессоров университета.

Ответа пришлось дожидаться недолго.

Неделю спустя, в послелекционное время Белинский лежал в номере на кровати. Он чувствовал, что заболел: не хотелось ничего делать, никуда идти. Приятели звали его в трактир, но он и в трактир не пошел. Кроме Белинского в номере находился один Николай Аргилландер: ему в будущем году выходить из университета, и он теперь вынужден был заниматься, наверстывать пропущенное и прогулянное.

В дверь заглянул сторож Матвей:

— Господин Белинский, пожалуйста в правление, к господам цензорам.

Аргилландер поднял голову от книги:

— Сами вызывают. Наверное, очень понравилось. Да не могло не понравиться. Иди, Белинский, навстречу своей славе.

Белинский попытался было привести в порядок одежду, но ни обдергивания, ни обглаживания не дали никакого результата, и он ограничился тем, что повязал на шею платок, который дал ему Аргилландер.

Белинский вернулся в номер через полчаса, бледный, и молча бросился ничком на кровать.

— Ну что? — подступил к нему Аргилландер.

Белинский посмотрел на него невидящим взглядом и невнятно пробормотал:

— Я пропал... Пропал...

Аргилландер испугался, принес воды. Выпив несколько глотков, Белинский стал успокаиваться. Аргилландер больше ни о чем не спрашивал.

— Ты болен, Белинский,— мягко сказал он товарищу,— тебе надо лечь в больницу.

Вдвоем со сторожем они проводили Белинского в клиническое отделение казеннокоштных студентов, помещавшееся тут же, в университетском дворе.

Вечером Аргилландер пришел в больницу навестить товарища, и тут Белинский рассказал, что произошло в цензурном комитете.

Когда Белинский вошел в цензурный комитет, никто из сидевших за длинным столом цензоров, занятых разговором, не обратил на него внимания. Секретарь Щедритский с любопытством воззрился на Белинского и, не говоря ни слова, побежал вдоль стола, на противоположном конце которого сидел Двигубский.

— Иван Алексеевич! Вот он! Вот господин Белинский! — громко сказал Щедритский, и все сидевшие за столом повернулись к Белинскому.

— Так вы и есть сочинитель драматической повести под названием «Дмитрий Калинин»? — спросил профессор юридических наук Цветаев, и Белинский увидел у него в руках свою пьесу.— По назначению комитета я прочел ее. Написано живо, не без таланта. Да-с,— медленно продолжал профессор, листая рукопись. Белинскому бросились в глаза красные пометы на ее полях.— Но сочинение ваше в высшей степени безнравственно. В нем я нашел много противного религии и российским законам. Что, например, значат такие слова: «Когда законы противны правам природы и человечества, правам самого рассудка, то человек может и должен нарушать их. Неужели я потому только не имею права любить девушку, что отец ее носит на себе пустое звание дворянина и что он богат, а я без имени и беден? Она меня любит: вот неотъемлемое право и мне отвечать ей тем же! Неужели людей соединяют ничтожные обряды, а не любовь?» Тут вы порочите даже таинство церковного бракосочетания, для вас это всего лишь «ничтожный обряд»!— Цветаев значительно посмотрел на присутствующих.—

Правда, друг представленного вами господина, — после некоторого молчания продолжил он свою речь, — опровергает некоторые его заблуждения, но весьма слабо в сравнении с дерзостью его выражений, которые большей частью остаются без опровержений. А посему я полагаю на основании параграфа первого пунктов первого, второго и третьего Устава о цензуре печатание сей рукописи запретить.

Белинский протянул руку за рукописью, которую Цветаев положил на стол. Но Двигубский прижал рукопись ладонью:

— Вы, господин Белинский, получите у секретаря узаконенное свидетельство, а рукопись останется при делах комитета.

Белинский поклонился и хотел идти, но Двигубский остановил его:

— Ваше сочинение позорит университет, милостивый государь. Вы сами не ведаете, что вы сделали! За подобные сочинения следует суд, Сибирь, каторжные работы. Теперь идите.

Окончив рассказ, Белинский дрожащей рукой набил трубку, глубоко затянулся и закашлялся.

— Может, все обойдется... — тихо проговорил Аргилландер.

Белинский усмехнулся:

— Нет, не обойдется. Это как раз тот «первый случай», которого ждал Двигубский. Уж из университета-то меня теперь как пить дать выгонят...

Запрещение «Дмитрия Калинина» разрушило все надежды на будущее. В своих мечтах Белинский вознесся так высоко, что, когда обстоятельства свергли его вниз, разъедающее волю безнадежное чувство собственного ничтожества полностью овладело им.

Его раздражало все: лавки в аудиториях стали неудобными, и от сидения на них болела поясница; шум и теснота в номере, на которые он прежде не обращал внимания и сам кричал не

менее товарищей, теперь представлялись помехой для занятий; пища в столовой казалась настолько мерзкой и гнусной, что невозможно было есть, коридоры, которыми надо было пройти до туалета и умывальной,—бесконечно длинными...

Белинский впал в апатию. Он бросил ходить на лекции, почти ничего не читал. По большей части он лежал на постели, заложив руки за голову, и смотрел в пространство... Почти со всеми он поссорился, и товарищи в конце концов оставили его в покое. Он сам страдал от такого положения, но ничего не мог поделать с собой.

Как-то в мае, оставшись в комнате вдвоем с Чистяковым, который был одним из немногих, с кем еще сохранились хорошие отношения, Белинский сказал:

— Со мной все кончено. Лишившись всех надежд, я совершенно опустил. Все равно — вот девиз мой.

— Что ты, Вися,—возразил Чистяков,— мало ли что бывает. Просто ты попал в полосу невезения. Должна же она когда-нибудь кончиться.

Белинский криво усмехнулся:

— Кончится, да, пожалуй, и меня заберет с собою...

— Больно нужен ты ей,—пытаясь закончить неприятный разговор неловкой шуткой, сказал Чистяков— Ты на лекции пойдешь?

— Нет.

— Ну а я иду.

— Счастливо.

Чистяков ушел, но через несколько минут вернулся, оживленный, запыхавшийся:

— Снизу бегом бежал. Тебе письмо.

— Что за спешка? — меланхолически ответил Белинский.

— Да ты прочти!

Белинский взял полулист бумаги, прочел.

«Почтеннейшего г-на Белинского покорнейше просит придти к себе Петр Артемов.

Р. С. Живу я теперь: Близ *Чистых прудов* (идучи от Мясницких ворот, в первом переулке, в доме г-жи Есауловой, в приходе Харитония, что

в Огородниках, на углу. (P. S. Вход с *Гусятниковского* переулка)».

— Ну прочел? — нетерпеливо спросил Чистяков.

— Прочел.

— Ну, видишь! Издатели уже домогаются твоего сотрудничества. «Дмитрий Калинин» всё-таки свою роль сыграл, ты стал известен как литератор.

— Думаешь, тут речь идет о сотрудничестве?

— Конечно! Артемов сейчас фактически стал издателем «Листка» — журнальчик, конечно, жалкий, но ведь все зависит от сотрудников. Если сотрудники в нем будут такие, как ты, вы, глядишь, и «Телескопу» нос утрете! Вот она и кончилась, полоса твоего невезения!

Белинский сел на кровати, спустив ноги. На его лице еще оставалась скептическая гримаса, но глаза невольно перечитывали записку.

— Ладно, пойду схожу к Артемову, — проговорил он небрежно.

— Иди, иди, Вися. Обуй мои сапоги, мои-то получше твоих, пожалуйста. А на лекции я и в твоих схожу...

2. «Листок» и его редактор Петр Артемов

Сияло солнце. Деревья во дворах зеленели молодой веселой листвой. На мостовой и тротуарах, повсюду, где только между камнями была хоть маленькая щелка, вылезла зеленая трава и засветились ослепительно желтые одуванчики.

И со всей этой весенней радостью особенно дисгармонировала печальная фигура бедного студента в сером потертом мундире. Весь его вид, казалось, говорил, что бедняга находится в состоянии глубокого отчаяния и что ему *все равно*...

Белинский вышел из университета. Вот он пробирается мимо лавочек Охотного ряда, манящих фантастическим количеством самой разнообразной снеди, недоступной, а потому еще более привлекательной и желанной, минует под-

сохшую и уже начинающую пылить Театральную площадь с великолепным зданием Большого театра, поднимается в гору к Лубянской площади и мимо церкви Иоанна Крестителя сворачивает на Мясницкую, с Мясницкой в Гусятников переулочек, откуда расположен вход в дом, занимаемый издателем «Листка», где помещается и редакция и типография...

Но тут я вынужден переменить жанр повествования и в беллетристический рассказ ввести обстоятельность и неизбежную в некоторых случаях сухость документальной прозы, потому что далее речь пойдет о вещах малоизвестных или вовсе не известных читателю.

Посещение Белинским Артемова — первое посещение первого издателя — факт в биографии Белинского необычайно важный. Кроме того, что вообще в жизни каждого литератора переход из рукописного периода творчества в период типографский — веха, никогда не забываемая, в данном случае произошло событие более значительное: может быть, именно высказанная, и не просто высказанная, а подкрепленная делом вера Артемова в литературный талант Белинского, причем проявленная в критический момент его жизни, вытащила Белинского из состояния отчаяния, из которого сам он не видел никакого выхода, кроме глупого скандала с «плеванием в рожу» ректору, за что, как говорил сам Белинский, «тогда уж меня отдадут в солдаты».

Может быть, Артемов спас Белинского от этого необдуманного поступка и сохранил его для литературы.

Я хотел бы изобразить разговор Артемова с Белинским с той степенью подробности и исторической достоверностью, которая тут необходима. О сути разговора можно догадаться из письма Белинского к родителям от 24 мая 1831 года. Это письмо разительно отличается своей жизнерадостностью от предыдущих, и, видимо, главная причина скрыта в последних его нарочито небрежных строчках: «Папенька, я на Ваше имя буду пересылать брату журнал «Листок». От скуки и вы прочтете; в нем и я буду *выставлять* свои *изделия*».

Хотел бы изобразить, но — остановился перед первой же фразой. У меня не было никаких материалов о Петре Ивановиче Артемове, кроме текста его записки Белинскому и справки в академическом «Полном собрании сочинений В. Г. Белинского» (т. XIII, М., 1959, с. 414): «Артемов Петр Иванович (р. 1805 — ?), московский литератор, редактор журнала «Листок» (1831), в котором впервые печатался Белинский». Справка, прямо надо сказать, не обнадеживала, так как комментарии академических изданий отличаются не только точностью, но и полнотой использования предыдущих материалов. Обращение к энциклопедиям и различным справочным изданиям подтвердило это опасение. Артемова в них не было. Правда, еще в 1951 году в томе «Литературного наследства», посвященного Белинскому, было напечатано сообщение В. Владимирова «Белинский и «Листок», в котором сведения об Артемове также чрезвычайно скудны: кроме тех, которые можно извлечь из писем Белинского, сообщается год его рождения — 1805, что он был студентом Московского университета и в 1829—1831 годах преподавал в университетском Благородном пансионе. (Последнее сведение при обращении к документам оказалось неточным: среди преподавателей пансиона П. И. Артемов не значится, но в списках воспитанников пансиона за 1829 год имеется Петр Артемьев, что и стало причиной ошибки. Ошибка была замечена комментатором академического издания, поэтому в приведенной им справке отсутствует указание на преподавательство П. И. Артемова в Благородном пансионе.)

Таким образом, передо мной встала проблема: сфантазировать образ Артемова, выдумать его биографию, выдумать внешний облик — портрета ведь тоже нет — или же продолжать поиски. Раздумье затянулось надолго, на года, и вдруг...

Летом 1974 года я поехал в Калугу в надежде найти в тамошнем архиве какие-нибудь материалы об Александре Леонидовиче Чижевском — за-

мечательном советском ученом и поэте, в двадцатые годы он был председателем Калужского отделения Всероссийского союза поэтов.

В Калуге меня привели к бывшему научному сотруднику Музея космонавтики Владимиру Семеновичу Зотову, который, как мне сказали, хотя и вышел на пенсию, но продолжает вести большую изыскательскую работу.

Владимир Семенович жил в старом деревянном домике на улице Комарова, в двух кварталах от Дома-музея К. Э. Циолковского. Из его окон, выходящих во двор, как и из мастерской Циолковского, открывался вид на Оку и сосновый бор — издавна любимое калужанами место гулянья, а маленький, тесный кабинет, выгороженный из общей комнаты полками с книгами, смотрел единственным своим окном на улицу. Впрочем, окно было почти сплошь загорожено разросшимися цветами.

Владимир Семенович встретил меня с самой искренней доброжелательностью, внимательно выслушал и сказал:

— Понимаю, что вам нужно, но, к сожалению, вряд ли особенно могу быть вам полезен. Никакими материалами об Александре Леонидовиче Чижевском, кроме общеизвестных, я не располагаю. Единственно, что могло пройти мимо вас — статьи о нем и его отце, опубликованные в калужской газете, я сейчас достану. — Он взял с книжной полки папку, достал из нее несколько вырезок. — Пожалуйста, возьмите, у меня имеются дубликаты.

И хотя на этом естественно было бы поблагодарить, распрощаться и уйти, но Владимир Семенович не считал разговор оконченным. Как литератор (позже я прочел его книгу «У истока космической эры» — своеобразную повесть о жизни и деятельности К. Э. Циолковского, написанную в форме путеводителя по дому-музею, в которой воссоздан образ гениального ученого) Владимир Семенович понимал, что для того, чтобы написать о каком-либо историческом деятеле, мало знать его биографию, нужно знать эпоху, окружение. Он начал рассказывать о своих

встречах с Циолковским и другими калужанами, которых знал и с которыми общался Чижевский. Его рассказ, богатый метко подмеченными деталями, интереснейшими наблюдениями, глубоким проникновением в суть характеров и событий, затянулся на несколько часов, от него веяло живым дыханием эпохи...

Потом мы пили чай. Разговор, естественно, отклонился от первоначальной темы, и на каком-то из его поворотов жена Владимира Семеновича Софья Матвеевна сказала:

— Мой прапрадедушка Петр Иванович Артемов был тоже писатель. У нас сохранились две книги, переведенные им с французского.

В тот день, в доме Зотовых, я услышал очень много интересного. Как в старинном романе, встречались и переплетались жизненные пути людей, судьбы которых давно меня интересовали, но прежде я даже не предполагал, что они могли быть знакомы между собой. Разговор перелетал от событий начала XIX века к событиям начала XX века, от собственных воспоминаний Софьи Матвеевны и Владимира Семеновича к семейным преданиям.

Отец Софьи Матвеевны, известный художник-офортист Матвей Алексеевич Добров, когда-то составил генеалогическое древо Добровых. Корнями оно уходило в XVIII век и связывало родственными узами несколько старинных московских фамилий: врачей Добровых (один из них был врачом и другом А. Н. Островского), купцов Куманиных (один Куманин в 1812 году был Московским городским головой и сыграл большую роль в организации Московского ополчения; другой Куманин — опекун Ф. М. Достоевского). Значился в нем и Петр Иванович Артемов; его внучка Надежда Матвеевна была замужем за Алексеем Васильевичем Добровым — отцом Матвея Алексеевича; именно через Артемова Добровы находились в родстве с Куманиными.

Разобравшись в родственных связях Артемова с Добровым, я стал расспрашивать, что знает об Артемове Софья Матвеевна.

Сведения — увы! — оказались очень скудные:

был писателем, служил где-то, жена его Екатерина Евграфовна, урожденная Беляева, по семейным преданиям, выступала на сцене, но на профессиональной или любительской — неизвестно. О том, что Артемов издавал «Листок», Софья Матвеевна не знала.

Наверное, у меня был весьма огорченный вид, потому что Софья Матвеевна сочувствующим и в то же время обнадеживающим тоном сказала:

— В Москве у дочери есть портрет Артемова и кое-какие старые семейные документы. Когда я буду у нее, посмотрю. Может быть, что-нибудь найдется...

И вот передо мной портрет Петра Ивановича Артемова — миниатюра начала 1830-х годов — юное, довольно миловидное лицо, голубые глаза, густые каштановые кудри, высокий лоб, чуть-чуть ироническая полуулыбка... Портрет как раз того времени или очень близкого к тому, когда Артемов издавал «Листок».

Никаких рукописей Артемова Софья Матвеевна в семейном архиве не обнаружила. (Я в это время листал справочники и путеводители по различным архивам: в них рукописей Артемова тоже не значилось.) Но в старинном Месяцеслове 1795 года издания и записной книжке второй половины XIX века, хранившихся в семье Добровых, в которые заносились различные записи о семейных событиях, связанных с той или иной датой, нашлись две записи, относящиеся к Артемову: «Свадьба Петра Ивановича Артемова с Екатериной Евграфовной Беляевой 1826 г. янв. 22» и «1848 г. февраль 14. Петр Иванович умер в 6 часов вечера», и листок со стихами «На смерть друга», датированный 15 февраля 1848 года и подписанный «Д. Ленский».

Это уже давало возможность расширить круг поисков. Д. Т. Ленский — актер, водевилист, автор знаменитого водевиля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка» — был заметной фигурой в московской литературно-театральной жизни второй трети XIX века, и его имя сравнительно часто встречается в воспоминаниях современников и в исследовательской литературе.

Между биографиями Ленского и Артемова оказалось довольно много сходного, и обращение к фактам жизни Ленского помогает прояснить некоторые обстоятельства биографии Артемова. Не буду описывать весь процесс поисков, сопоставлений и размышлений, оговорюсь лишь, что в тех кратких сведениях, которые удалось обнаружить в литературе, Петр Иванович Артемов иногда выступал под искаженной фамилией — Артемьев; иногда его разделяли (в одной и той же работе) на двух человек — «Петра Артемова» и «некоего Артемьева», иногда соединяли воедино со случайным однофамильцем. Но при всем этом из того немногого, что удалось собрать, вырисовывается привлекательный образ человека, самоотверженно любящего литературу, который предпочел трудную, необеспеченную судьбу литератора более верной судьбе коммерсанта или чиновника.

Петр Иванович Артемов родился в 1805 году в купеческой семье. Он учился в Московском коммерческом училище (или Московской практической академии коммерческих наук), где подружился с Д. Т. Воробьевым — тоже купеческим сыном, его одноклассником, с которым его связала дружба на всю жизнь. Но друзей не привлекали коммерческие науки, их властно манили к себе литература и искусство. Они бегали (скорей всего, тайком) в театр, сочиняли стихи, переводили с иностранных языков. Но если Воробьев чувствовал большую склонность к театру, то Артемов — к литературе.

По окончании коммерческого образования Воробьев под давлением семьи поступил служить в контору одной английской торговой фирмы. Видимо, некоторое время служил «по торговой части» и Артемов.

Однако страсть к искусству и литературе пересилила все: и соблазн богатства, и неминуемый гнев родни. Мы знаем, как нелегко давались подобные решения и какими грозили последствиями в тогдашней купеческой среде. Артемов в 1822 году поступает в Московский университет, Воробьев в 1824 году, вопреки отцовскому запрету, поступает актером в театр и, взяв театраль-

ный псевдоним *Ленский*, дебютирует на сцене московского Малого театра.

Артемов, окончив университет в конце 1820-х годов, сотрудничает в «Московском вестнике» профессора М. П. Погодина и журнале С. Е. Раича «Галатей». К сожалению, большинство материалов в этих изданиях помещалось анонимно, поэтому выявить принадлежащие Артемову сейчас невозможно. Но, судя по дальнейшей его литературной работе, это были в основном переводы, хотя С. А. Венгеров в «Источниках словаря русских писателей» без ссылки на источник (так он поступал, когда использовал чей-то устный рассказ) называет его «стихотворцем 1820-х годов».

Роль Артемова в издании «Галатей» становилась от номера к номеру значительнее, и в конце 1830 года Раич все дела по журналу целиком передает Артемову. Об этом свидетельствует письмо В. Г. Белинского брату от 29 сентября 1831 года: «Ты просишь у меня всех «Галатей» за 1830 год: у меня их нет и не бывало, я прислал к тебе только те, которые изданы самим *Артемовым* (под именем *Раича*)».

В 1830 году вышли последние номера «Галатей», с 1831 года Раич прекратил ее издание.

Артемов, видимо, не имел ни средств, ни общественного положения, чтобы предпринять издание собственного журнала, но он уже не мог, да, наверное, и не хотел отходить от литературно-издательской деятельности и поэтому принимает на себя фактическое издание журнала (вернее сказать, газеты) «Листок», юридическим издателем которого являлся князь Д. В. Львов.

Современники не очень-то высоко ставили этот журнал. Один рецензент назвал его «ни то ни сё», Белинский характеризовал как «довольно плохой московский журналец». Но тем не менее с этим журналом связаны факты и обстоятельства, весьма важные для истории русской литературы: в нем дебютировали В. Г. Белинский и А. В. Кольцов, в нем помещено стихотворение М. Ю. Лермонтова.

Издатель «Листка» князь Дмитрий Владими-

рович Львов — «юный князь Львов», как называет его ученый-славист М. А. Максимович в письме к П. А. Вяземскому, — был дилетантом-любителем, в дальнейшем совершенно отошедшим от литературы. Судя по первым номерам «Листка» он намеревался заполнять его собственными произведениями и сочинениями своего брата — князя Владимира Владимировича Львова, который издал впоследствии несколько книг повестей, служил цензором и был уволен от должности в 1852 году за пропуск «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Программа журнала под названием «Листки», приложенная к прошению кн. Львова в Московский цензурный комитет о разрешении ему «издавать в следующем, 1831 году журнал», дает исчерпывающее представление о намерениях издателя и характере будущего журнала.

«Листки эти, выходящие два раза в неделю, по вторникам и пятницам, составлять должны:

Описание Москвы: 1-е историческое, 2-е живописное, 3-е нравственное, т. е. сведения о древнем и новейшем состоянии столицы, некоторые замечания о зданиях публичных и частных; описание видов и прогулок в Москве и в окрестностях; образ жизни всех сословий, употребление времени, занятия и проч.

Смесь: русские анекдоты, острые слова, каламбуры, шарады, загадки и проч. В стихах и прозе.

Объявления: гастрономические, увеселительные и модные, зрелища всякого рода с замечаниями издателя или сообщениями.

Все эти статьи должны быть оригинальные, редко переводные, но нигде не печатанные. Дух журнала сего Московский, т. е. терпимость, снисхождение и радушие... Следственно цель нравственная, но способ достижения оной забавен. Итак все, что не соответствует ему, как-то: известия политические, внутренние и внешние, литературные прения и проч., не будут иметь места в сем журнале».

Первые номера «Листка», действительно, имеют вид забавы, а не серьезного литературного

предприятия: весь журнал состоит из одного-единственного листка формата немного поменьше современной «Пионерской правды», в нем две-три «статьи», одно-два объявления «о зрелищах» и цензорское разрешение: «Печатать позволяется».

Тон разговора издателя с читателем — патриархально-панибратский, в традициях тех недавних времен, когда издатель, запоздав с выпуском очередного номера журнала, простодушно объяснялся с читателем:

Как русский человек на праздниках гулял:
Забыл жену, детей, не только что журнал.

(А. Е. Измайлов)

Первый номер «Листка» открывался рассказом о происхождении названия журнала.

Издатель повествует, как в Васильев — предновогодний — вечер — ехал он в гости, по пути задумался и вдруг, в Армянском переулке, был выведен из состояния задумчивости пронзительным женским окликом:

— Позвольте спросить, как вас зовут?

Издатель не сразу сообразил, что девушка загадала узнать имя суженого, но отвечать было поздно: сани повернули в кривой переулок, а девушка осталась за углом.

Тогда издатель стал думать о том, что не все ли равно, узнает девушка имя суженого или нет: ведь по имени она все равно не будет знать, каков он человек.

Эту встречу он припомнил несколько дней спустя, когда пришел в типографию договариваться о печатанье журнала, разрешение на который было получено, статьи написаны, цензором дозволены, и типографщик спросил:

— Позвольте спросить, какое заглавие вашего *листка*?

Но за хлопотами издатель забыл придумать название.

Однако, пишет он далее, и в его словах чувствуется неподдельное смятение: «Как назвать? Что придумать, чтобы по заглавию могли получить выгодное понятие? Поздно, придумывать некогда, пора печатать.

Ступай, *листок*, составь сам себе имя, и тогда (может быть) на 1832 год с искреннейшим желанием тебе счастья припечатаем мы заслуженное тобою название».

Эта фантазия, видимо, очень близка к действительной атмосфере, царившей в «Листке».

Журнал в соответствии с объявленной программой заполнялся описательными очерками о Москве, довольно поверхностными, напоминающими школьнические сочинения, стихотворными шарадами, акростихами, стихами «на случай», тоже весьма низкого качества.

Вот одно из лучших:

Блины! блины! где ваша сладость!
Где рифма вечная вам — радость.
Катанье, горы, маскарад?
И кто сим дням душой не рад!
Дурак и умный, стар и млад —
Все веселятся, все ликуют,
От утра до ночи пируют,
И даже бабушки танцуют!..

Шутки и каламбуры издателя, которые в разгоряченной весельем компании, когда показанный палец вызывает смех, безусловно, пользовались бы успехом, на страницах журнала выглядели не очень-то удачными и острыми, как, например, такой каламбур издателя: «Уверяют, что один издатель *романов* разбогател; в знак признательности к источнику своего богатства, назвал старшего сына своего *Романом*».

Новости московской жизни тоже не отличались глубиной.

«В Москве появились новые потехи. На Чистых прудах выстроены горы и расчищено место для катания на коньках, — сообщалось в одном из январских номеров. — Они приманивают к себе много хорошего общества людей, особенно иностранцев, так что в иную пору бульвар наполнен гуляющими зрителями. Назначенного для того времени нет. Советуем иногда засматривать на сие новое гульбище: тут часто встречаются весьма искусные бегуны на коньках — ловкие катальщики с гор».

Январь — февраль Львовы более или менее исправно заполняли «Листок» своими сочинения-

ми. В марте, видимо, истощились прежние запасы издателя и остыл его издательский пыл: «Листок» стал запаздывать с выходом, появились сдвоенные номера, и тогда Львов пригласил в журнал Артемова. Апрельские номера сдавал в цензуру уже Артемов.

С приходом Артемова «Листок» начинает менять свой облик. Расширяется круг его сотрудников, появляются серьезные стихи, рецензии, переводы. Даже изменение формата журнала как бы возвещает о его преобразении.

Артемов искал сотрудников, естественно, в том литературном кругу, к которому принадлежал сам и в котором имел знакомства. Историк литературы и педагог А. Д. Галахов в воспоминаниях «Литературная кофейня в Москве», описывая посетителей этого литературно-художественного клуба 1830-х годов и перечисляя ее завсегдатаев, называет Мочалова, Щепкина, Ленского, Садовского и других актеров, затем переходит к литераторам: «Из литературно-учительского кружка чаще других являлись: профессор Рулье, Н. Х. Кетчер, Межевич, Артемьев (Петр Иванович), прозванный «злословом», и ваш покорный слуга. Заходили иногда Белинский, М. Н. Катков и Герцен... Одно время часто посещал кофейную Бакунин». Все перечисленные литераторы были связаны с Московским университетом и представляли собой демократическую, разночинскую литературу.

Сотрудников для «Листка» Артемов стал вербовать среди студентов университета, связи с которым он не порывал и после его окончания. С. Т. Аксаков, сообщая об одном из диспутов в университете, упоминает Артемова: «Во время спора Бодянского несколько раз врезывался Артемов, тоже со злобою; словами «нельзя Дмитрия Ростовского мерить гегелевским аршином» возбудил он даже смех и шум одобрения». Артемов был также членом-соревнователем существовавшего при университете Общества истории и древностей российских.

Для характеристики Артемова как человека тоже имеется немного данных. Белинский в пись-

ме Кетчеру в 1840 году просил: «Кланяйся от меня П. И. Артемову — прекраснейший человек!» В. Т. Ленский в стихотворении на смерть Артемова пишет:

Его уважал и любил я как брата
За ум его светлый и душу его.
Немало здесь в жизни терпел он гоненья,
Как мученик правды, от лжи и клевет.

К этому можно присоединить еще несколько строк из рецензии Белинского (1835) на один из переводов Артемова — исследование академика Ф. Аделунга о Корсунских вратах — памятнике XII века. «Вот три книги,— пишет Белинский (рецензия посвящена трем историческим работам трех авторов),— которые служат ясным доказательством, что у нас занимаются не одними вздорами и пустяками, но иногда и делом. Утешительная истина! Но, вместе с тем, вот три те же самые книги, которые служат ясным доказательством, как мало умеют у нас дорожить делом и отдавать справедливость *дельному*. Горькая истина! Скажите, спрашиваю вас: кто из переводчиков, авторов и издателей подобных книг мог надеяться на барыши, на славу или, по крайней мере, хоть на признательность? Не имеет ли перед ними, во всех сих отношениях, преимущества всякий пошлый романист или плохой стихотворец? Эти жалкие пачкуны всегда имеют свой круг читателей и почитателей, всегда достигают своей цели — денег или гаерской известности на литературных рынках; между тем как бедные труженики полезного и дельного тратят свои собственные деньги, убивают время и в награду слышат брань и холодные насмешки... В «Библиотеке для чтения» сказано, что она (книга «Корсунские врата». — *Вл. М.*) переведена *языком, ужасающим слух и зрение*: видно, что строгий рецензент прочел одно предисловие, которое, как на беду, в самом деле переведено слишком *ученым* образом, тогда как самое сочинение передано ясно, просто и свободно, без насилия родному языку и не в ущерб здравому смыслу».

Под руководством Артемова «Листок» издавался всего около трех месяцев, в июне он пре-

кратил свое существование. «Увы! — писал Белинский, — как весенний цветок, он едва начал расцветать — и завял!» Но за это время в нем выступили кроме Белинского студенты словесного отделения, участники литературного общества одиннадцатого номера И. С. Савинич (переводы с польского); В. С. Межевич (стихи; между прочим, Межевич — автор стихов песни «Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет»); Н. П. Киров — недавний студент (стихи); ряд стихотворений и рецензий, подписанных инициалами Н. С., возможно, принадлежит Н. В. Станкевичу. Скорее всего, именно через Станкевича попали в «Листок» стихи А. В. Кольцова. Белинский в биографическом очерке «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846) говорит, что публикация стихов в «Листке» с его именем «для Кольцова, еще не смевшего верить в свой талант, было лестно и приятно».

Переход «Листка» в руки студенческо-университетских литераторов ознаменовался и изменением социального характера каламбуров. Если раньше материал их черпался в гостиных, то теперь в них отражался студенческий быт.

«В какой-то бурсе поссорились двое студентов. В то время, когда один из них жестоко поносил своего противника, сей последний, не отвечая на слова, перебирал листки в лексиконе.

— Что ты делаешь? — спросили у него товарищи.

— Да вот ищу в лексиконе побранчивее слова, — ответил обиженный филолог».

Три дня спустя после того, как Белинский сообщил родителям, что «намерен выставлять свои изделия» в журнале, в «Листке» № 40—41 от 27 мая 1831 года было напечатано его стихотворение «Русская быль» — первое напечатанное произведение Белинского.

Оно написано «в духе народных песен» — жанре, тогда широко популярном.

На коне сажу,
На коня гляжу,
С конем речь веду:
«Ты, мой добрый конь,

Ты, мой конь ретивой,
Понесись, что стрела,
Стрела быстрая,
Меня, молодца, неси
Ты за дальние поля
И за синие леса.
А уж там ли за полями
И за синими лесами
Есть богатое село,
А во том ли во селе
Высоки стоят хоромы,
А во тех ли во хоромах
Есть девичий теремок,
А во том ли теремку
Живет девица-краса,
Ненаглядная моя.

Далее рассказывалось о том, что девица «променяла» молодца на «боярина богатого, на добро его несметное», и молодец во гневе налетел на «недруга», на «разлучника», сорвал его «буйную голову», распорол «белу грудь», вынул «ретивое» и на блюде преподнес девице, говоря:

Что ж ты, девица, дрожишь!
Что ж, изменница, дрожишь?
Аль не рада ты мне,
Аль меня не ждала?
Аль мой дар не хорош,
Аль мой дар не пригож?

Впоследствии (и очень скоро) Белинский к своим стихотворным опытам отнесся с иронией, назвал их «стихотворным неистовством» и посмеялся над тем, что он когда-то «писал баллады и думал, что они не хуже баллад Жуковского, не хуже «Раисы» Карамзина, от которой я тогда сходил с ума».

Но в мае 1831 года Белинский относился к своим стихам по-иному. А что значила для него публикация «Русской были» в «Листке», может дать представление письмо брата Белинского Константина: «Папенька помещенную в 40 и 41 №№ *Листка* читал с большим удовольствием твою пиесу «Русская быль» и, может быть, мысленно благодарил небо; равно маменька и я очень сему радуемся и не верим глазам своим».

«Русская быль» осталась единственным напечатанным стихотворным произведением Белин-

ского; следующей его публикацией в «Листке» была рецензия на анонимную брошюру «О Борисе Годунове, сочинении Александра Пушкина», в которой уже ясно чувствуется стиль его будущих критических статей.

В «Листке» Белинский нашел истинное свое призвание — литературного критика.

Прекращение «Листка» загадочно. Правда, как раз в то время, когда он перестал выходить, был арестован кружок Н. П. Сунгурова, а многие сунгуровцы были близко знакомы со студентами — сотрудниками «Листка», что даже привлекло внимание жандармов.

К сожалению, нет никаких сведений о том, занимался ли позже Петр Иванович Артемов редакторско-издательской деятельностью, известно только, что он служил преподавателем в каком-то учебном заведении. Но мне не верится, чтобы он мог ограничиться лишь учительством и переводами, не в его это характере.

Но как бы то ни было — «Листок» того времени, когда его издателем был Артемов, еще будет привлекать внимание исследователей тем, что ему удалось сделать, и теми пока еще неизвестными нам планами, которые лелеялись в его редакции, на что намекал Белинский, говоря о прекращении журнала: «...великий муж помре в мале!»





**«К НЕОКОНЧЕННОМУ РОМАНУ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
СОЧ. А. ПУШКИНА
ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ...»**

1

Герои великих произведений литературы, придя на страницы книг из преходящего и уже никогда в будущем не повторимого отрезка жизни человеческого общества, затем снова возвращаются к людям, обретая если не бессмертие, то, во всяком случае, мафусаилов век, и становятся современниками новых и новых поколений.

Причем литературные герои порой обретают такую реальность существования, что оказывают влияние на жизнь людей. К ним апеллируют как к авторитетам, обстоятельства их биографий, черты характера обсуждаются с заинтересованной горячностью. И у людей, естественно, возникает желание вмешаться в судьбу этих литературных современников, что-то им посоветовать, поправить их, как люди любят это делать в отношении своих знакомых, родственников и соседей.

На научной основе учат литературных героев жить критики и литературоведы.

Люди, обладающие творческой жилкой, подходят к вопросу творчески: пишут продолжения и переработки популярного произведения.

Эти продолжения и переработки, как ничто другое, наглядно обрисовывают облик эпохи, в которую они пишутся, и авторов, которые их пишут. В этих продолжениях и переработках отра-

жаются социальные изменения, произошедшие в обществе, эволюция моральных принципов. Новая трактовка старого образа при одновременном существовании и старой дает уникальную (и единственную до изобретения «машины времени») возможность

...посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший.

Герои «Евгения Онегина» — романа в стихах А. С. Пушкина — начиная с 1825 года, когда была издана его первая глава, вошли в русскую жизнь и стали таким существенным её элементом, что сейчас русский национальный характер без них просто невозможно представить.

За полтора века имена героев «Евгения Онегина» не раз использовались в сочинениях других авторов: были тут и спекулятивные подделки (найдена, мол, новая рукопись Пушкина!), и подражания, и пародии, и — традиционный прием юмористов и сатириков — перенесение персонажей из далеких времен во времена этого сатирика:

В трамвай садится наш Евгений,
Наивный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный век.
Судьба Онегина хранила:
Ему лишь ногу отдавило
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»

Подделки, пародии и сатиры интересны как курьезы и анекдоты. Но здесь речь не о них, не об использовании «Евгения Онегина» для разного вида спекуляций, а о влиянии созданных пушкинским гением художественных образов на жизнь общества, о живом представлении разными поколениями образов Татьяны, Онегина, Ленского, о судьбе литературного героя в потоке времени.

2

В 1890 году в Москве, в типографии Л. и А. Снегиревых (Остоженка, Савеловский переулок, собственный дом), была напечатана книга:

«К неоконченному роману «Евгений Онегин» соч. А. Пушкина продолжение и окончание соч. А. Разоренова».

Под названием на титульном листе стоят два эпиграфа:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья. •
А. Пушкин

Но тот блаженней много крат,
Кто чувством с ближними делился,
На суд их правый не сердился
И не желал от них наград.
А. Разоренов

К тому времени, когда вышло «Продолжение и окончание «Евгения Онегина», его автор Алексей Ермилович Разоренов был уже семидесятилетним стариком; более полувека он писал стихи и печатался в различных периодических изданиях и коллективных сборниках, а вот отдельной книгой его сочинения никогда не издавались. «Продолжение и окончание» — его первая книга — так и осталась единственной, что также выглядит достаточно символично.

Разоренов принадлежал к славной плеяде старшего поколения так называемых «писателей из народа», «писателей-самоучек». Он родился в 1819 году в сельце Малое Уварово Коломенского уезда Московской губернии в крестьянской семье. О достатке семьи весьма красноречиво говорит семейное прозвище — Разореновы...

В юности Разоренов ушел из родного села в поисках заработка. Судьба привела его в Казань. Было это в 1850-х годах. Там он сначала торговал на базаре калачами, затем устроился статистом в театр. Служа в театре, Разоренов начал сочинять стихи. Эти стихи в духе народных песен нравились знакомым, и в театре его прозвали сочинителем.

Однажды в Казанском театре гастролировала известная водевильная актриса Надежда Васильевна Самойлова. Для бенефиса она выбрала французскую сентиментальную пьесу «Материнское благословение, или Бедность и честь», в

которой должна была петь. Но французские куплеты ей не нравились, и она захотела их заменить русской песней, причем не общеизвестной, а новой.

Кто-то сказал ей, что в театре имеется свой сочинитель, который как раз сочиняет песни. Актриса объяснила Разоренову, какого характера песня нужна ей для этого водевиля, и на следующий день Разоренов принес ей стихи.

Стихи понравились, песня в бенефис была исполнена и имела огромный успех.

Это была популярная и в наши дни песня «Не брани меня, родная». Сейчас ее поют, как это обычно и случается со стихами, ставшими народной песней, в различных переработанных вариантах, поэтому привожу ее настоящий, разореновский текст. Его напечатал в своих воспоминаниях И. А. Белоусов, записавший песню от самого Алексея Ермиловича Разоренова.

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.
Я не знаю, что такое
Вдруг случилось со мной,
Что так бьется ретивое
И терзается тоской?..
Все оно во мне изныло,
Вся горю я, как огнем;
Все не мило, все постыло,
Все страдаю я по нем!..
Мне не надобны наряды
И богатства всей земли,
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное сожгли..
Сжался, сжался же, родная,
Перестань меня бранить,
Знать, судьба моя такая:
Я должна его любить!..

В начале 1860-х годов Разоренов перебрался в Москву и открыл небольшую («похожую на шкаф», — вспоминает один из его знакомых, писатель Л. В. Круглов) овощную лавочку на задворках Тверской улицы в Палашевском переулке, рядом с Палашевскими банями.

В Москве он познакомился и подружился

с Иваном Захаровичем Суриковым — к тому времени уже известным поэтом, участвовал в первом коллективном сборнике поэтов-самоучек «Рассвет», печатался в мелких газетах и журналах.

А. М. Горький в статье «О писателях-самоучках» приводит слова известного американского психолога и философа Вильяма Джемса, человека, по характеристике Горького, «редкой душевной красоты» и хорошо знающего русскую литературу. «Правда ли, что в России есть поэты, вышедшие непосредственно из народа, сложившиеся вне влияния школы? — спрашивал Джемс и продолжал: — Это явление непонятно мне. Как может возникнуть стремление писать стихи у человека столь низкой культурной среды, живущего под давлением таких невыносимых социальных и политических условий? Я понимаю в России анархиста, даже разбойника, но — лирический поэт-крестьянин — это для меня загадка».

Тем не менее, несмотря на невыносимые социальные и политические условия, на низкую культурную среду, в русской литературе с конца 1860-х годов начинает складываться новое направление: литература писателей-самоучек — литераторов, принадлежавших к низшим слоям бедняков, не имевших возможности получить образование (в «Рассвете» они представляли себя как «не получивших научным путем ни образования, ни воспитания, но саморазвившихся, самовоспитавшихся»). Для характеристики этого направления и оценки его значения для русской литературы достаточно сказать, что из него вышел Есенин.

В истории русской литературы известно немало горьких писательских судеб. Их гораздо больше, чем счастливых. Но среди писателей-самоучек не было ни одного, кто прожил бы свою жизнь легко, спокойно и в достатке. Все вокруг было против них, против их любви к литературе, против их стремления писать: их социальное положение, их бедность, ежедневный тяжелый, изнурительный труд ради куска хлеба, недоста-

ток образования, насмешки родни, непризнание их литературного творчества критикой. Все это им было отпущено судьбой полной мерой.

Но вопреки всему они оставались литераторами, и литература — невольная причина их многих бедствий и огорчений — была единственным смыслом их жизни, их высокой самоотверженной любовью.

В. Я. Брюсов сказал о своем деде поэте-самоучке А. Я. Бакулине: «Он заслуживает памяти по своей беззаветной преданности искусству...» «Беззаветная преданность искусству» была типичной чертой писателей-самоучек.

В воспоминаниях современников — А. В. Круглова, А. А. Коринфского, И. А. Белоусова, В. А. Гиляровского можно найти несколько страниц, посвященных Разореннову. Они знали его уже стариком — добродушным, симпатичным и разговорчивым. «В высшей степени оригинально было видеть, — рассказывает Коринфский, — старика-лавочника в длиннополом (московском) полукафтани, декламирующего из-за прилавка целые монологи из «Гамлета», «Короля Лира», «Ляпунова», «Скопина-Шуйского» и других пьес и с чисто юношеским увлечением произносящего наизусть любимые места из «Демона», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и «Громобоя». «Читал наизусть чуть ли не всего Пушкина, а «Евгения Онегина» знал всего и любил цитировать», — свидетельствует В. А. Гиляровский. И. А. Белоусов сообщает, что у Разореннова «была небольшая поэма «Сон у памятника Пушкину», которая, как и многие его произведения, осталась ненапечатанной и погибла.

Среди писателей-самоучек существовал культ Пушкина — от Сурикова до Есенина с его стихотворением «Пушкину»:

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с тобой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:

Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

(«Пушкину», 1924 г.)

Конечно, образ Пушкина и его творчество каждый из них толковал по-своему, но все они считали Пушкина идеалом поэта и примером для себя.

А. Е. Разоренов в 1890 году написал короткую автобиографию, главное место в которой занимали размышления о собственной литературной работе: «Вся жизнь моя прошла в тяжелой борьбе за существование среди нужды, лишений, тьмы невежества и людей, *умом убогих*. Писательские стремления пробудились во мне очень рано, но большинству первых моих опытов не суждено было увидеть печати. Писал я много, печатал мало, и все, что было мной написано и напечатано,— все это выливалось прямо из души в такие минуты, когда я чувствовал непреодолимую потребность писать. Не мне быть судьей самому себе: я *знаю*, что в моих стихах есть много несовершенств и погрешностей, но я смело могу сказать, что пел всегда искренне и просто (как бог на душу положит), не забывая при этом никогда тех великих заветов, которые мне удалось почерпать из великих творений великих писателей — бойцов за свет и правду. Мне теперь больше семидесяти лет, но я и теперь все еще так же бодр духом, как и в далекие дни моей молодости, к сожалению, прожитой благодаря той среде, в которой я жил, не совсем осмысленно; я и до сей поры не перестаю выбиваться из тьмы к свету и из-за прилавка своей лавочки слезу по мере возможности за тем, как растет родное слово, как зреет родная мысль на ниве народной, засеянной рукой великих сеятелей, в иную жизнь отошедших». Заканчивается автобиография девизом, которого придерживался Разоренов в своей жизни: «Лучше хоть что-нибудь делать, хоть как-нибудь стремиться к свету, чем коснеть во мраке».

Таков был поэт-самоучка Алексей Ермилович Разоренов, когда он писал «продолжение и окончание «Евгения Онегина».

Итак, раскроем книгу.

Начинается она стихотворным предисловием, в котором автор объясняет свои намерения и причину, почему он написал это «продолжение и окончание».

Сначала он обращается к А. С. Пушкину:

О, тень великого поэта!
Из недр неведомого света
На труд ничтожный мой взгляни —
И, если стою,— побрани
За то, что к твоему творенью
Я окончанье написал
И, волю дав воображенью,
Героя в нем дорисовал.

Далее автор адресуется уже к читателю книги:

...здесь сам Пушкин виноват,
Что я являюсь к вам поэтом...
Его читая сочиненья,
Я так им очарован был,
Что я себя и все забыл.
И вдруг, в порыве увлеченья,
Не много думав, сгоряча,
Я создал это вам творенье,
Что называется,— сплеча.

Издание же своего «творенья» он объясняет тем, что

...желал сердечно
Пред строгим светом показать,
Как сильно было то влияние
Родного гения-певца
На самоучку-простеца
Без всякого образования...

После предисловия идет собственно само «продолжение и окончание» романа в стихах. Оно состоит из двадцати глав и эпилога. Главы написаны «онегинской строфой», нарушается эта форма лишь несколько раз (как и в романе А. С. Пушкина), когда повествование прерывают вставные элементы: песни, письма, развернутый диалог с обозначением имен говорящих.

Действие первой главы «продолжения» начинается сразу же после решительного объяснения Онегина с Татьяной в Петербурге, когда она сказала ему роковые слова:

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Разоренов описывает душевное состояние
Татьяны после этого объяснения:

Татьяна, жалкая Татьяна!
Еще ты любишь все тирана,
Который жизнь твою сгубил:
Твоей любви не оценил...

Наступила полночь. Но Татьяна не может
заснуть.

И вот в ее воображении —
Пред ней Онегин все стоит:
Вот он колени преклоняет,
Бледнеет, плачет и дрожит,
Как сильно, бедный, он страдает!

Татьяна вспоминает прошлое: жизнь в роди-
тельском доме, первое объяснение с Онегиным.
Она понимает, что любит его по-прежнему, но

...твердо уж она решила,
Как ни был мил и дорог он,
Молчать о прошлом, как могила,
Храня супружества закон:
И ей ли сделать преступленьс?
Нарушить честь? Какой позор!..
Нанести супругу оскорбленьс!..

Впрочем, так убеждал ее рассудок, сердце
же не хотело слушать его доводов:

Меж тем ее унылый взор
В толпе волнующей блуждал
И все кого-то там искал...

Евгений Онегин, «чтобы забыть любви стра-
данья», сначала хотел было жениться, но, решив,
что этим он только погубит будущую жену, сам
же все равно останется «с разбитым сердцем и
душою», пустился в разгул. Тройки, шампан-
ское, цыгане, арфистки, карты не смогли отвлечь
его от дум о Татьяне, он

Не мог никак себя заставить
Забыть Татьяны сладких слов:
— «Я вас люблю, к чему лукавить...»

Тогда Онегин уезжает в Париж и там преда-
ется разгулу.

Пошел кутеж за кутежом,
И заварилась та же каша
В большом парижском том горшке,

И трудовая дѣньга наша
Встряхнулась в толстом кошельке
И стала таять, словно лед,
Который солнышко печет.

Разоренов включает в свой роман и авторские отступления, в которых по ходу рассказа делает философские, моральные или эстетические обобщения, но надо отметить — почти всегда в них присутствует социальный оттенок. Вот, например, авторское отступление после описания кутежей Онегина в Париже:

Вы скажете: «Такой кутила
Лишь в низших классах может быть!»
Согласен! но не в этом сила,
А кто желает как кутить:
Одни от горестей кутят,
А те жить весело хотят.

Во всех есть классах исключенье,
Кто как какую жизнь ведет;
И так, какое ж в том сомненье,
Что наш герой изрядно пьет?
В нем не было к тому влеченья —
Желал бы даже он не пить,
Он жаждал лишь в вине забвенья,—
Чтобы тоску любви забыть.
У всех во всем свои причины,
Всех может горе посетить,
Но в дни невзгоды и кручины —
Не каждый может трезвым быть;
И эти люди пьют и пьют.
Но горя жизни не зальют!..

Разоренов относится к Онегину с явной симпатией, и из той «бездны порока», в которую бросила Онегина несчастная любовь, он выводит его к духовному прозрению.

Из Парижа Онегин возвращается в Россию и уезжает в свою деревню. (Разоренов не описывает ее, потому что с ней «читатель наш давно знаком».) Отдохнув с дороги «дня два», Онегин выходит прогуляться в поля.

Жара, кипит в полях работа —
Крестьяне всюду косят, жнут,
С утра до ночи капли пота
С их лиц обильные текут.
Онегин, полный размышленья,
Как будто с чувством уваженья
Глядит, как трудится народ,
На эту силу, этот пот,

И даже чувство сожаленья
Невольное проснулось в нем:
«Как люди те до утомленья
Работают!.. своим трудом —
Всех кормят, сами же порой
Страдают тяжкою нуждой?..»

Тут, конечно, сказался в Разоренове крестьянин. Вообще симпатия автора к Онегину зиждется на том, как он представляет отношение пушкинского героя к крестьянам, и впоследствии рассказ о судьбе Онегина завершается именно этой линией.

Онегин заходит в деревню и видит сидящего на завалинке старика-слепца, заводит с ним разговор, предлагает денег, но старик отвечает, что счастье не в деньгах, а «в доброй жизни». Эта мысль поразила Онегина, и он решает вести «добрую жизнь».

Затем в церкви Онегин встречается «старушку Ларину» — мать Татьяны — и получает приглашение на обед.

Разоренову очень дороги пушкинские герои, поэтому ему всегда хочется сказать о них доброе слово, отметить достоинства. «Старушку Ларину» он сравнивает с ее гостями-соседками, «типами старых людей», и находит в ней весьма существенное отличие от них:

Но здесь — хозяйка исключенье
Из этой касты потому,
Что к ней коснулось просвещенье —
Она училась кой-чему.
В молодые годы жизнь в столицах,
И чтение книг, и зрелость дум,
Когда еще была в девицах,
Развили в ней природный ум.
Конечно, в новом поколеньи
Она отставшая б была,
Но верно то, в чем нет сомненья —
Она от типов тех ушла.
Итак, почтенных тех гостей
Она ученей и умней.

Ларина приводит Онегина в комнату Татьяны, в которой все осталось так, как было прежде, и предлагает:

В альбомы Танечки взгляните,
Ее рисунки посмотрите,

Стишки в них можете писать —
Пускай прочтут — она и зять.

Онегин рассматривает альбомы Татьяны, среди рисунков и переписанных стихов известных поэтов он находит

...стихотворенье —
Ее, конечно, сочиненья.

Далее идет стихотворение в том же духе, как и «Не брани меня, родная».

Чуть лишь в небе зорька
Вспыхнула, зарделась —
Вдруг все небо тучей
Темною оделось.

Нет, не зорька тучей
Темною закрылась, —
А в мое сердечко
Горе заронилось.

Сердце, мое сердце,
Что с тобою случилось?!
И за что так рано
С горем ты спозналось?

Уж за то ль, что сильно
Вдруг ты полюбило —
На любовь ответа
Ты не получило?..

Так страдай же, сердце,
Без его участия, —
Знать, такая доля,
Что не знать мне счастья.

Онегин чахнет, заболевает чахоткой и умирает.

Перед смертью он пишет письмо Татьяне:

Любовь меня во гроб ведет...
Желал бы жить я и любить;
Но жить без вас — одно мученье:
На вас лишь издали смотреть —
Одно в вас видеть сожаленье;
О нет, уж лучше умереть.

Описание похорон кончается разговорами, которые ведутся в толпе, что он, мол, «был хороший человек», «ему бы жить да жить» и что «знать, тому так должно быть», а также очень важным для трактовки Разореновым образа Онегина вопросом и ответом:

— А чем крестьян он наделил?
— Чем? Всех на волю отпустил!

Тут бы можно завершить роман, но Разоренов взял на себя обязанность довести повествование до конца и выполняет обещание.

В двух главках он рассказал (правда, очень сжато — одна глава содержит в себе всего две строфы), как «постарел и поседел» «старый добрый муж» Татьяны, как постарела она...

Завершает «окончание» элегический «Эпилог».

На старое кладбище приходит «старуха дряхлая с клюкою», она посещает две могилы — мужа и Онегина.

Увы! давно старуха эта
Когда-то прелестью цвела,
Блестала в высшей сфере света —
Татьяна жалкая была.

(Последний эпитет — художественный просчет автора, он вовсе не хочет сказать, что Татьяна выглядит «жалкой» на кладбище, автор напоминает читателю первую строку своего романа — «продолжения и окончания», именно там появляется этот эпитет: «Татьяна, жалкая Татьяна!», да и тут слово «жалкая» надо понимать как «достойная сочувствия, сожаления».)

Завершается же «Эпилог» по законам жестокой городской баллады:

И вскоре свежая могила
На кладбище виднелась том:
Она Татьяну приютила,
Почившую последним сном...

О литературных достоинствах сочинения Разоренова говорить не приходится, хотя в свое время В. А. Гиляровский считал, что оно написано «недурным стихом». Да и не это главное.

Главное здесь, что «продолжение и окончание» Разоренова показывает, *чем* литературный герой Евгений Онегин явился в девяностые годы XIX века полуграмотному поэту из низших слоев народа — человеку «низкой культурной среды» и живущему «под давлением... невыносимых социальных и политических условий».

Впрочем, это как бы ответ на вопрос самого Пушкина об Онегине:

Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится?..

3

Со времени «продолжения и окончания» Евгения Онегина» А. Е. Разореновым минуло еще более полувека. Но герои романа в стихах А. С. Пушкина продолжают жить все той же бурной литературно-действительной жизнью.

Конечно, новые времена — новые песни, и человек середины XX века хочет — из любви к литературным героям и страстного желания им добра — переменить их судьбу в соответствии со своим человеческим пониманием счастья.

Один мой друг, работавший на радио, передал мне копию письма, присланного одной слушательницей в начале пятидесятых годов. Хотя оно не облечено в стихотворную да и вообще в какую-либо художественно-литературную форму, тем не менее это настоящее творческое произведение, к тому же отражающее основное направление тогдашней нашей литературы, получившей у литературоведов наименование «теории бесконфликтности».

Письмо привожу с исправлением орфографических ошибок и небольшими сокращениями повторений.

«Уважаемый Театр у микрофона, мне очень нравится опера «Евгений Онегин».

30 лет я слушаю эту оперу и никак не могу примириться со смертью Ленского и горем Тани. Мне жаль его, такого хорошего, пылкого поэта. Как он красиво поет, как все и всех крепко любит, какой он милый и смелый, и одаренный человек всеми необыкновенными качествами, и вдруг — смерть! Я с этим никак не согласна и хочу просить вас, мастеров искусств, нельзя ли сделать так, чтобы Ленский не умирал, а остался жив и счастлив?

Поверьте мне, если бы был жив Александр Сергеевич Пушкин, я бы его просила, чтобы он заменил смерть Ленского на жизнь.

Но Пушкина нет живого, и я хочу просить вас, художников и мастеров искусств, обновить оперу, воскресить Ленского и осчастливить Татьяну.

Вот моя личная идея для воскрешения Ленского. В эту последнюю роковую минуту, когда он зовет Ольгу: «Приди, приди, мой друг, я твой супруг», пусть придет Ольга. Она упадет перед ним на колени и станет его просить пощадить себя ради ее любви к нему, и тут Ленский узнает, что Ольга его любит так же крепко, как он ее, от радости забывает про дуэль. Они, обнявшись, целуются и в этом виде их застаёт Онегин, приехавший на дуэль. Ольга, оставив Ленского, подходит к Онегину, берет у него из рук его пистолеты и бросает их в сторону, а Онегину подносит хорошую пощечину за его злую шутку над Ленским, и этим дуэль кончается.

Оскорбленный и опозоренный Евгений уезжает с дуэли и покидает свои края, как после смерти Ленского.

Вот вам Ленский жив и счастлив. Он женится на Ольге.

Как видите, мои пожелания ничего не изменили в опере, а наоборот, добавился еще один интересный момент, и несчастье заменилось счастьем.

Татьяна, такая скромная, милая и добрая девушка, полюбила этого сумасброда Евгения и теперь всю свою жизнь должна, бедняжка, плакать по нем. Мне очень жаль ее, и я пожелала ее горе заменить радостью.

И вот как: когда она читает письмо Онегина и плачет, а Онегин стоит перед ней на коленях и целует ее руку, в дверях появляется генерал — муж Татьяны. Он от неожиданности замирает на месте, а те не видят генерала и все продолжают до конца, как и сейчас, они поют: «Счастье было так возможно, так близко». Евгений умоляет Татьяну покинуть все... Но когда Татьяна говорит: «Моя судьба уж решена, прощай навек», и, рыдая, падает на стол, за которым она сидела и читала

письмо Онегина, генерал, узнав, в чем дело и почему Таня плачет, подходит к ней и начинает ее утешать. Он берет ее за руки и говорит, что ради ее счастья он пожертвует своею любовью и всем богатством и вернет Тане свободу. Он говорит, что сам видит, что она ему не пара, он стар, а Таня молода и любила и сейчас любит этого красивого и молодого человека, который сейчас стоит здесь перед нею на коленях.

Генерал говорит Онегину: «Я тебя должен бы застрелить на месте, ты этого вполне заслуживаешь, но я оставляю тебе жизнь из любви к Тане. Она тебя ведь любит, и ты должен на ней жениться, а если ты еще ее оставишь, я тебя тогда застрелю. А сейчас довольно вам обоим плакать, умывайтесь, одевайтесь, да будем свадьбу справлять, я вас благословляю».

Генерал берет их за руки, ставит рядышком и благословляет. Они от радости такого конца падают к его ногам и благодарят его за его великодушие.

Здесь, как видите, роль генерала заставит публику долгое время быть в оцепенении трагической развязки: все знают, как поступают мужья с женами и их любовниками, и будут ожидать еще одной дуэли, генерала с Онегиным, а тут, к великому удивлению, вместо дуэли — свадьба! Я вполне уверена, что такой конец понравится публике еще лучше, чем теперешний...

Я, конечно, вас не заставляю, а прошу, если это возможно, поставьте хотя бы один раз, и вы увидите и услышите отзывы публики, и она вам скажет, что лучше...

В наше время все возможно: старое заменить новым, горе заменить радостью, а смерть жизнью.

Ведь в наше время реки текут в обратный путь и моря появляются на суше, и ничего худого, по моему, не будет, если Ленский воскреснет, а Татьяна возрадуется.

Жду вашего ответа.

К сему (подпись и адрес).

Секундантов с дуэли Ленский приглашает к себе на свадьбу, и они вчетвером возвращаются домой, а Онегин уходит домой один».



ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО

Полицейский участок на Офицерской улице с тюремным помещением при нем, или, как его чаще называли по старинке, съезжая, был ничем не примечательным местом столичного города Санкт-Петербурга.

Здесь на голых дощатых нарах просыпáлись и приходили в чувство подобранные на улице пьяницы, сюда сажали мелких воришек, и здесь же полицейский унтер распекал проштрафившихся дворников.

Старое и неказистое, выкрашенное в грязно-желтый цвет здание полицейского участка с полосатой будкой перед ним не числилось среди памятников архитектуры. Оно не останавливало взгляды любознательного путешественника. А сами петербуржцы пробегали мимо, давно уже не замечая его, как не замечали сотни других примелькавшихся, одинаковых, похожих одновременно на склад и на казарму домов. И если бы вдруг в один прекрасный день силой какого-нибудь волшебства съезжая пропала бы со своего места, то прохожие, наверно, ее даже не скоро бы и хватились.

Но в середине апреля 1852 года к этому ничем не примечательному зданию зачастили внушительные кареты, щегольские коляски, извозчики: на съезжей появился арестант, которого навещало множество людей, совсем не похожих на приятелей уличных пропойц.

Так продолжалось почти неделю.

Затем специально выставленный полицейский стал заворачивать экипажи:

— Прошу проезжать. Посетителей допускать к господину Тургеневу запрещено.

Если же седок был особенно настойчив и к тому же, судя по виду, в немалых чинах, то полицейский потихоньку добавлял:

— Сам государь император, говорят, запретил...

...Тургенев возвращался мыслями на два месяца назад.

24 февраля в Петербурге узнали, что в Москве умер Гоголь. Газеты об этой смерти не обмолвились ни словом. По городу ходили смутные и странные слухи о болезни Гоголя и его последних днях.

«Гоголь умер.. Гоголь умер...» — повторял Тургенев в тоске, мечась по Петербургу от одного знакомого к другому и стараясь узнать правду о его смерти.

«Гоголь умер! — написал он, придя домой и едва сбросив шубу.— Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем горькое право, данное нам смертью, назвать великим...»

Эти несколько страничек, вылившихся из потрясенной горем души, Иван Сергеевич на следующий день отослал в «Санкт-Петербургские ведомости». В тот же день они вернулись к нему, перечеркнутые красными цензорскими чернилами. Высшее начальство, как и пятнадцать лет назад, когда умер Пушкин, запретило помещать в газетах какие-либо отклики на смерть любимого всей Россией писателя.

Граф Мусин-Пушкин, главный петербургский цензор, в эти дни в великосветских гостиных несколько раз повторил в разных вариантах одно и то же суждение, которое, видимо, выражало не только его собственное мнение:

— Удивляюсь дерзости людей, жалеющих о Гоголе и представляющих смерть этого писателя для лакеев, как незаменимую потерю...

После неудачи с печатанием в «Санкт-Петербургских ведомостях» Тургенев решил отправить статью в Москву, в «Московские ведомости».

Кое-кто из друзей советовал ему быть осторожнее и не печатать уже однажды запрещенное. Они говорили, что за подобный поступок у него могут быть неприятности.

Иван Сергеевич в раздражении (в его ушах еще звучали слова графа Мусина-Пушкина) воскликнул:

— За Гоголя я готов сидеть в крепости!

Статья была послана, напечатана в московской газете, а Тургенев оказался арестантом в полицейском участке.

На донесении цензурного комитета о том, что Тургенев, несмотря на запрещение статьи петербургским цензором, все-таки напечатал ее, царь наложил резолюцию: «Посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр».

Впрочем, Иван Сергеевич знал, что причина ареста и высылки не только статья о Гоголе. Статья была лишь поводом, а настоящая причина — это его «Записки охотника», печатавшиеся в «Современнике» последние пять лет.

Ему вспомнилось, как однажды в детстве маменька секла его по какому-то подозрению.

Он плакал, кричал, спрашивал:

— Маменька, за что? За что?

А Варвара Петровна хлестала розгой в упорении и только приговаривала:

— Сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, за что секу.

Тогда Иван Сергеевич не знал за собой никакой вины и так и не узнал, потому что маменька не сочла нужным объяснить причину экзекуции и после ее окончания.

Теперьешнее же наказание — тоже незаконное: нельзя же наказывать человека за мысли! — хотя бы имело повод.

В первые дни пребывания на съезжей Тургенев не ощущал неприятностей своего арестантского положения. Весь день у него были люди. Каждое утро и вечер приезжали Некрасов и Панаев, несколько раз навестил граф Алексей Константинович Толстой, приходили литераторы, друзья, даже светские приятели. Выражали ему сочувствие, передавали, что говорят о нем в городе, сообщали, что за него хлопочут...

Но когда о нашествии посетителей к Тургеневу стало известно царю, то последовало запрещение допускать к нему кого бы то ни было.

Вот теперь-то Иван Сергеевич почувствовал себя по-настоящему арестантом.

Он, правда, находился не в тюремной камере с решеткой на окне, а в одной из комнат квартиры частного пристава, жившего при полицейской части; правда, в полдень ему приносили не серую, воняющую сальной тряпкой баланду, а обед, приготовленный искусным поваром; правда, надзиратель не гремел ежеминутно запорами и не орал на него, в двери его комнаты не было глазка, и все были с ним отменно вежливы, но любая тюрьма — все же тюрьма.

День разнообразился только визитами являвшихся по долгу службы частного пристава и дежурного унтера.

Друзья нанесли книг, в комнате-камере были чернильница, перо, бумага, даже карты. Можно было писать, можно коротать время за пасьянсом.

Но как свойственно каждому попавшему в заключение человеку, Иван Сергеевич, оставшись один, принялся первым делом изучать свою камеру и прислушиваться к звукам, доносившимся из-за ее пределов.

С одной стороны слышались приглушенные женские голоса. Там разговаривали дочери частного пристава. Они, как рассказал ему один приятель, которому пришлось дожидаться свидания с ним в их обществе, принадлежали к поклонницам его таланта. Тургенев, проходя по коридору, иногда видел этих девиц и раскланивался, повергая их в смущение.

Другая стена молчала. Тургенев решил, что за ней, видимо, кладовая или какое-нибудь подобное помещение.

Но на второй день одиночного сидения, утром, за молчаливой стеной обнаружили признаки жизни.

Спокойный, деловитый и как будто даже доброжелательный разговор, потом глухие удары плети, негромкий стон, и снова короткие, деловитые фразы.

Тургенев сразу понял, что происходит там, за стеной, и, когда вскоре к нему вошел унтер, чтобы прибрать в комнате, Иван Сергеевич, кивнув на стену, спросил:

— За что?

— Обыкновенное дело-с,— ответил спокойно унтер,— господа с записочкой прислали. Чем-то не потрафил.

На следующий день за стеной опять секли. Иван Сергеевич зажимал уши пальцами, чтобы не слышать. Хорошо еще, что экзекуции совершались только по утрам.

Но не думать о том, что происходит за стеной, он не мог.

Тургенев всегда как-то особенно болезненно ощущал подавление человеческой свободы. Может быть, потому, что маменька жестоко опекала его на каждом шагу, совершенно не считаясь с естественным желанием ребенка что-то сделать самому: побежать, когда хочется, почитать, когда книга увлекает, скинуть армячок, когда жарко. То и дело слышалось: «Не бегай! Оставь книгу, иди гуляй! Застегнись! Что тебе сказано? Изволь слушаться! Высеку!»

Так же глубоко затрагивало его, когда он видел угнетение и унижение других. А крепостная русская действительность на каждом шагу преподносила подобные картины.

В конце сороковых годов Иван Сергеевич оказался на грани нервного расстройства.

Он не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что так возненавидел. И тогда же пришло понимание, в чем корень зла, пронизывающего всю русскую жизнь — от самого верха

до последнего нищего мужика: этот корень — крепостное право.

В нем собралось и сосредоточилось все, что было так ненавистно Ивану Сергеевичу, и он тогда дал себе клятву — «Аннибалловскую клятву», как назвал он ее, — бороться против крепостного права до конца и никогда не примириться с ним.

И не он один дал тогда себе такую клятву. Так же думали и чувствовали его московские друзья — Белинский, Станкевич, Грановский...

Из далеких лет детства наплывали воспоминания.

В Спасском — родительском орловском имении — пороли на конюшне, в Москве посылали вот так же с записочкой в полицейскую часть. В записочке, часто рукой самой маменьки Варвары Петровны, бывало написано: «Подателя сего убедительно прошу примерно проучить».

И это вот тоже из воспоминаний детства: перекошенное от гнева, какое-то особенно некрасивое, красное, рябое лицо матери, истерично выкрикивавшей:

— Как ты смеешь, раба! Ты у меня в остроге сгниешь, холопка!

И распластавшаяся у ее ног тихая, всегда покорная горничная Агашенька. Ее вина заключалась в том, что она, вопреки приказу барыни, посмела привезти из деревни в Москву свою годовалую дочку и тем самым, значит, будет отрывать время от забот о барыне, чтобы кормить ребенка.

В доме Тургеневых не так уж часто продавали крестьян, никого не запарывали до смерти, но равнодушное грубое унижение человеческого достоинства крепостных, гувернанток, бедных соседей-дворян, зависимых в чем-либо от Варвары Петровны, всеобщее раболепство, ложь, нелепые прихоти матери, выдуманные от скуки и лени, ее самодурство, державшее всех в доме в состоянии постоянного страха, — все эти порождения крепостного права процветали в доме. И главное, считались самым естественным явлением. Все это было «обыкновенным делом».

Ивану Сергеевичу вспоминался старинный дом на Остоженке за квартал от Москвы-реки, с белыми колоннами, низкими антресолями, с обветшавшим балконом, с неухоженным садом — дом, в котором мать жила, окруженная по-деревенски многочисленной дворней.

Дворецким тогда был Семен, красивый брюнет лет тридцати, державшийся с достоинством слуги-аристократа. Среди прислуги он слыл гордецом.

А, надобно сказать, Варвара Петровна обыкновенно, заметив в ком-нибудь из прислуги хотя бы какой-нибудь намек на самолюбие, тотчас начинала преследовать этого человека, стараясь оскорбить его и унижить.

И вот на зуб ей попался Семен.

Она изводила его мелкими придирадками довольно долго. Наконец Семен был доведен до последней степени человеческого терпения.

За обедом его место было за креслом барыни, по ее требованию он наливал ей воду в стакан из стоявшего перед ней графинчика.

— Воды,— приказала Варвара Петровна.

Семен налил. Барыня поднесла стакан к губам, потом поставила на стол, сказав, что вода мутна.

Семен сменил воду в графине. Вновь налитая вода оказалась слишком холодна. Следующая — теплая, потом — с запахом.

— Добьюсь я наконец хорошей воды?— вспыхнула Варвара Петровна и бросила стакан чуть не в лицо дворецкому.

Семен побледнел, взял со стола графин и вышел. Вернувшись через несколько минут с графином, он снова налил стакан.

Варвара Петровна отпила и сказала:

— Вот это вода!

У Семена задрожали губы, он повернулся к иконам и перекрестился:

— Вот, ей-богу, перед образом клянусь, я ту же воду подал, не менял!

На следующий день он в сермяге, вместо щегольского фрака, мел двор. Из дворецких Семен был разжалован в дворники.

В дворниках он пробыл года три или четыре, пока не поставили дворником немого Андрея.

Немого Андрея Иван Сергеевич помнил очень хорошо.

Этого добродушного великана Варвара Петровна привезла в Москву после одной из летних поездок по своим орловским имениям.

Проезжая мимо одной деревни, она заметила в поле пашущего крестьянина, который поразил ее своим необыкновенным ростом.

Варвара Петровна велела остановить карету и позвать великана.

Лакеи долго кричали с дороги, но мужик продолжал пахать, не обращая на них никакого внимания.

На крики прибежал из деревни староста. Он-то и объяснил, что мужик, который привлек внимание барыни, глухонемой и зовут его Андрей.

— А так мужик — трезвый, работающий, во всем исправный, — сказал староста.

Варвара Петровна тут же распорядилась, чтобы этого немого отправили в Москву, и определила ему быть дворником.

Иван Сергеевич не раз видел, как в дальнем углу их московского двора, обнесенного глухим дощатым забором, среди лопухов лежал немой, уткнувшись лицом в землю и обхватив голову руками.

Все вокруг удивлялись, чего, мол, чудак, убивается, счастья своего не понимает: чай, на крестьянской-то работе семь потов за день сойдет, а здесь работа нетрудная, еда хорошая, одежда нарядная, барыня к нему благоволит — подарки дарит: то кумачу на рубаху, то полтинник на чай...

Но немой тосковал в Москве.

Как-то он подобрал маленькую собачонку — дворняжку, белую с коричневыми пятнами, и поселил ее в своей каморке. Эта собачонка была единственным живым существом, искренне привязанным к нему. Может быть, она чем-то напоминала ему деревню, его прежнюю жизнь.

Однажды собачонка попалась на глаза Вар-

варе Петровне и зарычала на нее. Участь бедной дворняжки была тотчас же решена.

«Чтоб ее сегодня же здесь не было»,— приказала Варвара Петровна.

Ослушаться приказа барыни никто не смел. И любимец Андрей тоже. Собаку он утопил...

Иван Сергеевич совсем забыл, где он находится. Забыл, что за окном серые каменные петербургские улицы, казенные желто-белые фронтоны, теснящиеся друг к другу угрюмые многоэтажные здания,— он был в старой Москве, с ее прихотливо искривленными улицами и переулками, замысловатыми тупиками, с удобными барскими особняками, с еще сохранившимися барскими усадьбами в самом центре города.

Перед ним вставал не только внешний облик Остоженки до мельчайших подробностей, до рисунка досок забора, до зеленой бочки, в которой немой Андрей возил воду из фонтана, что возле Александровского сада,— на него повеяло духом, царившим тогда в тургеневском доме.

И появление нового дворника, насильно оторванного от родных, от привычного уклада жизни и обреченного в Москве на тоскливое одиночество, и история с его собачонкой — все это было «обыкновенным делом». Таким же обыкновенным, как порка в участке по господской записочке. На такие — обыкновенные — дела не обращали внимания.

Ко времени несчастного происшествия с собачонкой Андрей уже привык к московской жизни и даже стал находить в ней определенные выгоды по сравнению с деревенской, оценил он и барскую благосклонность: красные рубахи, аккуратный городской полушубок, плисовую поддевку, синий армяк.

Правда, потом он никогда не приласкал ни одной собаки, хотя обычно по двору их бродило несколько штук и считалось, что они охраняют двор. Но притом немой дворник, по-видимому, даже в душе не усомнился в праве барыни распорядиться судьбой его собаки и, несмотря ни

на что, испытывал к своей хозяйке и привязанность и любовь.

Получая подарки от Варвары Петровны, он радовался, оглушительно мычал и смеялся, указывал пальцем на нее, потом бил себя в грудь, что на его языке означало, что он ее очень любит.

И вдруг Ивану Сергеевичу в судьбе немого Андрея открылось, может быть, самое страшное в крепостном праве — проникновение его в самую плоть и кровь людей, примирение с ним, которое заставляет — особенно при отсутствии кровавых истязаний или обмена людей на породистых гончих — смотреть на крепостничество как на обыкновенное житейское дело.

Об этом рабстве, тихо, невидно, но насмерть калечащем человеческие судьбы, думал Иван Сергеевич.

Рука сама собою нашла на столе перо.

«В одной из отдаленных улиц Москвы, — начал писать Иван Сергеевич, придвинув к краю стола стопку чистой бумаги, — в сером доме с белыми колоннами, антресолюю и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней».

Когда месяц спустя Иван Сергеевич вышел из квартиры частного пристава на Офицерскую улицу (правда, выслушав при этом «высочайшее» предписание немедленно выехать из столицы на родину), в его портфеле лежал новый, написанный во время отсидки на съезжей рассказ.

Это был рассказ «Муму».

По дороге в ссылку Тургенев остановился на несколько дней в Москве.

У Грановского в Харитоньевском переулке собрались московские друзья Тургенева, и он прочел им «Муму». Успех был полный.

— Спасибо вам, Тургенев, — проникновенно сказал Иван Аксаков.

Многие из слушателей знали прототипа Герасима, и кто-то заметил, что, мол, истинный конец этой истории совсем иной, нежели тот, который изобразил Иван Сергеевич.

Тургенев не успел ничего ответить, как Аксаков вскочил и горячо заговорил:

— Мне, читателю, нет нужды знать, вымысел это или факт, даже существовал ли в действительности или нет дворник Герасим. Под дворником Герасимом я разумею иное. Это — олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных честных побуждений. Он сейчас может казаться и немым и глухим. Но он, разумеется, со временем заговорит.

Поднялся шумный, общий спор, и никто не расслышал, как Тургенев тихо сказал Аксакову:

— А мысль «Муму» вами схвачена верно..



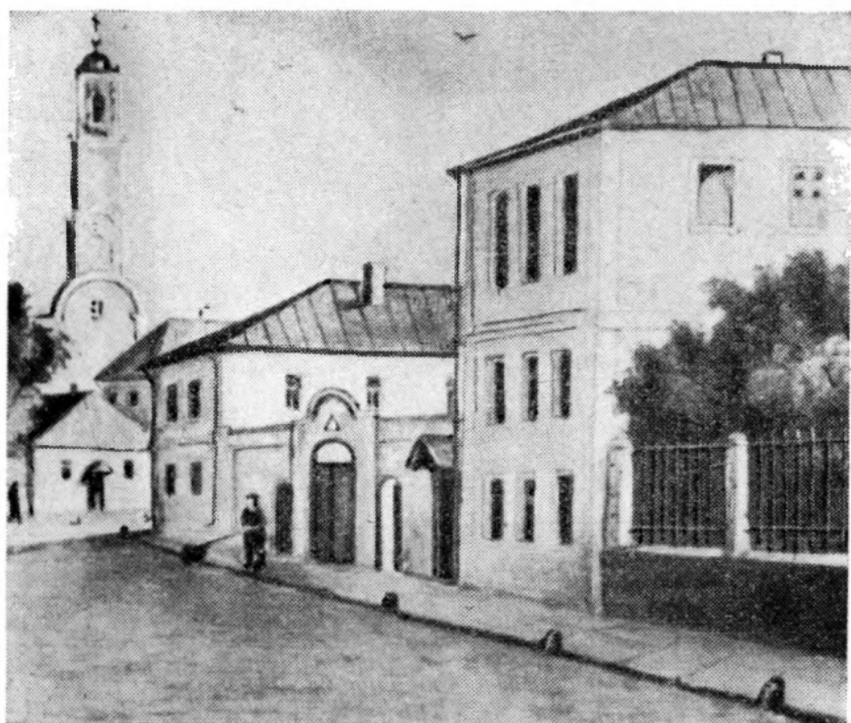


Колокольня Ивана Великого



Н. М. Карамзин. Миниатюра
на кости. 1790-е годы

Дом в Кривоколенном пере-
улке, в котором жил
Н. М. Карамзин

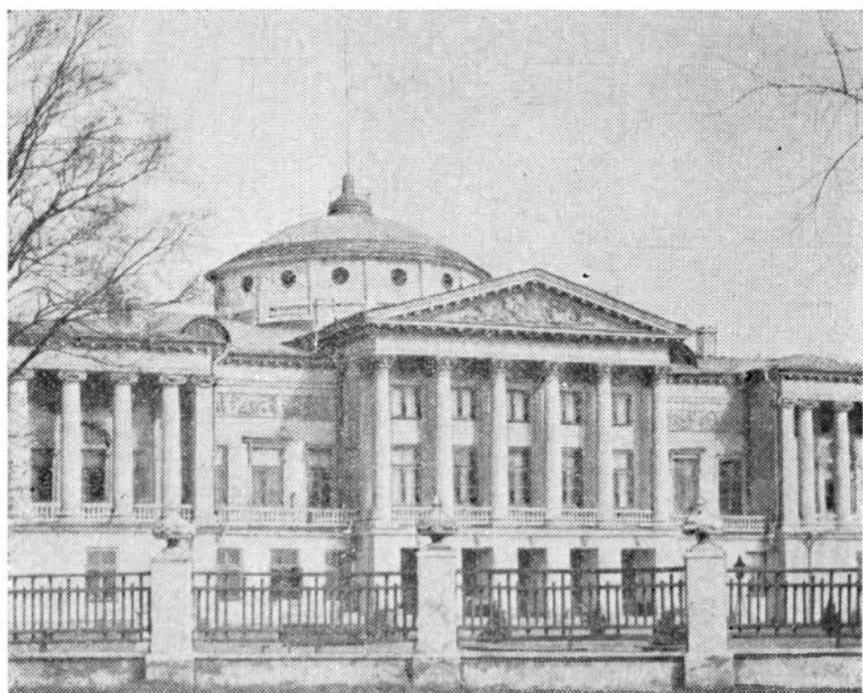




А. Н. Радищев. Гравюра
Вендрамини

Портрет Н. И. Новикова.
Художник Д. Г. Левицкий



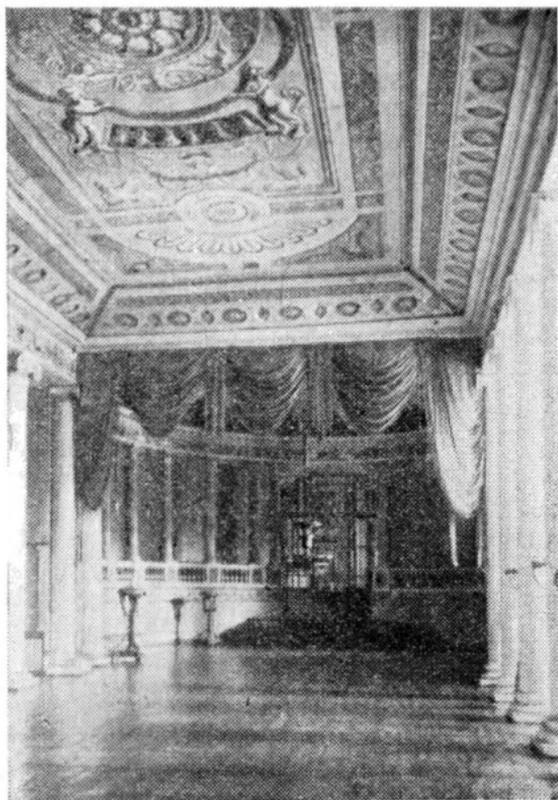


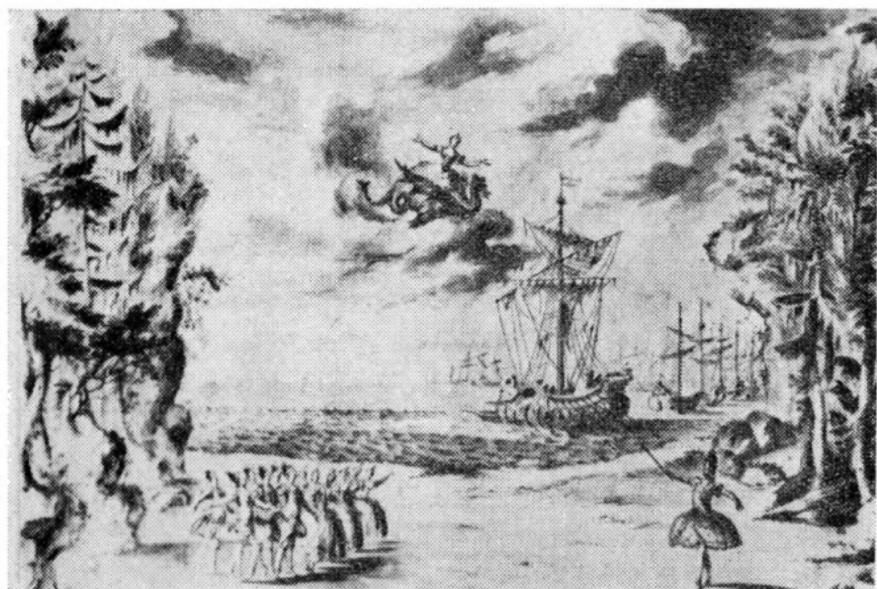
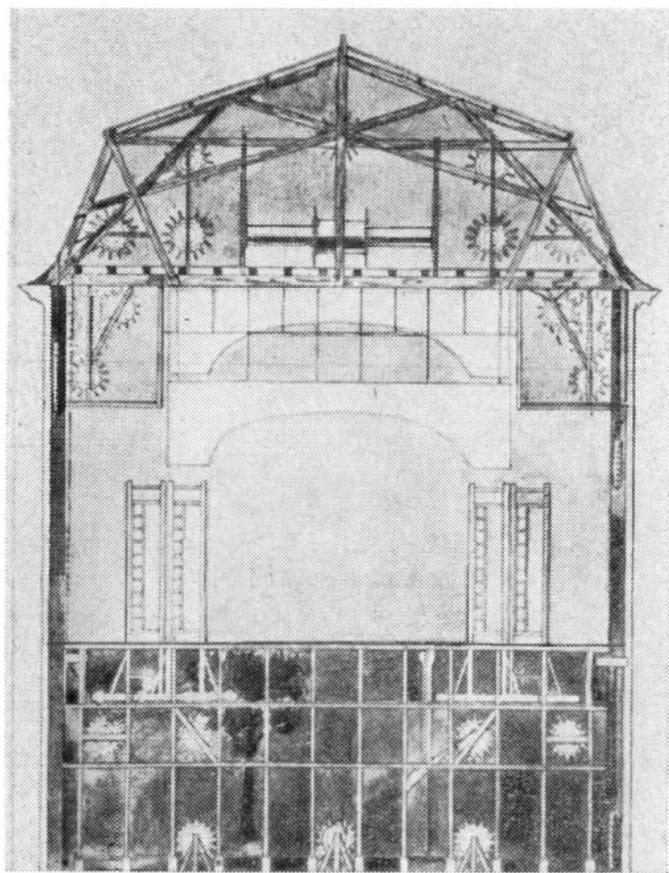
Останкинский дворец

Останкино. Театр.
Общий вид в зрительный зал

Машинное отделение театра

Эскиз декораций к спектаклю «Американцы»







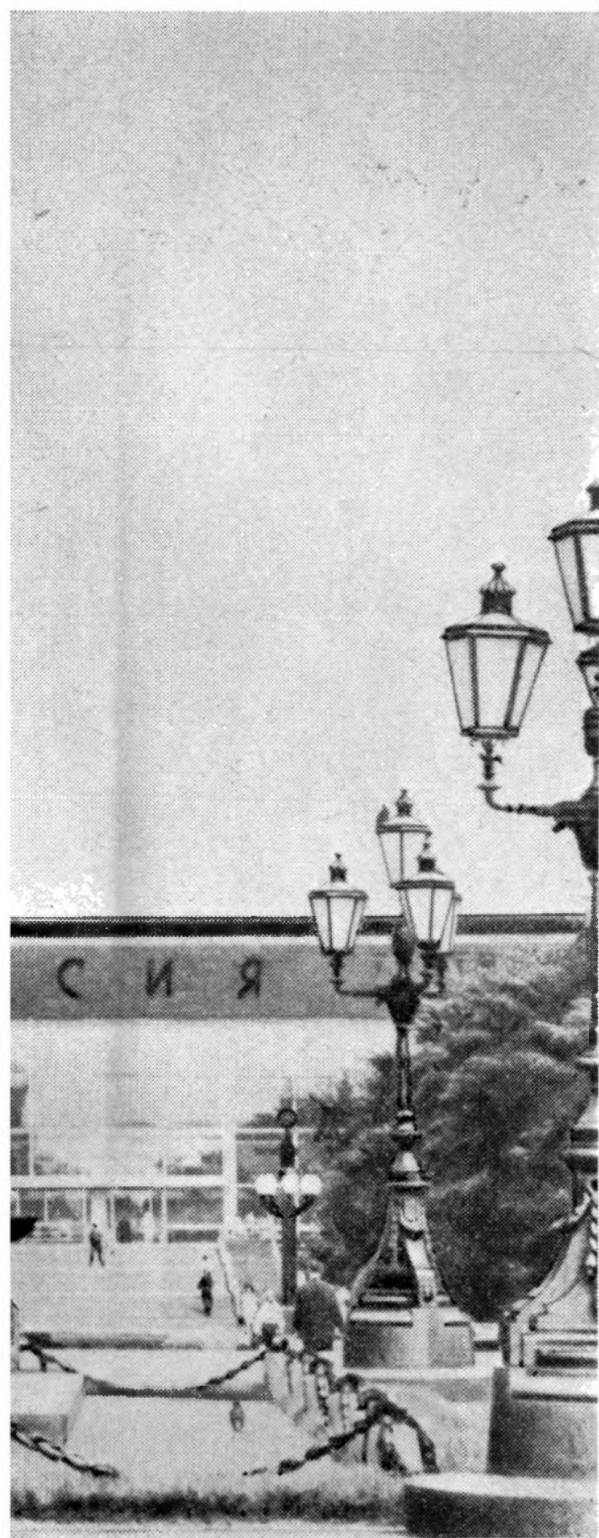
А. С. Пушкин. Эскиз художника В. А. Тропинина



В. Г. Белинский. Акварель
К. А. Горбунова



Памятник А. С. Пушкину в Москве

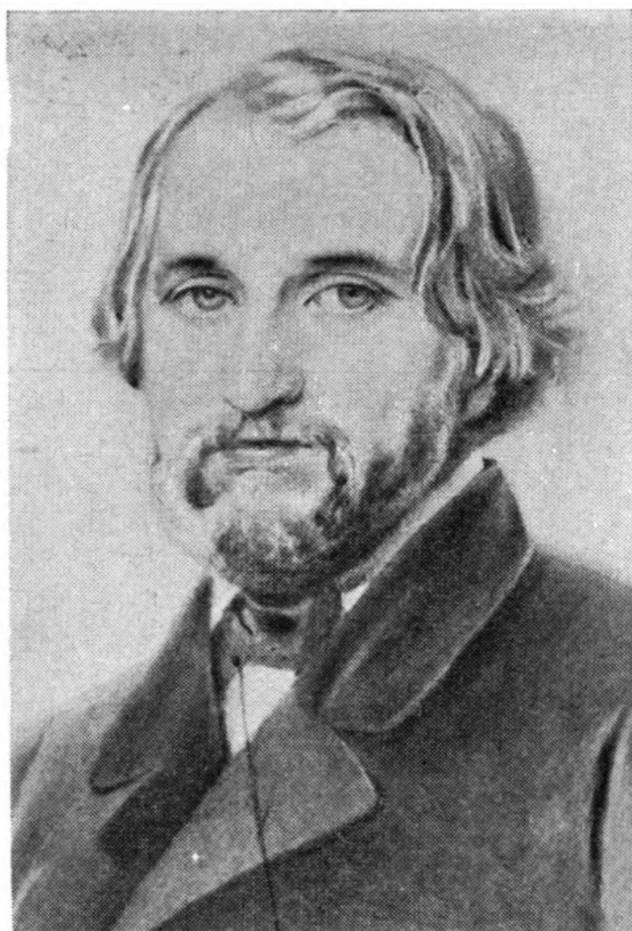




П. И. Артемов. *Миниатюра
неизвестного художника*

И. С. Тургенев. *Акварель
Никитина.*

Дом Тургеневых на Осто-
женке (Метростроевская
улица)





А. Н. Островский



Эскизы костюмов
Деда Мороза, Сне-
гурочки и Мизгиря.

Дом, в котором жил
А. Н. Островский





Г. М. Кржижановский

В. Я. Брюсов





Артем Веселый с братом В. И. Кочкуровым и дочерью. Фотография сделана в 1927 году на Чистых прудах.



ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

1

Александр Николаевич улыбался, не открывая глаз. Он весь был еще во власти только что виденного сна. Он пытался вспомнить, что же, собственно, ему снилось, и не мог. Осталось только ощущение чего-то светлого, радостного, золотистого и ярко-ярко-голубого.

С вечера, ложась спать, он думал о мало-приятных вещах: о том, что приближается лето, а денег в доме опять нет, что на масленую казенные петербургские театры не включили в репертуар ни одной его пьесы, что новая пьеса не пишется, что он безнадежно устал от бесконечной торопливой работы и постоянных соображений, у кого бы занять под ближайший гонорар сотню-другую. Так устал, что временами, даже не к вечеру, а среди дня, темнело в глазах, и тогда его охватывал ужас: вдруг он заболит, не сможет работать... Что тогда будет с ним, с семьей, с детьми, с Машей?..

Измученный всеми этими мыслями, он заснул вчера, словно провалился в темный кошмар.

Тем более странным и непонятным был этот чудесный сон.

Александр Николаевич приоткрыл глаза. На стене и потолке сияла ослепительная солнечная полоска. В окне голубело небо.

И вдруг его озарило: да ведь сегодня первое

марта, Евдокия-подмочи-пирог! Первый день весны!

Он подскочил, сел на кровати, крупный, грузный, с растрепанной со сна бородой, сел столбиком, повел вокруг глазами и присвистнул. Потом усмехнулся, вспомнив, что говорят, будто вот так же на Евдокию вылезает после зимней спячки из норы суслик-байбак и свистит, извещая мир: мол, просыпайтесь, звери добрые, весна пришла!

Раннее солнце било в окна. Искрился и сверкал снег, а в тени он был совсем синий. Голые ветви лип, освобождаясь от зимней тяжести, выпрямились и стали упругими и влажными. С застрехи из-под нависшей, будто седая лешачья бровь, снеговой глыбы тоненькой прерывистой струйкой торопливо сбегала капель. Кричали воробьи. Старая ворона чистила перья и время от времени каркала умиротворенно и добродушно.

В том же светлом настроении Островский вышел к завтраку.

Мария Васильевна хмуро разливала чай, делая замечания детям.

Александр Николаевич остановился в дверях и потихоньку свистнул.

Мария Васильевна со стуком поставила чашку на блюде, оглядела детей по очереди и, остановив взгляд на старшем — девятилетнем Сашеньке, — раздраженно сказала:

— Саша, не свисти за столом, это неприлично.

— Это не я, — обиженно буркнул мальчик.

— Не ври.

Александр Николаевич свистнул еще раз.

Сашенька повернулся к отцу и удивленно и весело воскликнул:

— Это папа свистит!

Александр Николаевич мотнул головой в его сторону:

— Цыц, барыня, сиди себе тихонько, как мышка под метлой!

Мария Васильевна скривилась, словно от зубной боли.

— Боже мой, Александр, свистеть в доме! Что за глупая выходка!

Островский поднял палец вверх, улыбнулся широкой улыбкой, от которой глаза превратились в узкие щелочки, и сказал:

— Байбак из норы вылез. Весна. Вот что.

2

В начале 1873 года Малый театр был закрыт на капитальный ремонт, спектаклей в нем не давали. Все три московские труппы — драматическая, оперная и балетная — играли на сцене Большого театра в очередь, что было и неудобно и невыгодно.

Тогда инспектор московских казенных театров Владимир Петрович Бегичев предложил поставить в Большом театре роскошный спектакль-феерию с музыкой, ариями и балетом, в котором участвовали бы все три труппы одновременно. Цены на билеты на это представление, естественно, были бы повышенные.

Начальству мысль понравилась. Дирекция театра рассчитывала, что роскошь постановки привлечет публику.

Пьесу предложили написать Островскому.

— Сюжетец, Александр Николаевич, возьмите какой-нибудь немудрящий, но, естественно, фантастический. Восточное что-нибудь: султан, фонтаны, танцы одалисок, — развивал перед Островским свои соображения Бегичев, очень довольный собственной выдумкой. — Вам тут и трудиться много не придется, поскольку главное в такой пьесе не содержание, а декорации, костюмы, машинные трюки и вообще эффекты. В данном случае дирекция на постановку не попытается.

Писать пьесу ради декораций и театральных машин Островскому вовсе не хотелось, и первым движением души было отказаться от этой, в общем-то, унижительной поделки, но, поскольку он знал, что другой работы, а тем самым и заработка в этом году не будет, Александр Николаевич сказал:

— Хорошо. У меня кое-что припасено как раз для такой пьесы.

— Вы — настоящий клад для театра, Александр Николаевич, всегда у вас что-нибудь припасено!

— Нам, купцам, без припасу нельзя.

Бегичев продолжал:

— Пьеса должна быть готова месяца через полтора-два, срок вполне достаточный. Правда, кому заказать музыку к этой феерии, мы еще не думали.

— Можно обратиться к Петру Ильичу Чайковскому, он уже давно закончил свою оперу и, как мне известно, ни к какой новой большой работе не приступал.

— Ну что ж, Чайковский так Чайковский. Пусть будет по-вашему.

3

Почти месяц прошел после разговора с Бегичевым, а Островский еще не написал ни одной страницы.

Говоря о запасе, он имел в виду старую, пятилетней давности, незадавшуюся сказку «Иван-царевич».

Тогда он тоже соблазнился заработком и, зная, как нужна дирекции императорских театров какая-нибудь эффектная постановка для увеличения сборов, вознамерился состряпать что-нибудь в стиле модных и любимых публикой оперетки и феерии одновременно с невозможными событиями и нечеловеческими страстями, где языческие боги и жрецы, короли и министры, войско и народ с горя и радости пляшут канкан, где двадцать четыре раза переменяются декорации и в продолжение одного вечера зритель успевает побывать во всех частях света и, кроме того, на луне и в подземном царстве...

Сюжет Александр Николаевич придумал, действительно, в полном соответствии с законами подобного сочинения.

У одного богатого мельника живут в рабочих три парня — три сироты — три Ивана. И так

тяжело им приходится, что они решают утопиться. Но тут приходит на мельницу старуха-нищенка и рассказывает Иванам сказку.

А сказка такова.

В некотором царстве жили царь с царицей, и не было у них детей. Очень они горевали по этому.

Однажды сидит царица у окна и плачет. Шла мимо нищенка и спрашивает царицу, о чем та плачет. Царица пожаловалась: так, мол, и так — нет у нас с царем детей.

Тогда нищенка дала ей рыбку, велела ее сварить и съесть.

Царица так и сделала. Съела она рыбку, остаточки доели сенная девушка и мамка — старуха Карга, косточки отдали кошке.

Прошло время, и все четверо родили по сыну и назвали их Иванами. Все мальчики были похожи один на другого.

Царь, поняв, что нищенка была волшебницей, велел ее позвать, чтобы она пожелала детям счастья. А мамка Карга позвала своего брата — мельника-колдуна. Нищенка новорожденным счастья желает, а колдун ее пожелания портит.

Выросли дети, и стала Каргу злоба брать: ее сын как две капли воды похож на царицына, а почету ему никакого, и задумала она царицына сына своим подменить.

Говорит она царю:

— Все ребята похожи, злых людей много, — пожалуй, подменят царевича. Надо его одного оставить, а других трех погубить. Я ради такого дела и своего сына не пожалею.

Царь согласился, только велел их не убивать, а отдать кому-нибудь на воспитание, чтобы они не знали, чьи они дети.

Тогда Карга переложила в царевичеву постель своего сына, а царевича вместе с Девкиным сыном и Кошкиным сыном велела увести из дворца и отдать в тяжелую работу.

Прошло время. Царицын сын, Девкин сын и Кошкин сын живут в великой нужде и всякую обиду и побои терпят, а Каргин сын живет за-

место царевича, только растет он как есть круглый дурак.

И тут царь стал сомневаться, не подменили ли царевича, и объявил, что признает своим сыном того, кто приведет ему царевну Милолику, золотогривого коня и Жар-птицу.

Выслушали батраки-работники несчастные Иваны сказку, а один Иван говорит:

— Что-то мне иногда мяукать хочется,— и мяукнул.

Явилась Кошка, превратилась в женщину, и так узнал Иван, что он Кошкин сын, а его товарищи — Царицын сын и Девкин сын.

Пустились они добывать царевну Милолику, золотогривого коня и Жар-птицу.

Островский придумывал фантастические эпизоды, необычайные государства, приводил своих героев и к Бабе Яге, и в Кашеев дворец, и в Бахчисарайское ханство, и в Индию, и в некую дикую местность, и в царство кошек. Но несмотря на все ухищрения, пьеса получалась скучная, громоздкая и унылая. У Островского не лежала к ней душа, потому что во всех этих фантазиях не было важной и трогающей сердце мысли.

Однако он все равно каждое утро садился за стол и пытался писать.

Но сегодня Александр Николаевич лишь мельком взглянул на перечеркнутые листочки, разложенные на столе, и ему стало ясно, что этой пьесы он не напишет никогда.

Островский собрал все до листочка рукописи в одну пачку, подровнял вылезавшие страницы, обернул бумагой, перевязал веревочкой и убрал в шкафчик, где грудой лежали уже ненужные рукописи законченных, давно прошедших в театре и напечатанных пьес.

И что самое удивительное, он думал о том, что «Иван-царевич» опять не задался, не со страхом и огорчением, а даже с радостью. Как будто спала с души мучительная тяжесть. Им безраздельно завладело одно-единственное ощущение — радостное, пьянящее ощущение свободы.

Александр Николаевич подошел к окну и толкнул форточку. С улицы повеяло свежестью, талым снегом.

Дом стоял почти на середине крутой Николо-Воробинской горы, спускавшейся от Воронцова поля к Язуе. В одну сторону из окон был виден парк, поднимавшийся вверх, за ним, на горе, находился дом мачехи, который она принесла в свое время как приданое и в котором сейчас жила со своими детьми. Мачеха была не из простых, а из дворян, да еще урожденная фон Тессин — из старого шведского графского рода. В семье сохранилось предание, что ее прадед — граф Карл-Густав Тессин — вынужден был бежать из Швеции при весьма романтических обстоятельствах. Граф Карл был поставлен воспитателем к наследному принцу и, несмотря на пожилой возраст (ему тогда уже шел пятьдесят третий год), без ума влюбился в молодую и прекрасную королеву Луизу-Ульрику. Ум, обаяние, воля опытного политического деятеля и царедворца произвели на королеву свое действие, и она тоже любила графа, как некогда юная Дездемона любила старого воина Отелло. Их склонность друг к другу проявлялась так явно, что враги графа воспользовались этим, составили заговор, и граф, чтобы не компрометировать королеву, вынужден был бежать из Швеции.

Он нашел убежище в России. Здесь он получил скромное имение и участок земли в Москве, в Николо-Воробинской слободе, который впоследствии и оставался долгие годы во владении его потомков.

В другую же сторону от тессинского дома (в котором в детские годы жил и Александр Николаевич) открывался вид из окна на берега Яузы.

Тот дом, в котором сейчас жил Островский, был прикуплен уже отцом и представлял собой обычный обывательский дом — в пять окон, деревянный, обшитый тесом и покрашенный темной коричневой краской. Даже по московским скромным меркам он считался небольшим. С улицы

дом казался одноэтажным, так как окна трех комнат второго этажа смотрели во двор.

Между домом Островского и Яузой сейчас стояли такие же обывательские домишки, только поновее, их построили всего десять лет назад. А прежде тут был пустырь и находились старинные, поминаемые еще в переписных книгах времен царя Алексея Михайловича, торговые бани — закопченные срубы с шелками-оконцами, высокий скрипучий журавель колодца...

В пятидесятые годы Александр Николаевич из своих окон наблюдал с друзьями виды, которые с ростом цивилизации навсегда ушли в предание.

Зимой двери бани то и дело распахивались, и оттуда, окутанные клубами белого пара, выскакивали голые мужчины и женщины (бани по старинке были общие). Оторопело выскочив, ухая, охая, весело выкрикивая заковыристую ругань, они бросались в сугробы снега, валялись с боку на бок и потом также опрометью бросались обратно в баню, в парилку, на полоч.

А напротив бани, на другой стороне переулка, не переставая взвизгивала входная дверь кабака, куда русскому человеку вроде бы и грех не взглянуть после бани...

Сейчас бани снесли; кабак, лишившись своих главных посетителей, захирел и прикрылся.

Но даже в лучшие для бань и кабака времена Островский, привыкнув к их соседству, вовсе не обращал на них внимания. За всей этой внешней, искусственной, созданной людьми суетой он здесь ощущал в полной мере другую жизнь — жизнь природы.

В таком большом и многолюдном городе, как Москва, имелись островки совершенно сельские — выгоны у Новоспасского монастыря и в Лужниках, барские усадьбы, купеческие сады в Замоскворечье, огороды в Садовниках, и там, по соседству с шумными, кишашими людьми и экипажами улицами, смена времен года воспринималась особенно остро.

Николо-Воробинская гора и набережные Яузы были как раз одним из таких мест.

Спускающийся по горе старый, давно уже не знающий садовника парк превратился в лес, где деревья и подлесок росли не по какому-либо плану, а где что выросло. От аллеи не осталось и памяти, только вились тропинки от верхнего дома к прудам, выкопанным неподалеку от реки, к сараям, конюшням, огороду. В иные годы не покупали дров, обходясь тем, что напилят нанятые мужики в саду, как упорно все называли на московский лад тессинский парк.

Осенью здесь шуршала, падая, листва, весной у подножия черных деревьев расцветали подснежники...

А под самой горой, под берегом бил ключ, и веселая прозрачная струя, кипящая даже в самые лютые морозы, журча, текла в Яuzu. На этот ключ ходили полоскать белье бабы со всех окрестных улиц и переулков.

Когда утром восходило солнце, оно яркими лучами пронизывало деревья, и вся гора сверкала в его торжествующем, веселом свете.

Островский любил этот торжественно-радостный час.

Лес, солнце, белые и голубые искорки подснежников, голубая вода ключа — все это составляло тайную, но самую большую радость, потому что солнце, весна, ключ никогда не менялись в своем отношении к нему, никогда не обманывали...

После смерти отца верхний дом и парк для Александра Николаевича закрылись. Они принадлежали мачехе, а он не хотел ничем ей быть обязанным. Но детские воспоминания крепки, и он любил эти места верной любовью.

Правда, теперь воспоминания о воробинских утрах, днях и вечерах слились с впечатлениями от Щелыкова — имения в Костромской губернии, которое они вдвоем с братом откупили у мачехи.

Когда Александр Николаевич впервые приехал в Щелыково и, войдя в дом, стоявший на горе, взглянул в окно, то сказал брату:

— А гора-то, пожалуй, побольше нашей Воробинской...

И потом он невольно сравнивал Щелыково с Москвой, и чем больше сравнивал, тем больше находил сходства: гора, лес, ключ.

Но главное — там, в Щелыкове, приходило к нему то радостное настроение свободы, уверенности в себе и в будущем, которые он знал в юные годы, в начале литературного пути, когда они с друзьями размахивались покорить и переменить весь мир, когда так много пели, бродили по улицам, восхищались солнцем и луной и всем мирозданием... Но все это в прошлом, из старых друзей рядом почти никого не осталось — разве-ла судьба. А прежнее настроение с годами все реже и реже возвращалось к нему. За последние полтора-два десятилетия в Москве-то, пожалуй, ни дня целиком спокойного не выпало.

И вот в Щелыкове как-то удавалось ему иногда сбросить заботы, не вспоминать и не думать о неизбежных неприятностях, которыми полным-полна жизнь литератора, не служащего в государственной службе. Поэтому-то и тянуло его в Щелыково, поэтому-то и уезжал Александр Николаевич туда из Москвы каждое лето.

А сейчас он чувствовал себя свободно и хорошо, как давно не чувствовал.

«Как в Щелыкове», — подумал он.

Сейчас в Щелыкове по оврагам и в лесу снег лежит, конечно еще зимний, рассыпчатый, а на открытых местах, в полях, его уже схватило настом, и ледяная корочка сверкает на солнце, вспыхивая мгновенными колючими вспышками. А в саду и возле дома, пожалуй, появились кое-где проталины...

Александр Николаевич так ясно представил себе все это, что даже несколько удивился, когда, взглянув в окно, увидел московский переулок, а не щелыковский двор.

Но расставаться со Щелыковым не хотелось.

Он стал думать о том, как месяца через два с половиной, в середине мая, они, как обычно, поедут всем домом на летнее житье в имение.

В Москве в это время уже почти лето: густая листва, утратившая весеннюю свежесть, пыль на улицах. Старая Ярославская дорога, по кото-

рой лежит путь в Костромскую губернию, уже разъезжена, убита колесами и ногами пешеходов и тоже пылит. Но за Сергиевым Посадом, ближе к Переславлю, время как будто поворачивает вспять: мало-помалу холодает, сады и леса едва окутаны легкой зеленой дымкой, сквозь которую четко вырисовываются темные ветви, и все вокруг заливают сильный запах талой земли и свежей травы. Здесь еще весна.

Но весна совсем другая, чем в Москве. Хоть и меньше тепла, зато оно нежнее, хоть и меньше солнца, зато оно ласковее. И люди здесь радуются приходу весны как-то сердечнее.

За Переславлем есть обширное Берендеево болото. Еще в одну из первых поездок в Щелыково Островский как-то спросил на станции мужика — местного жителя, не знает ли он, почему болото называется Берендеевым.

Мужик не удивился вопросу, не полез в затылок, чтобы, почесав там в раздумье, потом изречь: «А кто его знает...», он доброжелательно сказал:

— Интересуетесь?

— Интересуюсь.

— Тут история и вправду любопытная.

Мужик рассказал Островскому предание, которое издавна знали на Переславщине.

Болото это известно с незапамятных времен. Сейчас оно велико, а прежде, в давние времена, было еще больше. Топи вокруг непроходимые, непролазные. Мало кто отваживался заходить далеко в глубь него, но все же находились такие. От них стало известно, что посреди болота есть большой остров. На острове том лес сосновый, луга, поля, деревни и живут рослые, красивые, ласковые люди. Правит тем народом добрый и справедливый царь Берендей. Мужики живут, землю пашут в свое удовольствие, ни налогов не платят, ни рекрутчины не знают. Молятся они Яриле-солнцу, и поэтому солнце к ним щедрее на тепло, чем к другим.

Закончил мужик свой рассказ так:

— Было Берендеево царство давно. Теперь кто и бывал на болоте, его не видал. А берендей,

говорят, разошлись по всей губернии и стали жить по деревням, как наши мужики.

Старинное предание запало Александру Николаевичу в душу. Его всегда поражали лица переславских мужиков — одухотворенные, значительные. И мужики, и бабы, и девки охотно вступали в разговоры, и речь вели не спотыкаясь, говорили степенно, умно.

Приглядываясь к крестьянам, Островский частенько думал: «Вон тот, наверное, из берендеев...»

В окрестных деревнях вокруг Щелькова жили сплошь берендеи, в этом Александр Николаевич был убежден.

В нескольких верстах от усадьбы, за рекой Куекшей, была широкая солнечная поляна, которую со всех сторон обступили могучие деревья. В ночь на второе воскресенье июня там бывало народное гулянье. Этот праздник местные крестьяне называли Ярилин день.

А за поляной под густыми кустами ольшаника бьет из земли ключ. Такой же, как на Яузе. Вода в нем прозрачная, голубоватая и холодная-холодная. Она как память на все лето о зиме, о прозрачных льдинках...

Яркое солнце заливало комнату, а в дальних углах, куда не достигали его прямые лучи, то и дело пробегали, прыгая, бойкие, лукаво-веселые солнечные зайчики, отраженные от чьего-то окна или от полного водой ведра, пронесенного бабой с колодца.

Солнце торжествовало.

«Настоящий праздник, — шурясь и улыбаясь самому себе, подумал Островский. — Ярилин день...»

И вдруг — как озарило: а если на сцене изобразить Ярилин день? Чем не феерическая картина?

Люди в праздничных белых, расшитых яркими вышивками одеждах по утренним неверным сумеркам сходятся на какой-нибудь высокий и широкий холм, на вершину, и стоят в таинственном и торжественном молчании, устремив взоры в сторону восхода солнца — караулят солнце.

И вот небо начинает розоветь, становится светлее, окутанные прежде туманом группы вырисовываются четче, видны узоры на праздничных нарядах, жемчуга и бисер на головных уборах.

Показывается край солнца, и тут отовсюду раздаются радостные клики приветствия.

Солнце поднимается выше, его лучи играют, переливаются в небе, разноцветными искрами вспыхивают на земле капельки росы, и среди всего этого сверкающего великолепия звучит хор радостных звонких голосов, сплетаются-расплетаются девичьи хороводы.

Ай, во поле липонька,
Под липою бел шатер,
В том шатре стол стоит,
За тем столом девица.
Рвала цветы со травы,
Плела венок с яхонты.
Кому венок износить?
Носить венок милому,
Милому-любезному,
Свет-Ванюшеньке.

И как это порой бывает, собирается одно к одному: Островский взял недавно купленную книгу русских сказок Афанасьева, раскрыл на середине и попал на сказку о девочке-снегурочке — нежной красавице из снега, погибшей в жарком пламени весеннего костра.

— Боже мой! — воскликнул Островский.— Снегурочка — прекрасное дитя Мороза и Весны! Царство берендеев! Празднество в честь Ярилы-солнца!.. Ах какую можно написать обо всем этом феерию! Нет, не феерию, феерия для султана, а про Снегурочку — сказка. Весенняя сказка!

И тотчас же заработало воображение. Прежние, давно известные вещи — песни, сказки, при словья, картинки природы, душевные движения завертелись, как фантастический калейдоскоп. Но среди всего этого вращения уже присутствовала одна постоянная мысль, которая выбирала и низала на себя все, что находилось в этом калейдоскопе нужного ей.

Петр Ильич Чайковский отпустил извозчика на Солянке, возле Опекунского совета, и дальше пошел пешком. Он шел не спеша, слегка поигрывая тростью, и встречные прохожие, наверное, думали, что этот элегантный господин прогуливается, отдыхая и наслаждаясь хорошей погодой.

А Петр Ильич просто тянул время.

О сегодняшней встрече с Островским было договорено неделю назад. Чайковский видел, как мучительно не ладится у Александра Николаевича с «Иваном-царевичем». У него самого бывали такие неудачные периоды, и поэтому он хорошо понимал состояние Островского и страдал не меньше его оттого, что приходится торопить.

Назначая на сегодня встречу, Островский обещал, что уж в этот день он наверняка даст законченное первое действие пьесы. Однако Петр Ильич был почти уверен, что законченного действия нет, как не было в прошлую и позапрошлую недели. Он представлял себе расстроенное лицо Островского и невольно замедлял шаги.

Впереди показался Яузский мост и круто поднимающаяся за ним в гору, к Таганке, Таганская улица. А немного не доходя до моста, по левой стороне, между кудрявой, украшенной лепными ангелами и гирляндами церковью и купеческим каменным домом с лавками в первом этаже обнаружился узкий Серебрянический переулок.

Чайковский вздохнул и свернул в него.

Серебрянический переулок был тихий, непроезжий; старый московский переулок, не затронутый новым строительством. У заборов и домов лежали сугробы, через которые от калиток к подметенным веничком ступенькам крылец были протоптаны тропинки. Едва начавшись, переулок делал колено, повторяя собой изгиб Яузы, вдоль которой он шел и от которой его отделял всего один ряд одноэтажных деревянных домишек с мезонинами в два-три окошка и резными наличниками. Пожалуй, кое-какие из этих домишек помнили еще те столетней давности времена, когда переулок не назывался переулком, а имено-

вался Серебрянической слободой, в которой жили тогда государевы мастера-серебряники.

В конце переулков снова загибался и выходил на набережную. Там-то последним и стоял дом Островского.

Петр Ильич постучал в дверь. (Такое нововведение, как звонок, которым уже обзавелись многие домовладельцы на Пречистенке, Спиридоновке и других центральных улицах, сюда еще не дошло.)

Дверь открыл сам Александр Николаевич.

— Петр Ильич, здравствуйте, милый. Позвольте, я помогу вам раздеться.

Островский был беззаботно весел. У Чайковского непроизвольно вырвался вопрос:

— Неужели вы вместо одного акта вашего «Ивана-царевича» написали два?

Островский улыбнулся и лихо махнул рукой:

— Я решил его вовсе не писать. Ну его к черту!

— Как? Но ведь вы проделали такую большую работу...

— Признайтесь, Петр Ильич, вам нравятся все эти феерические хитрости, что я наплел?

— Право, я не возьму на себя смелость судить...

— Вижу: не нравятся. Мне тоже не нравятся. Так зачем же нам, обливаясь слезами и проклиная все на свете, тащить дальше этот постылый воз?

Островский взял ошеломленного Петра Ильича под руку и повел наверх.

Солнце уже ушло из комнаты, но все равно было очень светло.

Закурили. Дым поплыл в приоткрытую форточку.

— Петр Ильич, вот у нас на театре, когда заходит речь о какой-нибудь особенно пышной и красочной постановке, почему-то мысль постановщиков устремляется в чужие страны, как будто у нас дома, на Руси, меньше красоты и поэзии...

Островский заговорил о Ярилином дне, о голубом ключе, о снегурочке, о берендеях...

Он рассказывал о том, как в зимнем лесу Мороз с Весною пререкаются о судьбе их дочери Снегурочки, как пастух Лель очаровывает девушек песнями, как царь Берендей расписывает травами и цветами столб в своих покоях, а гуслиры поют ему славу.

— Вы пишете вашу новую пьесу стихами? — спросил Чайковский.

— Что? — переспросил Островский, но в следующий момент рассмеялся, поняв, что его рассказ, помимо воли, приобрел ту напевность и ритмичность, которая столь свойственна народному русскому сказу. — Конечно, стихами, иначе — просто невозможно. Русская словесность издревле тяготела к ритму. Взять хотя бы «Слово о полку Игореве». По общему мнению, этот памятник не имеет определенного размера, но при внимательном чтении, по крайней мере мне так кажется, звучит определенный ритм. Именно такой ритм очень подойдет к песне слепых гуслиров.

Островский прикрыл глаза, мерно покачивая головой, полупроговорил-полупропел бессловесную мелодию, потом начал медленно, но соблюдая заданный ритм, выговаривать слова:

Вешие, звонкие струны рокочут
Громкую славу царю Берендею.
Долу опустим померкшие очи.

Ночи

Мрак безрассветный смежил их навечно...

Островский умолк и, немного помолчав, добавил:

— Мне думается, что эту песнь хорошо сделать с запевом: один голос начинает, затем подхватывает самый маленький хор...

— Да, действительно, — согласился Чайковский, — с запевом и маленьким хором. Это будет натурально, лирично, и мелодия должна быть очень проста...

Бодрое настроение Островского передалось Петру Ильичу, от давешнего тягостного состояния и неловкости не осталось и помину.

— Признайтесь, Александр Николаевич, ведь вы тут втихомолку вместо «Ивана-царевича» эту

вашу «Снегурочку» писали. У вас, видимо, уже все готово?

Островский посмотрел на Петра Ильича и громко, весело расхохотался:

— Совсем готово: только сшить, да подшить, да пуговицы пришить!

Чайковский тоже рассмеялся, но, отсмеявшись, сказал:

— Я, пожалуй, сегодня же засяду за музыку к «Снегурочке» и начну с «Песни гуслиаров». Теперь за вами задержки не будет.

— Авось...

Ровно через месяц, 31 марта 1873 года, в день своего рождения, Александр Николаевич Островский дописал последнее явление «Снегурочки», а еще через неделю начались репетиции в театре.





**ПОЭТЫ
С НИКОЛЬСКОГО
РЫНКА**

Любовь московского простого люда к чтению засвидетельствована многочисленными историческими документами. Издавна центром торговли литературой для народа, так называемыми лубочными изданиями, был Спасский мост у Кремля.

Первый автор русской новой письменной литературы Антиох Кантемир в стихотворном обращении «К стихам своим», сетуя на то, что они, весьма возможно, будут не поняты и отвергнуты современниками (вечная тема поэтов!), так рисует их судьбу:

Когда, уж иссаленным, время ваше пройдет,
Под пылью, молям на корм кинуты, забыты,
Гнусно лежать станете, в один сверток свиты
Иль с Бовою, иль с Ершом...—

и при стихах дает примечание-справку: «Две весьма презрительные рукописные повести о Бове-королевиче и о Ерше-рыбе, которые на Спасском мосту с другими столь же плохими сочинениями обыкновенно продаются».

Торговля лубочными изданиями в Москве изображена на картине А. М. Васнецова «Книжные лавочки на Спасском мосту в XVIII веке».

Продукция Спасского моста была рассчитана на своего читателя— не имевшего образования, полуграмотного, а часто и вовсе неграмотного, вынужденного ограничиваться рассматриванием картинок, но в то же время любознательного. В лубочной книге ценились занимательность и назидательность.

Большая литература развивалась своим путем, одно направление сменялось другим: сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, натуральная школа, психологический роман и так далее, а принципы лубочной литературы оставались те же.

Знаменитый московский книгоиздатель конца XIX — начала XX века Иван Дмитриевич Сытин, начав свое большое дело издания книг для народа, прежде всего обратился к традициям лубочной литературы.

Ко времени Сытина торговля лубочными изданиями вот уже более полутора столетия, как со Спасского моста, который, кстати сказать, и сам с засыпкой рва вокруг Кремля перестал существовать, переместилась на Никольскую улицу, неподалеку от прежнего места.

Множество тесных книжных лавчонок теснилось вдоль китайгородской стены, в полуподвалах старых домишек, в подворотнях. Сытин называет их точно и метко: «Никольский рынок».

Купцы, торговавшие лубочной литературой, сами выступали и ее издателями.

Никольский рынок издавал литературу на всякие вкусы и потребности: уголовные романы «Джек — таинственный убийца женщин», «Кровавые ночи Венеции», «Злодей Чуркин», «Убийство княгини Зарецкой»; исторические — «Рассказ о том, как солдат спас Петра Великого», «Битва русских с кабардинцами», «Атаман Иван Кольцо», «Ермак — покоритель Сибири»; продолжали выходить и старинные сказочные истории про Бову-королевича, Еруслана Лазаревича; издавались различные гадательные книги, сонники, письмовники — «для влюбленных», «для желающих добиться успеха в торговле», самоучители танцев, руководства — «Искусство спорить и острить», «Самоучитель всех ремесел», «Самоучитель для тех, кто хочет быть замечательным актером — артистом» и тому подобное.

Все эти сочинения издавались анонимно, то есть без указания имени автора. Такова уж была традиция лубочной литературы.

Но конечно, каждая книга имела автора. В лу-

бочном жанре работала большая группа специальных лубочных писателей, сюда, на Никольскую, они приносили свои сочинения.

Сытин, хорошо знавший всех постоянных авторов Никольского рынка, говорит, что они состояли из «неудачников всех видов», недоучившихся семинаристов, гимназистов, изгнанных за какие-либо провинности из гимназий, пьяниц — чиновников и иереев. Иные из них обладали незаурядным литературным талантом, как пример можно привести знаменитого фельетониста Власа Дорошевича, который начал свой литературный путь с романа «Страшная ночь, или Ужасный колдун», проданного Сытину за пятнадцать рублей.

Вот как Сытин описывает характер деловых взаимоотношений между автором и издателем на Никольской:

«Никольский рынок никогда не читал рукописей, а покупал, так сказать, на ощупь и на глаз.

Возьмет купец в руки роман или повесть, посмотрит заглавие и скажет:

— «Страшный колдун, или Ужасный чародей»... Что ж, заглавие для нас подходящее... Три рубля дать.

Заглавие определяло участь романа или повести. Хлесткое, сногшибательное заглавие требовалось прежде всего. Что же касается содержания, то в моде были только три типа повестей: очень страшное, или очень жалостливое, или смешное. Эта привычка покупать «товар» не читая и не читая же сдавать его в печать иногда оканчивалась неприятностями. С пьяных глаз или просто из озорства авторы всучивали покупателям такие непристойности, что издатель хватался потом за голову и приказывал уничтожить все напечатанное.

Случались, конечно, и плагиаты. Работая по три рубля за лист, никольские авторы широко прибегали к «заимствованиям». Но плагиат, даже самый открытый, самый беззастенчивый, не считался грехом на Никольском рынке».

Отношение у никольского писателя к чужому

произведению было такое же, как у простого человека к народной песне: как хочу, так и спою, ты так поешь, а я по-другому, на это запрета нет.

Поэтому и никольский писатель, вовсе не скрываясь, заявлял:

— Вот Гоголь повесть написал, но только у него нескладно вышло, надо перефасонить.

И потом выходила книжка с каким-нибудь фантастическим названием, таинственным началом и ужасным концом, в котором с трудом можно было угадать первоначальный образец.

Между прочим, «Князь Серебряный» после переработки и «улучшений» получил название «Князь Золотой».

Издатели богатели, сочинители влачили самое жалкое существование.

Никольские авторы получали по пять — десять рублей за роман в двух-трех частях.

Сытин даже удивлялся: «Ни один нищий не мог бы прожить на такой гонорар, но никольские писатели как-то ухитрялись жить и даже заливали вином свои неудачи».

Никольских писателей ни в коем случае нельзя назвать халтурщиками. Скорее, это были энтузиасты, разрабатывавшие — и надо сказать, очень умело, с большим знанием дела и психологии читателя — особый жанр литературы — лубочный, который, на мой взгляд, стоит в том же ряду литературных жанров, ничуть не ниже, чем научно-фантастический, детективный или приключенческий. Перед ним вставали и свои творческие задачи, и была своя авторская гордость, которая — увы! — слишком часто и грубо попиралась невежественными издателями. Они знали и высшую радость писательского труда — удовлетворенность своим созданием.

Тот же Сытин описывает, как один из таких авторов, по прозвищу Коля Миленький, отличавшийся удивительной робостью, принеся очередное свое произведение купцу и отдавая его приказчику (по робости он предпочитал вести переговоры не с хозяином, а с приказчиком), говорил:

— Вот что, Данилыч, голубчик... Принес тут я одну рукопись... Ужасно жалостливая штучка... Ты прочитай и пушай «сам» прочитает, а я после за ответом зайду... Очень жалостливо написано, плакать будешь...

Но была у николевских писателей еще одна, так сказать, сфера приложения литературных сил. Если лубочные романы и повести, все эти «Чародеи-разбойники», «Славные рыцари Родриги» и «Атаманы Кольцо», хотя бы оставались в виде книжек и до сих пор сохранились на полках крупнейших библиотек, причем берегутся они как редчайшие издания, то та область, к которой обращается теперь рассказ, такого следа не оставила, и подавляющее большинство произведений пропало навсегда.

Настоящий очерк посвящен поэтическому стихотворному творчеству лубочных литераторов.

У мастеровых, ремесленников, мелких торговцев — основных потребителей лубочной литературы — было двойственное и странное отношение к литературе. Сами литературные произведения пользовались у них уважением, но к сочинителям они относились с пренебрежением, и сочинительство как занятие почитали делом пустым, а иной раз даже вредным и позорным.

Когда в конце XIX века некоторые из молодых обитателей Зарядья, почувствовав тягу к литературным занятиям и ощутив в себе литературный талант, начали писать и печататься, то это им приходилось делать тайком от родителей.

Л. М. Леонов рассказывает, что его отец, известный в те времена поэт Максим Леонович Леонов, работал в отцовской лавке «молодцом»: «резал хлеб, развешивал жареный рубец по цене двугривенный за фунт», а пиджак, в котором ходил к литературным знакомым, вынужден был прятать в дворницкой. «Собираясь в кружок, — пишет Л. М. Леонов, — молодой поэт тайком переодевался у дворника, а на рассвете, возвращаясь через окно, чтоб не будить родителя, в той же дворницкой облачался в косоворотку и поддевку для приобретения своего прежнего зарядьевского обличья».

И. А. Белоусов — сын портного — первые стихи печатал, чтобы не узнал отец, под псевдонимом.

Вообще в воспоминаниях писателей из народа много страниц посвящено рассказам о тех страданиях и преследованиях, которые они терпели за свое сочинительство от родных и близких, от среды, в которой родились и выросли.

И в то же время не было у этих неразумных гонителей лучшего развлечения, чем почитать или послушать книжку; с одобрением внимали они стихотворным монологам Петрушки, в которых тот издевался над всем переевшим плешь начальством: полицейским, мелким чиновником, участковым санитарным врачом, а порой и над самим зрителем.

Но в некоторых случаях жизни стихи ими же признавались прямо-таки необходимостью. Неосознанно, конечно, но с полной доверенностью они признавали, что поэтическое, стихотворное слово скорее доходит до сердца, чем проза.

Хорошо известна древняя пословица: «Книги имеют свою судьбу в зависимости от голов их читателей». Лубочная поэзия была рассчитана на образовательный уровень и вкусы совершенно определенного круга читателей, поэтому она придерживалась и определенного круга тем и понятий. Ее сила заключалась в том, что она была нужна людям. Но, потакая вкусу своего читателя (часто грубому и низкому), она в то же время выполняла те же задачи, что и большая литература: приохочивала к чтению, возбуждала умственные и эстетические потребности.

Лубочная поэзия — очень обширная тема, здесь мы коснемся лишь некоторых ее сторон.

Никольские поэты были литераторы-профессионалы, поэтому их дело было поставлено профессионально.

В одном из номеров «Брачной газеты», издававшейся в Москве в начале века, поэт, скрывший свое имя под звучным псевдонимом Мариор (но указавший свой точный адрес: «Шереметьевский переулок, дом гр. Шереметьева, кв. 61»), поместил объявление о приеме заказов «на со-

ставление стихотворных публикаций от женихов и невест»:

Невесты, вашего вниманья!
И вас прошу я, женихи,
Иметь немного хоть желанья —
Прочеть внимательно стихи.
Я, господа, рекомендую:
Ваш стихотворный рекламёр!
Могу воспеть, не обинуюсь,
Богатство, связи, стан нль взор...
Наследство, ренту нль брильянты,
Иль голос, слаще соловья,
Характер, милые таланты —
В стихах готов прославить я.

Тут же можно прочесть и образец «стихотворной публикации от жениха»:

Грущу, страдаю, одиночеством томлюсь
И святому провиденью я усиленно молюсь:
Дай же мне отраду в жизни, утешенье и покой,
Чтобы мог иметь я радость, распроставшись с тоской.
Не поможет мне гитара, мандолина и кларнет,
Все противно мне на свете, коль подруги жизни нет.
Отзовись же, дорогая, дай свободно мне вздохнуть,
Чтоб могли рука с рукою мы пройти житейский путь!
Вот такой невесты милой А. М. К. давно уж ждет,
Он в Москве, на Красносельской, 38 лет живет.

Широко использовались услуги николевских поэтов для рекламы. Вот, например, рекламное объявление «Санкт-Петербургской парикмахерской». Крупная гравированная картина. На ступенях широкого крыльца, ведущего в парикмахерскую, под большой вывеской стоят в белых рубашках усатые мастера-парикмахеры, впереди них, на первом плане, хозяин парикмахерской — молодец в белом кафтане, блестящих сапогах, усы, короткая бородка, волна кудрей откинута назад — настоящий гусяр Садко с оперной сцены. По сторонам крыльца большие фонари и тумбы с вазами, украшенные золочеными гирляндами цветов. Под этим изображением стихи:

На Страстном бульваре, ставят где пиявки,
Господа, вы брейтесь, там же и стригитесь,
Очереди ждите, но не бойтесь давки,
И оттуда каждый выйдет, словно витязь.
И бритве, и стрижка десять лишь копеек,

Вежеть, конечно, и души бесплатно.
Обстановка — роскошь; мастеров прекрасных
Человек я двадцать у себя поставил,
Посему я жду вас. Ваш Артемьев Павел.

Услуги поэтов требовались также для сочинения эпитафий, поскольку надпись в стихах на памятнике представлялась более трогательной, чем в прозе. Об эпитафиях уже писалось немало, да и сейчас они иногда встречаются на старых кладбищах, поэтому здесь не будем на них останавливаться.

Гораздо менее известны стихи «на случай» другого рода — стихи поздравительные к общим праздникам — пасхе, рождеству, Новому году, к семейным датам и торжествам. А их требовалось и сочинялось немало, гораздо больше, чем эпитафий. Правда, эпитафии высекались на камне, гравировались на стали, лились из чугуна, что обеспечивало им долгое существование.

Материалом для этого небольшого этюда о поздравительных стихах конца XIX — начала XX века, созданиях безымянных поэтов Никольского рынка, послужили воспоминания большого знатока московского быта И. А. Белоусова и стихи, попадавшие в изданиях того времени и старых рукописях.

Итак, поздравительные стихи.

В той простонародной среде, о которой идет речь и для которой писали никольские прозаики и поэты, на грани XX века поздравление в стихах стало считаться хорошим тоном.

В московских трактирах на масленицу полковые, как рассказывает Белоусов, имели обыкновение поздравлять посетителей, поднося на блюде карточку с соответствующим рисунком, наименованием трактира и стихами.

В одном из таких поздравительных стихотворений утверждалось:

Мы для масляной недели
Каждый год берем стихи
И без них бы не посмели
С поздравленьем подойти.

От трактирного поздравления требовалась некоторая выдумка: тут надо было и посетителям

пожелать «благополучий», и хозяйский интерес соблюсти: ведь заказчиками-то стихов выступали тракторщики.

Самым простым приемом была реклама с перечислением имеющихся блюд:

Снова праздник,— прочь печали,
Будь веселье в добрый час.
Мы давно дней этих ждали,
Чтоб поздравить с ними Вас
И желать благополучий,
Время шумное провесть,
А у нас на всякий случай
Уж решительно все есть:
Наши вина и обеды
Знает весь столичный мир,
И недаром чтили деда
Лопашева сей трактир.

Обещали также хорошее обслуживание — «с почтением»:

С почтеньем публику встречает
Большой Московский наш трактир.

Но поэт старался вырваться из тесных рамок торговой рекламы, и тогда рождались целые лирические картины, в которых можно обнаружить знакомство автора с классической поэзией XIX века. Вот, например, образчик, где явно отразились почитаемые в Москве Языков и Вяземский, но в то же время это стихотворение — поэтическое приветствие наступившей масленице — произведение чистейшего никольского стиля:

Ликует град первопрестольный,
Разгулу дав широкий взмах,
И пенной чары звон застольный
Под говор праздничный и вольный
Звенит на всех семи холмах.
И этот звон, сливаясь вместе,
Волной могучею встает —
О русской масленице вести
По свету белому несет.
Гремит серебряным набором
Ямская сбруя на конях,
И москвичи с веселым взором,
Блестая праздничным убором,
Летят в разубранных санях.
А тройка мчится на приволье
Стрелой, порывисто дыша,—
Простора просит и раздолья
Живая русская душа...

В Большом Московском, пир справляя,
Все веселится, как в гульбе...
Здорово ж, гостя дорогая,—
Привет, родимая, тебе!..

Как и романисты, николевские поэты использовали классические образцы, заимствуя образы, строки, размер, но «перефасонивая» на нужный лад. В одном пасхальном стихотворении, образцом для которого послужило стихотворение И. И. Козлова «Вечерний звон», неожиданно прозвучали бунтарские мысли о всеобщем равенстве. Возможно, мечты юности какого-нибудь спившегося чиновника из недоучившихся семинаристов.

Ранний звон,
Заутрень звон,
Какую радость
Будит он!

Тебя скорей
Спешу обнять
И счастье, радость
Пожелать.

Затем и всех
Обнимем мы
И вспомним тут,
Что все равны.

Обычно сочинители поздравлений довольно хорошо владели стихом, не сбивались с размера, соблюдали рифму. Но поскольку главное требование заказчика заключалось в том, чтобы «было складно», то иногда стремление к соблюдению рифмовки приводило к смешным оговоркам.

Динь-динь-динь! Вот полночь бьет:
Новый год, друзья, идет!
Мчится в снежных облаках,
С полным коробом в руках.
Много в коробе лежит,
Всех он щедро одарит!
Много радостей и бед,
И чего-чего там нет!

Конечно, «много радостей и бед» — не очень-то подходящее сочетание для новогоднего подарка, но тут уж повела рифма. Ничего не поделаешь: стихи!

Но особенно трогательно звучали стихи в устах дочки или сына-малютки, поздравлявшего родителей. Для этого случая тоже предлагались соответствующие стихи.

Вот поздравление от лица дочери, обращенное к матери:

Для тебя цветов растила,
Для тебя и сберегла;
Утром рано поливала,
От ненастья охраняла,
От жары оберегала;
И тебе вот поднесла.

Забот было с ним немало,
Много дум было о нем:
Листья все я обмывала,
Стебель тонкий подпирала,
Насекомых истребляла
Вспрыскиваньем табаком.

Если за простым растением
Должен быть уход такой,
То с каким же ты терпением,
И заботой, и умением,
Ежедневным попечением
Охраняла мой покой!

За все хлопоты, заботы,
За сердечный уход твой
Я желаю: долги годы,
Чтоб ни горесть, ни заботы —
Жизни всякие невзгоды —
Не мрачили твой покой.

Стихотворение во всем — и в том, что оно говорит о цветке, и в сложной и обильной рифмовке с преобладанием женских рифм, придающих стихам дополнительную певучесть — как бы служит для выражения нежных дочерних чувств.

Зато поздравление отца сыном выдержано в более жестких, мужских тонах, в нем есть даже что-то военное, и рифмы преобладают мужские.

Мой папашечка дружок!
Вас приходит поздравлять
Ваш малюточка-сыночек
И вам счастья пожелать!

Я подарка не имею,
Чтоб папаше подарить,

Но от сердца я умею
О нем Господа молить!

Хоть я мал, но ласки ваши
Понимать уж мне пора;
Вы, голубчик, счастье наше!
Да хранит вас Бог — ура!

Можно представить, как бывал растроган «папашечка».

Не ради курьеза, хотя в них можно найти много курьезного, приведены здесь эти старые поздравительные стихи. Они — частица литературного быта старой Москвы и более того — частица истории великой русской литературы, они — живая модель важнейшего факта в ее истории — перехода устного фольклора в письменную литературу, факта, без которого не было бы ни Пушкина, ни Достоевского.

А кроме того, они сами по себе — любопытная и яркая картина одной из сторон былой народной жизни.



**БАЛЛАДЫ
БУТЫРСКОЙ
ТЮРЬМЫ**

Как раз в те самые годы, когда в Англии, в Рэдингской тюрьме, ее узником Оскаром Уайльдом была создана знаменитая поэма «Баллада Рэдингской тюрьмы», московская Бутырская тюрьма стала местом и причиной создания нескольких замечательных произведений русской поэзии.

Поэма Оскара Уайльда — вопль отчаяния и стон покорности. Он пишет:

В тюрьме растет лишь Зло, как севы
Губительных стеблей.
Одно достойно в том, кто гибнет
И изнывает в ней:
Что в ней — Отчаяние — сторож,
А Горе — спутник дней.
...Те гибнут, те теряют разум,
И все должны молчать.

(Перевод В. Брюсова)

Совсем иные баллады создавались в Москве...

«Извозчик подвез Нехлюдова не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к тюрьме.

Несколько человек мужчин и женщин, большей частью с узелками, стояли тут же на этом повороте к тюрьме, шагах в ста от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьем ходил взад и вперед, строго окрикивал тех, которые хотели обойти его».

Это из романа Л. Н. Толстого «Воскресение», из описания поездки Нехлюдова в Бутырскую тюрьму на первое свидание с Катюшей Масловой.

На иллюстрации Л. О. Пастернака к этой сцене романа мы видим стену и башню Бутырской тюрьмы, и толпу с узелками, и ворота, окованные железом, и сбоку них икону под двускатной кровелькой, какие стояли когда-то на Руси при дорогах, и солдата с ружьем... Художник рисовал тюрьму с натуры, как с натуры описывал ее и Лев Толстой.

Окруженная могучими кирпичными стенами с круглыми башнями по четырем углам, с виднеющимися из-за стен тюремными красными корпусами с маленькими окнами, забранными решеткой с такими толстыми прутьями, что даже очень издалека можно четко различить ее черные клетки, Бутырская тюрьма, или, как она называлась официально, Московский губернский Бутырский тюремный замок, была самой известной московской тюрьмой. Кроме содержащихся в ней собственно московских арестантов через «Бутырки» проходили все этапы, следующие через Москву, поскольку тюрьма была также и пересыльной.

Красную громаду Бутырской тюрьмы, возвышавшуюся над одноэтажными домишками и избами Лесных и Миусских переулков, знали все москвичи, потому что каждому из них когда-либо обязательно да доводилось побывать за чем-нибудь в обширном этом районе города, раскинувшимся от Тверской заставы до Миусского кладбища. А тюрьма тут была видна отовсюду.

Во времена Петра I здесь, в далекой и пустынной тогда загородной местности, поставили сарай для содержания солдат-арестантов. И с тех пор начала существовать в подмосковной Бутырской слободе тюрьма.

Екатерина II, совершенствуя государственное устройство России, повелела построить в Москве тюрьму, или, как ее именовали, «замок к содержанию несчастновинных», отвечающий современным требованиям гуманности.

Проектировал замок знаменитый архитектор

М. Ф. Казаков, строитель здания сената в Кремле, Московского университета на Моховой, Дворянского собрания с его замечательным Колонным залом (ныне Дом союзов). Так что Бутырская тюрьма кроме всего прочего является также выдающимся памятником архитектуры и строительства.

Бутырская тюрьма по проекту Казакова представляла собой не только грандиозное, но и всесторонне продуманное сооружение: тут предусматривались специальные «комнаты для содержания под стражею подозреваемых», и специальные «темницы для преступников», и «особливая тюрьма», и много других помещений...

В конце 1780-х годов Бутырский замок принял первых узников.

Шли десятилетия. Бутырская тюрьма никогда не пустовала, слух о ней распространился по всей России. Тюрьма обрастала легендами. Одну из ее башен называли Пугачевской, потому что будто бы в ней сидел Емельян Пугачев. (В действительности тюрьма была построена полтора десятка лет спустя после его казни.) Арестанты, попавшие в Пугачевскую башню, гордились этим перед другими. Горькое тщеславие!..

В последние годы XIX века, к которым относится действие нижеследующих рассказов, в годы начала подъема революционного движения, Бутырская тюрьма представляла собой всероссийскую пересылку.

«Варшавянка»

На всех российских этапах бытовала поговорка: «В Москве побывать — «Бутырок» не миновать».

В конце февраля 1897 года через Москву везли направляемых в сибирскую ссылку членов петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Петербуржцы попали в Часовую башню. В ее трех этажах кроме общих камер были одиночки, но двери камер не запирались. Это были стран-

ные и никогда более не повторявшиеся в истории «Бутырок» полтора-два года либерального и мягкого режима, удивлявшие как предыдущих обитателей пересыльной тюрьмы, так и последующих.

В башне ожидали отправки в Сибирь и на Север несколько сот человек «политических». Было здесь, надобно сказать, тесновато. Весь день люди бродили по этажам, гуляли в маленьком прогулочном дворике, примыкавшем к башне. Повсюду звучали смех, говор, споры. Все здесь или знали друг друга, или имели общих знакомых, или хотя бы слышали друг о друге.

Разговоры по большей части вертелись вокруг работы «на воле», рассказывали любопытные приключения о том, как водили за нос полицию, вспоминали, как кто был арестован, анализировали вопросы следователей, пытались установить, что или кто послужил причиной провала. Конечно, рассказывали и анекдоты, иногда философствовали, но для серьезной умственной работы и учебы пересыльная камера была местом не очень подходящим.

Когда петербуржцы Старков, Ванеев, Кржижановский и Запорожец — молодые, каждому из них было немногим больше двадцати лет, взволнованные тем, что они снова вместе, что никто из них и не помышляет отойти от революционной борьбы, полные надежд на будущее — появились в Часовой башне, то они — и это получилось как-то само собой — стали центром камерной коммуны.

Сразу же пошел обмен новостями.

Они узнали, что вскоре после них был разгромлен и московский «Рабочий союз», но взяты не все: товарищи продолжают работу. На воле и сестра Ульянова, Анна Ильинична, — она держит связь с тюрьмой, организует передачи и свидания.

— Простите, а Ульянова среди вас нет? — подойдя, спросил невысокий, с мягким, интеллигентным лицом, в простых, дешевых, как у сельского учителя, очках человек.

— Нет, — ответил Кржижановский. — Он по-

лучил проходное свидетельство и едет за свой счет.

— Восточная Сибирь?

— Да, три года.

Человек вздохнул:

— Ну ладно, на воле не удалось встретиться, может, в Сибири встретимся. Простите, я не представился: Николай Евграфович Федосеев.

— Николай Евграфович! — обрадованно воскликнул Кржижановский. — Заочно мы вас все давно-давно знаем. Сколько разговоров о вас было! Владимир Ильич часто поминал вас, мы же занимались самообразованием, читая по вашей «казанской программе». Знаете, Владимир Ильич очень жалел, что не удалось встретиться с вами во Владимире.

— Я тоже сожалел. И такая глупая неприятность: в тот день меня должны были выпустить из тюрьмы, но, как нарочно, заболел служащий, оформляющий документы, и освобождение задержали на один день. Теперь-то время будет: у меня пять лет ссылки.

— У вас тут все время такой содом? — спросил Кржижановский.

— Все время. Перепутье. Ведь мы намолчались в одиночках, в недалеком будущем насладимся разлукой в предназначенных нам «отдаленных местностях империи», потому и содом, пока можно.

Кржижановский продекламировал:

Всех, как снежиночек в поле,
Буйный нас вихрь разметал.

— Вот-вот, именно так, как говорится в этих стихах. Впрочем, кто хочет, может и поработать. Я тут кое-что написал. Несколько статей, продолжаю труд о реформе.

— Вы, Николай Евграфович, хотя и старый, не то, что мы, революционер, но все равно вызывает удивление, как вы в таких условиях, в тюрьме, в ссылке, можете писать глубокие научные работы!

— Опыт, — смущенно улыбнулся Федосеев. — Достоинства моих работ вы преувеличиваете, но с годами и вы привыкнете к любым условиям.

Петербуржцы быстро освоились в Часовой башне. Правда, в безалаберную вольницу камерной жизни они внесли одно изменение: камера на третьем этаже, где помещался ранее Федосеев и поселились они, стала неким оазисом тишины. Сначала то один, то другой из них взывал:

— Товарищи, тише, имейте совесть! Просто читать невозможно.

В конце концов нарушители тишины сочли за благо перебраться в другие помещения, где им никто не мешал шуметь и кричать, как они хотели.

Любители же чтения, наоборот, вселились на третий этаж.

Так появились в камере трое поляков-интеллигентов из польской социалистической партии — Стржецкий, Петкевич и Абрамович.

Иногда они пели хором «Червоны штандарт» и «Варшавянку» — песни, с которыми польские рабочие выходили на демонстрации. Чаще всего «Варшавянку».

Вперед, Варшава!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш, Варшава!

Эта песня очень нравилась Кржижановскому, он не раз просил польских товарищей петь ее и сам подпевал.

— Ну, опять наш поэт (Кржижановского друзья, поддразнивая, называли поэтом, они знали, что он пишет стихи) удовлетворяет свои эстетические потребности, — смеялся Старков.

— Не только эстетические, но и социальные, — ответил Кржижановский. — Я попросил перевести, о чем они поют. Вот что поется в «Варшавянке»:

Теперь, когда рабочий народ погибает с голоду,
Всякий сброд в роскоши утопает, как в болоте.
И позор тому из нас, кто в молодые годы
Бойтся встать на эшафот!

О, не без следа каждый из нас погибнет,
Кто жизнь делу отдает в дар,

Ибо наша победная песнь их имена
Миллионам людей передаст.

Такие слова да с таким мотивом — это же сила, которая любого поведет за собой:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш!..

— Песня — великолепный агитатор, — сказал Федосеев. — Она занимает почтенное место в нашем арсенале. Вспомните те песни, что сочинял Рылеев, потом Полежаев, студенческие наши песни. Нет, силу песни нельзя недооценивать. Правда, у нас, русских, к сожалению, нет еще революционных пролетарских песен, таких, как «Красное знамя», «Варшавянка». Хотя наш народ в своих песнях политических тем не чуждается.

— Сатира свойственна русской народной песне.

— Не только сатира. В Тотемском уезде в прошлом году я записал несколько песен. Конечно, большинство песен лирического плана, но есть и повествовательные и исторические. Между прочим, попалась песня даже про то самое место, где мы находимся.

— Про тюрьму?

— Еще более конкретно: про Бутырскую тюрьму.

А не в Москве ли было, под Москвой,
Близь заставушки Тверской,
Тут стоят четыре башни,
Посредине крепкий дом,
Коридорчик тут крест-накрест,
Все народ-от живет вор.

— Однако тут политикой не пахнет.

— Политическая — другая песня. Вернее даже сказать — историко-политическая, про декабристов. Путаница, конечно, страшная. Но сквозь эту путаницу угадываются очень отчетливо действительные исторические факты: замешательство с престолонаследием, военный характер восстания, замысел декабристов взять сенат, даже

то, что виднейшей фигурой среди них был Пестель. Правда, непонятную фамилию переделали в понятный русский — Пестерь. Хотите, прочту? — Пожалуйста, это очень интересно.

Федосеев начал читать, выговаривая слова на «о», как говорили в Тотемском уезде.

Не в показанное время,
Не в показанны часы
Царя требуют в сенат.
Царь недолго собирався,
На почтовых отправлялся.
Брат брату наказал,
Чтобы за ним в погоню гнал.
Что богатый Константин,
Да он по комнатам ходил,
Да книгу страшную носил.
Книга страшная — пророк:
Да царь навряд придет домой.
Что богатый Константин
Да нанял тройку лошадей,
Одинаких, вороных.
Ко сенату подъезжал,
Круг сената сторожа.
«Уж вы, здравствуйте, ребята,
Часовые сторожа!
Не видали ли царя?»
Все сказали: «Не видали.
Не прохаживал царь сюда».
Кой сзади-то стоял,
Только глазком помигал,
Того чином возвышал.
Двои двери выставлял,
Третьи открывал:
Да на коленках царь стоял,
Перед ним стоит полковник,
По фамилии граф Пестерь.
Держит саблю на весу:
«Царю голову снесу».
Что спасибо тебе, брат,
Что не забыл ты, брат, меня,
Кабы ты забыл меня,
Здесь бы тело схоронил я.

Дни шли за днями. Из Часовой башни одних отправляли на этап, поступали новые арестанты. Обычно на пересылке задерживались недели на две — на три, самое большее — на месяц. Скоро должна была подойти очередь петербуржцев и Федосеева.

Однажды Кржижановский сказал Федосееву: — Чтобы и мы, русские, могли петь «Варша-

вянку», я перевел ее на русский язык. Правда, я довольно существенно переработал польский текст. Все образы, чуждые сознанию пролетариата, я отбросил, стараясь наполнить песню пролетарским революционным содержанием.— И он протянул Николаю Евграфовичу листок бумаги с переписанными на нем стихами.

Пока Федосеев читал, Кржижановский пылливо вглядывался в его лицо. Николай Евграфович прочел до конца, потом перечел снова.

— Я — не знаток в поэзии, но, по-моему, очень хорошо. Очень хорошо!

Кржижановский прочитал свой перевод «Варшавянки» вслух всей камере.

— Знаешь, Глеб,— предложил Старков,— ты пока больше никому не показывай стихов: устроим товарищам сюрприз — исполним хором русскую «Варшавянку» в общей камере.

Все с восторгом приняли эту идею.

Но замыслу петербуржцев не суждено было осуществиться.

На следующее утро дежурный надзиратель сказал:

— Сегодня будет этап.

Затем пробежал по камерам писарь и объявил фамилии отправляемых.

После обеда предэтапная суета замерла, все собрались и в томлении ждали вызова.

Наконец внизу послышался голос помощника начальника тюрьмы:

— Выходить! Стройся по два!

— Эх, жаль не удался наш план с хором,— вздохнул Старков.— А так хорошо бы — премьера в тюремном замке.

— Еще не поздно,— сказал Стржецкий,— пока мы еще находимся именно в тюремном замке.

— И правда! — воскликнул Старков.

— А чтобы не помешали, я пока подержу дверь,— сказал медлительный, обладавший огромной физической силой Абрамович.

Старков запел. Все подхватили:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,

В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы подыдем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Песня была, конечно, услышана во всей башне.

Снизу неслись какие-то крики.

Надзиратели били в дверь, но Абрамович сдерживал их напор.

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота лугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песней победной
Станут священны миллионам людей.
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

В короткие перерывы между строфами на третьем этаже слышали, что подпеваает вся башня и даже как будто в соседнем корпусе тоже подхватили припев.

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.
Мечь беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Только после того, как «Варшавянку» допели до конца, Абрамович отошел от двери.

Все тесной группой, плечом к плечу встали рядом, чтобы в случае чего дать отпор. Надзиратели ворвались в камеру, вбежал помощник на-

чальника тюрьмы. Надзиратели остановились, ожидая его команды, но он взглянул на решительные лица арестантов и, отведя глаза, закричал:

— На этап! Скорее! Разберитесь по двое, выходить из камеры!

«Смело, товарищи, в ногу!»

18 февраля 1898 года Леонида Петровича Радина после объявления приговора — два года ссылки в Вятскую губернию — перевели, как это делалось обычно, из одиночки Таганской тюрьмы в общую камеру Бутырской пересылки.

Целый год и три месяца прошло с того дня, как его арестовали. Случилось это в ночь с 10 на 11 ноября 1896 года.

В тот ночной час окраинный и глухой Теплый переулок, кривым коленом спускавшийся от Хамовнического плаца к Москве-реке, где Радин снимал в доме Богдановой две комнаты с отдельным входом, давно уже спал крепким сном. Лил дождь. Дул ветер. В палисадниках скрипели, раскачиваясь, черные деревья. Тусклый фонарь еле-еле освещал возле себя небольшой пятак.

Радин как раз собирался ложиться спать, погасил лампу и взглянул в окно. Он увидел, что по переулку, увязая в грязи, медленно двигались пять темных человеческих фигур. Они остановились против его окна. Леонид Петрович сразу понял, что это значит. И хотя каждый вступающий на путь революционной борьбы, и он в том числе, знал, что рано или поздно этот момент наступит, и каждый в душе готовился к нему, все равно — екнуло сердце.

Внизу дернули ручку звонка. Звякнул колокольчик.

Радин зажег лампу, спустился.

— Кто там?

— Полиция.

Он открыл дверь. В упавшей на улицу полосе света блеснули погоны, лаковые козырьки

фуражек, ремни портупеи. Полицейские поспешно вломились в переднюю, окружили его.

— Вы Леонид Петрович Радин? — спросил полицейский офицер.

— Да.

— Вы арестованы. Вот ордер на арест и обыск.

При обыске забрали книги, химические реактивы, краску для мимеографа, рукописи...

Радина доставили в Таганскую тюрьму и поместили в одиночную камеру.

Три дня он мучился неизвестностью: насколько велик провал, кого арестовали, что известно полиции? Но первый же допрос принес ясность.

Взяли всех основных работников московского «Рабочего союза»: Сашу Орлова, Корчагина, Семенова, Синицына, Калачевскую, Федорова, Горюшина, Сеславинского — это те, с кем непосредственно входил в контакт Леонид Петрович и с кем вместе его видели шпики. Но по вопросам следователя он догадывался, что аресты проведены шире.

По тем же вопросам он догадался, что взятые держатся на допросах так, как договаривались: не называть имен, еще не известных полиции, признаваться только в том, что известно полиции и подтверждено уликами, и брать на себя вину только в одной определенной форме противозаконной деятельности, отрицая все остальное. С точки зрения юридической: одно какое-нибудь нарушение закона влечет за собой несравненно более мягкое возмездие, чем совокупность нескольких проступков.

По предварительному уговору Радин брал на себя печатание нелегальной литературы на специальные темы, Орлов — устные беседы и составление по просьбам рабочих писем-обращений, Калачевская — хранение частей и материалов для печатных устройств (причем она должна была настаивать, что делала это из хорошего отношения к человеку, попросившему поддержать его вещи, а что именно хранится в корзине, она якобы не знала) и так далее.

Уговор все, как понял Радин, выполняли.

На первом допросе жандармский поручик пытался заставить Радина признать, что он играл руководящую роль в московском «Рабочем союзе», Леонид Петрович же охотно признавал за собой только печатание хотя и не разрешенной цензурой, но не призывающей к беспорядкам, а научной социалистической литературы: «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса и труда по кооперации — «Касса. Для чего она нужна рабочим и как ее устроить». (Этого отрицать было невозможно, так как при обысках забрали по несколько сот экземпляров той и другой брошюры.)

— Значит, вы, Леонид Петрович, отрицаете, что занимались революционной пропагандой среди рабочих? — вкрадчиво говорил поручик, поигрывая карандашом.

— Я учитель воскресной школы и литератор. Преподаю химию, физику, пишу книги, статьи в журналах.

— Знаем, знаем, Леонид Петрович. Читали ваши произведения. Вот эту книжечку, например. Называется она «Начатки химии». Однако очень странная химия, первый раз читаю такую. В других химиях пишут про кислород, водород, метилгидрат какой-нибудь, а у вас что ни страница, то рассуждение, никакого отношения к химии не имеющее. Одно у меня тут отмечено особо. Вот это, на сто девяносто второй странице: «Чем больше узнает человек, тем ему становится яснее и понятнее, что для него полезно и что вредно. А раз он это узнает, так, конечно, постарается устроить так, чтобы ему жилось полегче и попривольнее. Да не только о себе, и об других тоже подумает, как бы их жизнь лучше устроить. Наука, братцы, и этому людей учит». Что же это за «наука», позвольте спросить? Неужели химия?

— Наука вообще.

— Ах, вообще! Нам по долгу службы очень желательно знать о ваших занятиях именно этой «наукой». Нам известно, что вы — один из руководителей московского «Рабочего союза».

— Ошибаетесь, господин поручик,— спокойно ответил Радин,— я только учитель. Учитель воскресной школы.

— Если бы вы были учителем, то не сидели бы здесь,— сказал поручик и бросил карандаш на стол. В его голосе прозвучало раздражение.— Я вижу, Леонид Петрович, вы сегодня не расположены к беседе. Хорошо, поговорим в другой раз. У вас будет возможность подумать, припомнить различные обстоятельства, имена некоторых ваших знакомых. Меня интересует, как вы жили и чем занимались после переезда в Москву, то есть с осени девяносто второго года.

Следующий допрос состоялся через месяц. Леонид Петрович имел время для размышлений и воспоминаний.

В 1892 году арестовали его младшего брата, Евгения, студента Петербургского университета. При обыске нашли гектограф, много всякой нелегалщины.

Против самого Леонида Петровича в руки полиции не попало никаких улик, но к тому времени он был уже довольно опытен и знал, что оставаться в Петербурге опасно. Он уехал в Москву.

На квартире, куда его провели через десяток проходных дворов, которыми так богата Москва, Леонид Петрович встретился с членами комитета, руководившего рабочими кружками.

Он был старше каждого из них почти вдвое. Его возраст и солидный вид сначала мешали разговариваться. Все комитетчики — студенты или недавние студенты — чувствовали себя перед ним как на экзамене у профессора. Но мало-помалу ледок отчуждения сломался, и начался настоящий разговор.

— Не хватает нелегальной литературы,— жаловались комитетчики,— нужны воззвания, прокламации, брошюры, а печатать их трудно. Печатаем на гектографе, но, сами знаете, больше тридцати экземпляров на нем не получишь. К тому же вид у гектографированных листков

неважный: буквы рукописные, бледные, расплывчатые. Рабочие к таким прокламациям относятся с недоверием, вроде как к фальшивым деньгам.

— Нужна своя тайная типография,— заключил один из комитетчиков — студент Николай Величкин.

— И сейчас мы ведем работу в этом направлении,— сказал другой — Владимир Бонч-Бруевич.

— Типография — первая необходимость в нашей деятельности,— согласился Радин.— Я тоже думаю кое-что предпринять в этом же направлении. Будем поддерживать связь. Поселился я в Хамовниках, в Теплом переулке, дом потомственной дворянки Богдановой, во флигеле. Там во дворе есть такая галерейка с окошечком, через нее вход ко мне. Но прошу всегда обращать внимание на окно: если на нем стоит горшок с цветами, значит, я дома и все в порядке. Если же цветка нет, входить поостерегитесь.

Несколько недель спустя Бонч-Бруевич и Величкин пришли к Радину.

— Ну, как у вас дела с типографией? — спросил Радин.

Величкин махнул рукой.

— Плохо,— сказал Бонч-Бруевич.— Шрифта мало, станка нет, помещения подходящего тоже...

— Познакомьтесь-ка, друзья,— и Радин протянул им глянцевую рекламную тетрадочку.

Это была реклама нового изобретения Эдисона — печатного аппарата — мимеографа, на котором, как утверждалось в рекламе, можно быстро и удобно, без всяких особых приспособлений воспроизводить тысячи оттисков размером до писчего листа. Вид у оттисков был такой, словно они вышли из типографского станка. К тому же мимеограф был невелик и легко уместился в чемодане среднего размера.

— Стоит ли возиться с громоздкой типографией, когда существует такая удобная вещь? — улыбнулся Радин.

— Это то, что нам нужно! — сразу загорелся Николай Величкин.— Но где его достать?

— Продается в магазине Блока на Кузнецком мосту,— ответил Радин и тут же добавил:— Однако нам приобрести его нельзя. За каждым проданным аппаратом полиция устанавливает наблюдение.

— Как же быть?

— Сделать самим.

Бонч-Бруевич повертел в руках рекламу:

— Но тут ничего не сказано об устройстве. Даже о принципе работы ни слова.

— Нужно разузнать принцип работы, устройство, состав краски и все остальное,— сказал Радин.— Предлагаю план действий...

И вот однажды в солнечный весенний день в магазин «Товарищество на паях Ж. Блок — единственный в России склад американских машин» вошли четверо молодых шалопаев, одетых в шегольские костюмы для езды на велосипеде. Их сопровождал пожилой солидный господин.

В этой шумной компании трудно было узнать членов комитета московского «Рабочего союза» и Леонида Петровича Радина. Но это были именно они.

— Племянникам понадобились новые велосипеды,— сказал господин приказчику.— Да и меня на старости лет убеждают заняться велосипедным спортом.

— Дядюшка! — воскликнул один из племянников.— Сам Лев Толстой ежедневно ездит на велосипеде!

— Раз уж сам Лев Толстой, то ничего не поделаешь,— улыбнулся дядюшка.— Подберите нам, пожалуйста, пять хороших машин.

Заметив, что в магазине появился богатый покупатель, из конторы вышел сын владельца магазина — молодой Блок.

Начался осмотр и выбор велосипедов. Молодой Блок разливался соловьем: мол, у них лучшие товары, их магазин — единственный представитель крупнейших зарубежных фирм. Наконец велосипеды отобраны, договорились о це-

не, и дядюшка, попросив упаковать их, сказал, что завтра с утра придет за ними.

Племянники между тем с любопытством рассматривали заполнявшие магазин диковинные машины.

— Ну и магазин у вас! Чего-чего только нет!

— А это что такое? — спросил один из племянников, остановившись у мимеографа.

— Мимеограф, — охотно объяснил молодой Блок, — изобретение великого Эдисона. Имеются только у нас.

— Кому нужна такая игрушка! — пренебрежительно заметил другой племянник.

Блок обиделся:

— Как игрушка? Великолепный портативный печатающий аппарат, необходим присутственным местам, конторам — да всем учреждениям! Смотрите, вот — двухтысячный оттиск, вот — четырехтысячный...

Оттиски действительно были хороши. Блок прочел целую лекцию об аппарате, открыл крышку и продемонстрировал внутреннее устройство. Затем он приказал показать мимеограф в действии. Механик принес краску, бумагу и на глазах присутствующих начал печатать какой-то циркуляр.

Восхищенные велосипедисты толкались вокруг, всюду совали нос. Один незаметно отковырнул кусочек мимеографической краски, другой положил в карман клочок специальной бумаги, при помощи которой текст переводится на обычную. Дядюшка поглаживал блестящий металл и измерял размеры деталей.

На прощание Блок подарил каждому по отпечатанному экземпляру циркуляра.

Велосипедисты с дядюшкой вышли на многолюдный Кузнецкий мост и в одну минуту растворились в толпе.

Но когда вечером все собрались у Радина в его флигеле и разобрали добытое в магазине Блока, оказалось, что всего этого для постройки мимеографа еще мало: неизвестными оставались скрытые части аппарата, неизвестен материал, из которого сделаны отдельные детали, неиз-

вестно изготовление специальной бумаги, которую Блок продавал только вместе с мимеографом, и состав краски...

Молодые люди приуныли. Однако Леонид Петрович не падал духом.

— Главное, нам известен принцип действия аппарата,— сказал он.— Смонтируем сами.

Возвращаясь домой, Николай Величкин со вздохом говорил Бонч-Бруевичу:

— Нужно быть Эдисоном, чтобы снова изобрести мимеограф...

— Если Леонид Петрович берется, значит, сделает,— ответил Бонч-Бруевич.— Его сам Дмитрий Иванович Менделеев приглашал работать в свою лабораторию.

Летом мимеограф был готов. Его установили на квартире Величкина в Ольховском переулке.

Для начала решили отпечатать брошюру «Московские стачки».

С замиранием сердца Николай Величкин снял первый лист. Оттиск получился великолепным. Нашли блоковский циркуляр, сравнили.

— Наш лучше! — заключил Бонч-Бруевич и повернулся к Радину: — Ведь лучше, Леонид Петрович?

— Я внес в аппарат Эдисона кое-какие усовершенствования,— ответил Радин.— Теперь на этом же мимеографе отпечатываем его чертежи и разошлем местным комитетам, пусть изобретение американца послужит делу революции.

На втором допросе Леонид Петрович обстоятельно и исчерпывающе обрисовал свою деятельность в московском «Рабочем союзе» в том свете, в каком он хотел, чтобы видели ее жандармы.

«Глубоко сочувствуя тяжелому экономическому положению русского рабочего,— написал он в объяснительной записке,— я считал и раньше своим нравственным долгом помочь ему, насколько это было в моих силах, уяснить себе свое экономическое положение и те мирные средства борьбы с предпринимателями, которые облегчили бы ему достижение должного матери-

ального достатка, более короткого рабочего времени и т. п., а также избавили бы его от мер порою незаконных взысканий, штрафов и всякого рода поборов, которыми по своему произволу облагают его часто мастера и фабриканты. Лучшим средством для достижения этой цели я считал распространение в среде рабочих такой литературы, которая выясняла бы им их ближайшие нужды и потребности, а равно и те средства, при помощи которых они могут всего скорее и легче удовлетворить их.

Не имея возможности говорить об этом рабочему путем легальной литературы, я задумался целью организовать издание нелегальных книг и брошюр с помощью недавно изобретенного Эдисоном прибора — мимеографа. С этой целью я постарался ознакомиться с общей идеей этого прибора и всеми техническими деталями этого способа воспроизведения раз напечатанного текста.

Когда выяснилось, что этим путем можно достигнуть довольно хороших результатов, я приступил к практическому осуществлению своего намерения. Этому помогло одно случайное обстоятельство. В июне 1896 года я ближе познакомился с рабочим Тимофеем Орловым, которого ранее видел только раз или два у г-на Сеницына. Когда мы с ним встретились, он крайне нуждался в заработке, и мне нетрудно было уговорить его взяться за дело воспроизведения печатных оттисков на мимеографе...

Мало интересуясь лично непосредственными сношениями с рабочими, я не вступал по этому поводу в обстоятельные разговоры с лицами, занимавшимися такого рода деятельностью, отдавая все свое время и силу делу постановки печатного дела. Дело это я считал существенно важным для русского рабочего класса, занимаясь им еще до знакомства с другими лицами, привлеченными к дознанию, и продолжал исключительно интересоваться этой работой и после этого знакомства».

В участии членов комитета московского «Рабочего союза», и в том числе Радина, в сен-

тябрьской забастовке рабочих Курских мастерских, заводов Бромлея, Гакенталья, Гужона, Смоленских мастерских у жандармов не было никаких улик, и это обещало сравнительно мягкие приговоры.

Так оно и получилось в конце концов. Годовое ожидание приговора в одиночке для Леонида Петровича не прошло даром.

Он не пал духом, не томился в праздности: много читал — один список прочитанной литературы составил бы целую тетрадь, обдумывал некоторые свои научные химические предположения, делал выкладки...

А иногда он сочинял стихи. Бывало это в самые лучшие дни, когда что-то удавалось и радовало. Поэтому и стихи, аккумулируя в себе эту радость, затем возвращали ее в минуты упадка настроения.

На воле Радин старался не поддаваться этому сладкому и захватывающему состоянию, когда неизвестно откуда приходят строки, рифмы, потому что это, как считалось в их кругу, мешало делу.

Но здесь Леонид Петрович повторял сочиненные им строки:

Дружно, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...—

и они как бы возвращали его в круг товарищей, в атмосферу той — вольной жизни, целиком посвященной «делу»...

Но все же тюрьма оставалась тюрьмой.

Таганская тюрьма была новейшей среди московских тюрем. Ее строили по последнему образцу американских одиночных тюрем.

Прежде Леонид Петрович видел фотографии таких тюрем в иностранных журналах, теперь увидел воочию. Большая пятиэтажная каменная коробка с камерами по всем четырем стенам и сквозным пролетом посередине, по этажам идут железные балконы, соединенные железными лестницами. Внизу стол дежурного надзирателя, ему видна вся тюрьма, двери всех камер.

И когда Радина выводили из камеры на прогулку, этот внутренний зал тюрьмы представлялся ему гигантским цехом какого-то фантастического безмолвного завода.

После второго допроса Леонида Петровича больше к следователю не вызывали. Месяц шел за месяцем, скоро будет год. Замедление с судом вызывало тревогу: а вдруг что-то еще из скрытого стало известно жандармам...

А тут еще он заболел. Болела грудь, мучили острые приступы удушья. Тюремный врач прописал бром и полоскания, но они не помогали.

— Наконец через год, 4 февраля 1898 года, прокурор объявил приговор. По недостатку веских улик дело не представили в суд, а решили в административном порядке — всем ссылка в Сибирь на разные сроки.

Через две недели последовало распоряжение о переводе в Бутырскую пересыльную тюрьму.

Наконец-то все они снова встретились. Распросам не было конца. Тюремные новости мешались с новостями с воли.

На следующее утро Леонид Петрович, проснувшись, ощутил, что чувствует себя по сравнению с вчерашним днем словно другим человеком: почти отпустила боль в груди, он дышал свободно и, главное, пропало чувство тоски и тревоги.

Радин полулежал-полусидел на нарах, заложив руки за голову, и наблюдал за жизнью общей камеры. Вон сцепились в споре старик народник и молодой марксист, вокруг них человек пять заинтересованных слушателей. Радин, из-за гула, стоявшего в камере, не слышал ни одного слова из их перепалки, но очень хорошо представлял, о чем они спорят, и какими словами, и каковы заковыристые вопросы, и каковы напористые, категорические возражения: сейчас все об этом спорили. Несколько человек, зажав уши ладонями, клевали носом в раскрытую книгу, потом, закатив глаза вверх, шевелили губами: эти одолевали иностранные языки. В другом месте играли в шахматы, перебирали и латали одежду, готовясь к этапу; несколько молоденьких рабочих с почтением и тревогой, которая все-таки

пробивалась сквозь внешнюю браваду, выспрашивали бывшего политического, и он с удовольствием рассказывал им разные случаи, передавал накопленный поколениями опыт по изобретению различных уловок, облегчающих ссылную жизнь...

«Товарищи, дорогие мои товарищи...» — думал Леонид Петрович, и его переполняла любовь ко всем этим людям.

Он стал вспоминать свои стихи и подумал: может быть, все-таки стоит их записать? Конечно, сейчас записывать нельзя: при обыске отберут. А по прибытии на место отбывания ссылки обязательно надо записать — все, все, глядишь, получится книжечка, как у настоящего поэта...

Леонид Петрович вспоминал свои строки, приборматывая нараспев, как обычно читаются стихи, и даже, кажется, запел их на какой-то мотив.

Он полагал, что никто на него не обращает внимания, все заняты своим делом. Но это было не так.

Вдруг Саша Орлов окликнул его:

— Леонид Петрович, что за песню вы поете? Я что-то никогда такой не слышал. Ну-ка, спойте сначала. — Он поднялся с нар и громко крикнул: — Товарищи! Пожалуйста, потише!

— А что такое?

— Какое объявление?

— Никакого объявления, просто из-за вашего шума ничего не слышать.

Анархист, который до этого, единственный в камере, сидел молча, не разговаривая ни с кем, мрачным басом сказал:

— Я протестую. Это — ущемление прав личности.

Все рассмеялись. В камере стало немного тише, но вскоре говор возобновился.

Мотив, на который Радин пел свои стихи, показался Орлову знакомым: вроде бы есть что-то общее со старой студенческой песней «Медленно движется время», но очень отдаленное. Впрочем, после первого же куплета Орлов уже не сравнивал, не вспоминал, а слушал.

Радин пел, с каждой новой строфой сам все более воодушевляясь:

Дружно, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
«Братский союз и свобода» —
Вот наш девиз боевой.

Долго в цепях нас держали,
Долго нас голод томил,
Черные дни миновали,
Час искупленья пробил!

Время за дело приняться,
В бой поспешим мы скорей.
Нашей ли рати бояться
Призрачной силы царей?

Все, чем их держатся троны,
Дело рабочей руки...
Сами набьем мы патроны,
К ружьям привинтим штucky.

Свергнем могучей рукою
Гнет роковой навсегда
И водрузим над землю
Красное знамя труда!

По мере того как пелась песня, вокруг Радина с Орловым сходилось больше народу, и последние строфы прозвучали в уже притихшей, жадно внимающей голосу певца камере громко и торжествующе.

— Замечательная песня!

— Наша, наша песня, товарищи! — крикнул кто-то радостно. — Рабочая, пролетарская!

— Кто автор стихов?

— Да, кто автор стихов? — спросил Орлов.

Радин смутился и, сам не зная почему, не решился признаться, что это его стихи.

— Не знаю, — ответил он, запинаясь. — Я слышал их в Таганской тюрьме...

Старик народник поднял руку:

— Товарищи, предлагаю всем разучить слова. Эту песню, я уверен, будет петь вся желаю-

шая освобождения народа Россия. Наш нравственный долг способствовать ее распространению. Товарищ, говорите первый куплет, все повторяем хором.

Радин начал читать:

Дружно, товарищи, в ногу!..

И нестройный пока, но взволнованный, единодушный хор вторил ему:

Дружно, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе!

«Каменщик»

На лето Брюсовы сняли дачу в Петровско-Разумовском. Все домашние перебрались туда из городской квартиры в середине июня, поэтому Валерию Яковлевичу из редакции «Русского архива», где он служил секретарем, почти каждый день после работы приходилось с Большой Садовой проезжать на дачу по Долгоруковской, мимо Бутырского тюремного замка.

Это огромное мрачное здание из красного кирпича, окруженное средневековыми толстыми стенами с тяжелыми башнями, властно влекло к себе его внимание.

Скрытое за стенами от постороннего взгляда возбуждало острый интерес. Люди, находящиеся там, внутри стен, представлялись ему совсем иными, чем находящиеся снаружи. Ему казалось, что, переступив грань, они обретали знание какой-то тайны, непостижимой для тех, кто этой грани не переступил.

Изданный в прошлом году роман Льва Толстого «Воскресение», хотя и претендовал на объяснение той жизни и тех людей, все-таки тайны не раскрыл...

Тюрьма, темница, узилище! Как много писано в литературе о тюрьме, об узниках, да и сам Брюсов когда-то писал: «...окно с решеткою, окно моей тюрьмы...» Впрочем, все это — поэтические фантазии.

Но причина размышлений о тюрьме — не только случайный дачный маршрут. Не говоря уж о чисто художническом интересе, желании проникнуть в психологию человека, сама общественная атмосфера заставляла говорить и думать о революции (Черногубов, ездивший в Ясную Поляну, рассказывал, что Толстой много говорит против русского правительства, заявляет: «Только бы его к чертовой матери, и все будет хорошо»), о ее деятелях, о репрессивных мерах правительства.

Особенно почувствовал Брюсов накал атмосферы этой весной, во время эпопеи с Бальмонтом, когда Москва целую неделю провожала его в ссылку, чествуя обедами и ужинами в ресторанах. После одного из ужинов Брюсов и Бальмонт пошли бродить по ночным улицам, словно в старые времена. Они читали друг другу стихи, и Бальмонт сказал:

— Мне грозила крепость, и только из-за боязни общественного мнения вынесли приговор всего лишь о воспрещении жительства в столицах, столичных губерниях и университетских городах сроком на три года.

Бальмонт высылался за публичное чтение стихотворения «Маленький султан», написанного им после того, как он стал свидетелем расправы полиции и казаков над студентами у Казанского собора 4 марта. Избиение безоружных студентов потрясло его; кипя ненавистью, он отправил письмо Михайловскому, прося поставить и его имя под коллективным протестом русских писателей.

Он написал стихи, которые начинались более чем прозрачным намеком:

То было в Турции, где совесть — вещь пустая.
Там царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый маленький султан.

Бальмонт прочел эти стихи на благотворительном вечере в зале Петербургской городской думы, ему устроили овацию.

На следующий день жандармы явились к нему

с обыском, и последовало постановление о высылке.

— Мне грозила крепость,— говорил Бальмонт,— и я думал: пусть крепость, но от своих воззрений и слов не откажусь. Там, в крепости, я напишу большой труд...

Проезжая мимо Бутырской тюрьмы, Брюсов представлял себя там, в одной из камер. Два верхних этажа тюремного корпуса возвышались над стеной и были видны с улицы. Вечерами их освещало закатное солнце. Брюсов видел черную тень решетки среди кровавого отблеска заката на стене камеры...

Он попытался вспомнить лицо Николая Александровича Морозова — народовольца, с которым когда-то был близко знаком его отец. В годы детства Валерия Яковлевича Морозов бывал у них в доме, играл с ним. Не было ли у него особой печати на лице, предназначения судьбы быть узником? Сейчас пошел уже третий десяток лет, как он сидит в Шлиссельбургской крепости...

К старым, потемневшим от времени корпусам тюрьмы пристраивали новый. Однажды Брюсов услышал, как рабочие, стоя на лесах нового корпуса, перекликались между собой, переговаривались с прохожими. Они смеялись, и было странно слышать этот смех...

На следующий день, подъезжая к «Бутыркам», Брюсов нарочно прислушивался, на лесах было тихо. Но разговор каменщика с прохожим уже звучал в нем, облакаясь в тяжелые, медлительные дактилические стопы:

— Каменщик, каменщик в фартуке белом...

До Петровско-Разумовского стихотворение в общем прояснилось — ритм, образы, движение, расположение строк.

Дачная атмосфера, которая встретила Валерия Яковлевича в Петровско-Разумовском, была так несхожа с тем настроением, в котором были складывающиеся стихи, что они просто отошли в сторону, не смешавшись ни с чем.

Утром, возвращаясь в Москву, Брюсов без особого труда вернулся к вчерашним стихам. Как

будто мозг только и ждал этого момента: недостающие строки выплывали в сознании сами собой.

Войдя в редакционную комнату, Брюсов достал из ящика конторки написанное вчера, но не отправленное письмо, раздвинул лежавшие на столе бумаги Булгакова, усмехнувшись в душе: «Сплетни восемьсот двадцать шестого года вполне могут подождать», и, устроив на освободившемся кусочке свой листок, приписал к письму:

«Кажется, еще не посылал Вам этих стихов, может быть лучших из своих последних.

К а м е н щ и к

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

— Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?

— Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

— Каменщик, каменщик, долги ночи
Кто ж проведет в ней без сна?

— Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!

— Эй, берегись! под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!»





ДВА ВАГОНА С ХЛЕБОМ

Архивы не только раскрывают тайны минувшего, но порой и сами задают загадки, ключ к которым находится неведомо где. Но уж зато как велика бывает радость, если в конце концов удастся узнать, что стоит за пожелтевшим листком бумаги с несколькими написанными на нем строками.

Одну такую архивную историю я и хочу рассказать.

Творчество замечательного советского писателя Артема Веселого (Николая Ивановича Кочкурова) с каждым годом все более и более привлекает внимание читателей и исследователей. Это и понятно: роман Артема Веселого «Россия, кровью умытая» — одно из тех немногих литературных произведений двадцатых — тридцатых годов о победе народа в Октябрьской революции и о гражданской войне, которое выдержало испытание временем.

Но в статьях и монографиях об Артеме Веселом почти нет ссылок на архивные материалы, обычно очень охотно приводимые всеми литературоведами.

Это объясняется тем, что архив писателя почти целиком погиб в конце тридцатых годов.

От всего архива осталась лишь небольшая бельевая корзина с черновиками, случайными записями и письмами, которая в течение двадцати лет простояла под кроватью у брата Артема Веселого — Василия Ивановича Кочкурова в

комнате большой коммунальной квартиры на Покровке, 3.

В 1923 году второй и третий этажи этого дома, в котором до революции помещались мебелированные комнаты «Компания», передали под общежитие комсомольских писателей и поэтов группы «Молодая гвардия».

Жизнерадостные, горящие желанием создать новую комсомольскую литературу и учиться (свой коллективный манифест они озаглавили лозунгом: «К учебе и творчеству!»), шумные, еще не остывшие от боев гражданской войны, они заполнили комнаты бывших «меблирашек» с их убогой роскошью: с мутными зеркалами в кудрявых рамах, сизыми бархатными портьерами с полуоборванными помпонами, продавленными креслами и широкими разбитыми кроватями.

Каждый получил по отдельной комнате, что по тем временам было пределом мечтаний. Тогда на Покровке, 3, поселились Иван Доронин, Михаил Светлов, Артем Веселый, Александр Ясный, Михаил Голодный, Николай Кузнецов, Марк Колосов, Юрий Либединский, Валерия Герасимова и другие. Многие из них стали известными писателями.

Дом на Покровке вошел в их жизнь и творчество.

Сюда Светлов в стихотворении «Ночные встречи» приводит Генриха Гейне — своего любимого поэта. Явившись, Гейне говорит Светлову:

...Я искал
Тебя среди фонарей.
Спустился вниз. Москва-река.
Тиха, как старый Рейн.
Я испустил тяжелый вздох
И шлялся часа три,
Пока не наткнулся на твой порог,
Здесь, на Покровке, 3.

Валерия Герасимова в своих воспоминаниях описывает творческую атмосферу молодогвардейского общежития.

«Мы хотели быть новаторами,— пишет она.— Стремилась, не отступая, бороться со всем тем, что представлялось нам отжившим не толь-

ко общественно, но и литературно. Кто-то писал роман ритмической прозой... кто-то старательно выкорчевывал рифмы из своей поэмы, кто-то воплощал свою новеллу столь кратко — телеграфным языком («стиль эпохи!» — утверждал автор), что впоследствии оказалось невозможным расшифровать ее содержание».

Пишет она и об Артеме Веселом: «Мы стремились постичь тайны литературного мастерства. Вспоминаю, как огромный, широкоплечий Артем Веселый, от которого так и веяло матросской «вольницей», обклеил все стены своей комнатки листками своей рукописи.

— Так все на виду,— угрюмо пояснил он. И, переходя от стенки к стенке, яростно вытраивая все то, что, по его словам, «позорило» произведение... Случайно «залетевшие» штампованные, псевдо-литературные обороты, столь чуждые его свежей и смелой стилистике, по недосмотру проскользнувшие те или иные «красивости» беспощадно им вытраивались. Свирепо «отжимал» Артем также ту мутно-розовую водичку, которой грешат столь многие произведения начинающих...»

Семейные молодогвардейцы поселились на Покровке с семьями. Артем Веселый сначала жил в своей комнате (на втором этаже первая с левой стороны) вдвоем с женой, потом сюда же переехали из Самары его родители и младший брат Василий. С годами первые обитатели общежития разъехались с Покровки. Уехал и Артем Веселый, но он часто бывал здесь у родителей и брата, иногда работал.

Василий Иванович Кочкуров жил на Покровке до последних дней жизни (умер в 1977 году). Здесь-то и хранилась корзина с рукописями Артема Веселого.

По материалам, находившимся в этой корзине, можно было составить представление о том, какое множество замыслов было у писателя.

Удалось подобрать цикл стихотворений в прозе. Несколько из них уже когда-то печатались,

три неопубликованных, наброски к еще нескольким...

Среди неопубликованных стихотворение «Книга» — гимн воплощенному в материю труду литератора и мечта о новом, совершенном облике книги:

«Мы верим, мы знаем, мы угадываем — день близок.

Бумага начнет лягаться.

Взору злодея будут недоступны стихи.

Слово бездарное, слово лживое, слово глупое будет скатываться с печатного листа, как скатывается ртуть с полированной поверхности.

Будет заоркестрован, вплетен в строку плач и смех.

Зимняя строка будет запушена снегом и подернется искрой инея.

В лирической строфе особо нежные слова будут мерцать, подобны звездам».

Планы дополнений к роману «Россия, кровью умытая», наброски исторического романа об Украине XVII века; записи к каким-то произведениям, названия которых обозначены на тех же листках: «Притон страстей», «Журавли в небе» и другие — всего более десятка; отрывки и совершенно непонятно к чему относящиеся записи, наметки, наброски...

И среди них семь слепых машинописных листочков (третий или четвертый экземпляр) — рассказ «На высокой волне», рассказ о Ленине. На одном из листков дата: «1936 год».

При жизни писателя этот рассказ не печатался.

Поскольку для дальнейшего повествования необходимо знать его содержание, а рассказ не публиковался, то далее приводятся выдержки из него.

Действие рассказа происходит в июле 1918 года в дни левозсеровского мятежа.

1

«В редакции большой московской газеты царил необычайная тишина.

Более половины сотрудников ввиду «чрезвычайных обстоятельств» не вышла на работу. Хроникеры с утра мыкались по городу в погоне за новостями...

В редакторском кабинете за большим, похожим на бильярд столом, ссутулившись, сидел один из видных сотрудников газеты — Александр Арбатов и с превеликим трудом выматывал из себя передовую...

В кабинет стремительно вошла в сбившейся на затылок шляпке молодая женщина. Это была работающая в той же газете репортером жена Арбатова.

— Леля, наконец-то... Что с тобой, ты хромаешь?

— Пустяки, каблук оторвался.

— Новости?

— Гора новостей...— И она начала было рассказывать о встречах, впечатлениях, о сценках на улицах.

— Садись и пиши,— перебил ее Арбатов.

Она пристроилась с угла стола, вывалила перед собой из брезентового портфеля черновые блокноты, содранное с забора эсеровское воззвание, экстренный выпуск уличного листка, несколько реп и морковок.

— Кушай.

Арбатов рассеянно принялся грызть репу и с решительным видом придвинул к себе стопку бумаги.

2

Энергичным шагом он проходил по коридору, заглядывая в пустые редакционные комнаты.

Дверь редакторского кабинета тоже была приотворена.

Арбатова он узнал сразу.

Быстро вошел.

— Здравствуйте.

Арбатов поднял голову — перед ним стоял улыбающийся Ленин. В руках его был большой сверток каких-то бумаг, кепка засунута в карман.

Арбатов поднялся и с восторгом пожал руку Ленина, которого не видел с 1905 года.

— Газета у вас завтра выходит? — спросил Ленин.

— Да.

— Это хорошо... Я был в «Правде», да и к вам решил завернуть на минутку.— Он поздоровался и с женщиной, спросив: — Что это у вас... с ботинком?

Репортерша смущенно подвернула под кресло ногу, на которой ботинок был разорван пополам.

— Торопилась... Материал у меня к номеру интересный... Ну, и через забор лезла.

— Материал интересный?.. Пишите, не будем вам мешать.— Владимир Ильич подцепил Арбатова под руку и увлек в коридор, засыпая его вопросами: что он, Арбатов, эти годы делал, имеет ли живую связь с рабочими, что читает и т. д.

...Прохаживаясь по редакционному коридору рядом с этим замечательным человеком, Арбатов улавливал знакомые интонации в его слегка картавящем голосе.

— Эта авантюра,— говорил Ленин,— лучше всякой нашей агитации убедит массы, что эсеры и меньшевики окончательно и бесповоротно порвали с социализмом... Завтра же, а может быть, и сегодня мятеж будет ликвидирован.

— Наверняка?

— Наверняка, товарищ Арбатов, можете в этом не сомневаться. Пустые фразеры и безнадежные путаники...

Арбатов заговорил было пространно о европейской и американской демократии...

Ленин рассмеялся:

— Чушь вы городите, уважаемый товарищ, извините меня за откровенность... Не мы, а они должны равняться по нас. Укрепив Советскую Республику и развеяв в прах силы контрреволюции, мы станем самой демократической страной в мире.

Напоследок он сказал:

— Маловато у вас в газете печатается рабочей хроники. И вы, товарищ, в своих статьях ча-

стенко витаете в заоблачных высях. Газета не деликатес, рассчитанный на гурманов и мечтателей. Наша большевистская печать — это хлеб насущный для масс. Советское государство мы строим и впредь будем строить руками миллионов — этого никогда не следует забывать.

Ленин простился и ушел.

А спустя час к подъезду редакции подкатил чихающий, тарахтящий мотоцикл. Из-за руля вышел солдат саперного батальона. Задрав голову, он внимательно, по складам прочитал вывеску редакции и полез наверх. Гремя коваными сапогами и отпыхиваясь, он втащил в редакторский кабинет большую корзину:

— Вот всем сотрудникам, которые не саботажники... Владимир Ильич прислал... А кому-то тут ботинки требовались, так извиняйте, во всем чихаузе не могли подходящих найти.

Арбатов сорвал с корзины новенькую рогожку. В корзине — буханки черного хлеба, банки консервов, колбаса, яблоки...»

Судя по внешнему виду машинописи, рассказ не окончен, потому что после этого текста стояла цифра 3, за которой, видимо, должна была следовать третья глава. А может быть, это часть более крупного произведения? Новая глава романа «Россия, кровью умытая»? Ведь в плане дальнейшей работы над романом стояло имя Ленина: «Глава вторая. Москва рабочая. Москва большевистская. Москва первых месяцев 1918-го... Состояние Московской партийной организации и развертывание организационной и агитационно-пропагандистской работы в низах. Ленин».

Так как содержание рассказа относится не к первым месяцам 1918 года, а уже ко второй половине этого года, то в плане речь идет явно не о нем. Правда, план составлен в 1933 году, рассказ написан в 1936-м, поэтому вполне вероятно, что за прошедшие три года план мог быть изменен и дополнен.

Василий Иванович Кочкуров об этом расска-

зе, к сожалению, ничего не знал, но слышал от брата, что тот собирался писать о Ленине.

Рассказ «На высокой волне» так и остался лежать среди рукописей, которые я считал незаконченными, и лежал до тех пор, пока не произошел случайный разговор с писателем Иваном Федоровичем Трусовым, знавшим Артема Веселого с начала двадцатых годов по совместной учебе в МГУ.

В 1937 году Трусов работал редактором в ГИХЛе (Государственное издательство художественной литературы; теперь оно называется издательство «Художественная литература»).

— Осенью того года, помню,— сказал Иван Федорович,— Артем Веселый сдал в издательство сборник рассказов о Ленине. Сборник довольно большой — листов шесть.

Но ни названия сборника, ни содержания рассказов Трусов не помнил. Помнил только, что был на него получен положительный отзыв кого-то из старых большевиков, работавших с Лениным.

Довоенный архив ГИХЛа находится в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства). Но рукописи сборника рассказов Артема Веселого, о котором говорил Трусов, там не оказалось. Нашлась только копия договора с писателем на сборник рассказов «Журавли в небе».

Скорее всего, рукопись погибла. Но все-таки не хотелось примириться с тем, что вот так бесследно из биографии писателя исчезла работа многих лет. Артем Веселый работал над каждым своим произведением подолгу. Много времени занимал скрупулезный сбор материала, доскональное изучение темы; даже о тех событиях, свидетелем которых он был сам, писатель собирал и записывал рассказы десятков и сотен людей. Поэтому и созданию рассказов о Ленине должна была предшествовать работа по сбору материала. Сам процесс создания литературного произведения тоже обычно растягивался на довольно длительный период. Артем Веселый перерабатывал каждую свою вещь по многу раз (отдельные

главы романа «Гуляй-Волга», по его собственному признанию, переписывались им до сорока раз), и поэтому не удивительно, что он каждое свое произведение знал наизусть и на встречах с читателями выступал без обязательной у прозаика книги в руках.

Рассказ «На высокой волне» написан в 1936 году. Видимо, тогда же писались и остальные рассказы сборника, о котором говорил Трусов. Но поскольку у Артема Веселого путь от замысла литературного произведения до его воплощения был обычно очень долгим, то и путь к сборнику рассказов тоже начался задолго до того года, в который он был написан.

Итак, предстояло где-то в череде лет и событий искать его начало.

Кроме того, я надеялся, что, возможно, какие-то пока неизвестно к чему относящиеся рукописи из бельевой корзины тоже имеют отношение к этому сборнику.

В неопубликованном предисловии к первому изданию «России, кровью умытой» Артем Веселый писал:

«Тема романа — революция.

Революция — это народ, партия, Ленин».

Все критики отдают должное силе и яркости народных сцен в романе Артема Веселого, красочности и глубине народных характеров. Но в то же время они отмечают, что деятельность партии по организации вздыбленной революцией народной стихии только намечена и партийные руководители выписаны не так ярко, как, например, партизаны.

Артем Веселый знал это и не считал работу над «Россией, кровью умытой» законченной. Поэтому он снабдил роман подзаголовком: «фрагменты».

Сдав рукопись в издательство, он составляет план, по которому в романе намечается 24 главы (из них к тому времени написаны и напечатаны были только 11). В этом плане очень много места отводится работе партии, изображению людей

партии. «Москва рабочая, Москва большевистская... Состояние Московской партийной организации... Побольше имен и характеристик низовых большевиков... Дневник комиссара... История курсантского полка... Петроград, Москва, Иваново-Вознесенск и др. промышленные районы — организаторы победы на фронтах гражданской войны...» — вот несколько пунктов плана.

Время от времени в газетах и журналах двадцатых — тридцатых годов появлялись сообщения о литературной работе Артема Веселого, интервью, репортерская хроника, собственные статьи писателя. Из них можно узнать о том, над чем писатель работал, о его планах на будущее.

Просматриваю газеты, журналы по годам, и вот в журнале «Книжные новости» за январь 1936 года — беседа сотрудника журнала с Артемом Веселым.

И в этой беседе Артем Веселый сказал, что намерен в роман «Россия, кровью умытая» ввести несколько новых этюдов (так писатель называл вставные главки-рассказы), и «в частности, этюд о Ленине. Этот этюд, — сообщает далее Артем Веселый, — будет написан по очень интересному, но еще неизвестному даже Институту Ленина¹ факту из эпохи 1919 года, о котором мне рассказывал один старый большевик».

К сожалению, имени старого большевика Артем Веселый не назвал.

Видимо, об этом же «этюде» говорится еще в одном документе того же времени.

К 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции Гослитиздат по предложению и под редакцией А. М. Горького готовил грандиозный коллективный пятитомник «Две пятилетки» — «литературный монумент замечательному десятилетию», как называл его Горький, в котором должны были участвовать виднейшие советские писатели.

¹ В то время — Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б), ныне — Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Из задуманного издания вышел только один, четвертый, том — «Творчество народов СССР». Но сохранившийся план — «Ориентировочная заметка авторов и тем» дает полное представление об остальных. Материал в плане расположен по томам, перечислены имена писателей и темы их произведений.

Первый том по этому плану должен был открывать рассказ Артема Веселого о Ленине.

Он так и назван «Рассказ о Ленине», и его содержание раскрывается в самых общих словах: «Эпизод конца 18-го, начала 19-го годов — отцепка двух вагонов хлеба для Серпухова из маршрута, шедшего в Москву. Показ Владимира Ильича со стороны его неистощимого оптимизма, как великого практика и одновременно мечтателя о великом будущем страны строящегося социализма и мировой пролетарской революции».

Секретарь пятитомника «Две пятилетки» Григорий Маркович Корабельников подтвердил, что Артем Веселый действительно работал над циклом рассказов о Ленине, но в редакцию готовой рукописи не представил.

Таким образом, теперь мне стало известно о двух рассказах цикла: первый рассказ — «На высокой волне» и второй — «Эпизод конца 18-го, начала 19-го годов — отцепка двух вагонов хлеба для Серпухова...».

И тут мне вспомнилось, что среди прочих бумаг Артема Веселого попадался листок, в котором упоминается Серпухов.

Отыскал листок. Это был план.

«1. Встреча в редакции.

2. Зима 1918—19 гг.

Москва.

Совнарком.

Квартира.

Тула.

3. Серпухов.

4. Последняя встреча».

«Встреча в редакции» — это вполне может быть одним из вариантов названия рассказа «На высокой волне», а «Зима 1918—19 гг.» и «Серпу-

хов» — рассказ, о котором идет речь в плане «Двух пятилеток».

Так, может быть, это и есть план сборника рассказов о Ленине?

В интервью, напечатанном в журнале «Книжные новости», Артем Веселый говорил, что его этюд о Ленине «будет написан по очень интересному, но еще неизвестному... факту из эпохи 1919 года, о котором мне рассказывал один старый большевик».

Конечно, о факте, который лег в основу рассказов Артема Веселого, а, возможно, и о судьбе самих рассказов мог бы сообщить тот человек, от которого узнал этот факт писатель.

Но «один старый большевик» — ниточка для поисков весьма условная.

В рассказе «На высокой волне» действует журналист, сотрудник «большой московской газеты» Александр Арбатов.

Поиски журналиста с такой фамилией оказались безрезультатными. Скорее всего, фамилия вымышленная.

Среди друзей, товарищей и знакомых Артема Веселого было много старых большевиков: и таких, чьи имена знали все — Дыбенко, Подвойский, Куйбышев, — и менее известных, с кем он вместе работал в парторганизациях, в газетах, с кем вместе воевал на фронтах гражданской войны. Многие из них встречались с Лениным.

Но кого же изобразил Артем Веселый под фамилией Арбатова?

Посещение Лениным редакции газеты в тревожные, опасные дни левоэсеровского мятежа — факт сам по себе, кажется, примечательный, однако в литературе никаких упоминаний о нем нет. Не было упоминаний о нем и в датах жизни и деятельности Владимира Ильича, сопровождающих каждый том 3-го и 4-го изданий его сочинений.

И только в 5-м издании в 36-м томе появилась короткая строчка: 7 июля 1918 г. — «Ленин беседует с сотрудником газеты «Известия ВЦИК» А. А. Антоновым по поводу мятежа левых эсеров».

В Институте марксизма-ленинизма мне сообщили, что Александр Александрович Антонов — старый большевик, член партии с 1905 года, к сожалению, уже умер, и дали телефон его жены, Люцианы Владиславовны Богуцкой, автора нескольких исторических работ о революции 1905—1907 гг. После смерти мужа она подготовила к изданию его автобиографическую книгу «Повесть о былом».

В «Повести о былом» А. А. Антонов описывал свою жизнь до революции и до 1918 года свое повествование не довел. Я договорился с Люцианой Владиславовной Богуцкой о встрече и поехал к ней в один из новых районов Москвы.

Подвижная, энергичная, несмотря на свой пенсионный возраст и болезни, она охотно рассказывает о прошлом:

— Артема Веселого я знала, знала! Не так, чтобы близко, но знала, встречалась. А Александр Александрович с ним был хорошо знаком... Он был знаком со многими писателями и художниками. Он ведь был и искусствовед, участвовал в создании Союза художников, издательства... Вот посмотрите его портрет. Я забыла, какой художник его делал...

Люциана Владиславовна снимает со стены овальный карандашный рисунок — умное, чуть усталое лицо с коротко подстриженными усами, какие мы видим на дореволюционных фотографиях рабочих-революционеров. В правом углу дата «1927 г.» и подпись художника — две буквы «А. Г.».

Люциана Владиславовна переворачивает портрет обратной стороной — там полустершаяся дарственная надпись и полная подпись: А. Григорьев.

А. В. Григорьев — один из основателей и первый председатель первого объединения советских художников — АХРРа, сын сельского учителя из глухого марийского села, еще мальчишкой в 1905 году распространявший по деревням революционные прокламации, член ревкома по образованию Марийской автономной области — человек

щедрой большой души («душа-человек» — называл его И. Е. Репин)...

Спрашиваю о встрече с Лениным 7 июля 1918 года в редакции газеты.

Она рассказывает о том, что в 1918 году была репортером «Известий», там же работал А. А. Антонов.

Одной из главных обязанностей Люцианы Владиславовны было давать отчеты о выступлениях В. И. Ленина на митингах по пятницам. С весны 1918 года по инициативе Владимира Ильича Ленина каждую пятницу крупнейшие государственные и партийные деятели выступали перед народом. Много раз ей приходилось говорить с Лениным. «До машины проводишь его,— вспоминает она,— и еще что-нибудь спросишь...»

В июле 1918 года, в дни левозероковского мятежа, она, «тогда девчонка, на которую никто не обращал внимания», пробиралась на места боев, в самое логово мятежников — в Трехсвятительский переулок. 7-го вечером она вернулась в редакцию, села писать отчет, а уже ночью пришел в редакцию Владимир Ильич — «один, в пальто с поднятым воротником». Он разговаривал с Антоновым, которого знал еще с 1905 года, а она «по репортерской привычке» стала записывать, что говорил Владимир Ильич о мятеже, о внутреннем и международном положении.

— Стенографии я не знала,— рассказывала Люциана Владиславовна,— но научилась записывать очень быстро, почти слово в слово». Эта запись с согласия Владимира Ильича и была напечатана в ближайшем номере «Известий».

О бытовых неурядицах того времени не говорили, но Владимир Ильич сам видел, что голодно живут газетчики.

Эту встречу с Владимиром Ильичем Л. В. Богуцкая описала в кратких воспоминаниях, которые были напечатаны в 1961 году в № 4 журнала «Работница». В них говорилось и о приходе Ленина в редакцию, и о корзине с продуктами. Но некоторых деталей, имеющих в рассказе Артема Веселого, в ее воспоминаниях не было.

— Вас тогда звали Леля? — спрашиваю.

Люциана Владиславовна удивленно поднимает брови:

— Да, но только дома...

— И в тот день вы сломали каблук?

— Откуда вы это знаете?

— Из рассказа Артема Веселого,— и я дал ей рукопись.

Она прочла и, возвращая мне рукопись, сказала, улыбаясь:

— После того как привезли корзину с продуктами, сотрудники газеты шутили: «Ленин прислал еду, потому что Богуцкая такая бледная».

Спрашиваю про Серпухов, про вагоны с хлебом.

— О, про эти вагоны я и сейчас без волнения не могу вспоминать, а тогда такого страха натерпелась... В девятнадцатом году Антонова по партийной мобилизации направили в Серпухов председателем исполкома, когда там находился полевой штаб РВС. И вот однажды он своей волей задержал два вагона с хлебом из состава, направляющегося в Москву. Вы понимаете, что это значило: задержать два вагона из московского маршрута? Я так боялась за него, так боялась...

После рассказа Богуцкой стало понятно, что имеющиеся среди бумаг Артема Веселого беглые карандашные записи на нескольких вырванных тетрадных страничках — это запись, сделанная во время какой-то беседы с Антоновым: «Нет денег», «Закрыв. бани», «Врач бросил больницу, уехал мешочничать», «В Москве есть хотят, а мы не хотим?», «Маршруты с хлебом на Москву», «Голодные остановили поезд»... Кое в чем эти записи дополнили Люциану Владиславовну. Вот каким восстанавливается эпизод по рассказу Богуцкой и записям Артема Веселого. (Цитируемые записи Артема Веселого в дальнейшем даны курсивом.)

1919 год был одним из самых тяжелых периодов для Советской власти. Деникин приближался к Москве, возникла опасность захвата столицы белыми. Все коммунисты были мобилизованы для борьбы с Деникиным, Красная Армия героически сражалась на фронтах.

Ставка Главного командования всеми Вооруженными Силами республики находилась в Серпухове. Антонов послан в Серпухов на должность председателя исполкома.

В Серпухове напряженное положение. Усложняет положение и то, что в городе голод — *наек рабочим осьмушка хлеба, три недели не выдавалась, базаров нет*. Рабочие — на фронте, в городе остались в основном *женщины, старики, дети*.

Через Серпухов проходят маршруты с хлебом на Москву. И вот голодные остановили поезд.

Красноармейцы — охрана поезда — сдерживает напор, *но сочувствует*.

Возник стихийный митинг.

— *В Москве есть хотят, а мы не хотим?*

Никого из ораторов не слушают.

— *Довольно!*

— *Уходи!*

— *Не надо!*

— *Долой!*

Антонов понимал, что оголодавшие люди сейчас способны на что угодно и что только удовлетворение — хотя бы минимальное — их требований способно предотвратить возмущение, которое могут использовать эсеры и раздуть в восстание.

Антонов пытался уговорить комиссара, сопровождавшего поезд, отцепить два вагона. Комиссар категорически отказал.

— *Москва нуждается в хлебе, ни одного вагона — иначе суду ревтрибунала.*

Тогда Антонов решается на крайнюю меру: он звонит в Москву, Ленину. Фотиева передала Владимиру Ильичу сообщение Антонова.

Ленин ответил: *Мне трудно отсюда дать те или иные указания, нужно решить на месте. Плох тот большевик, который боится ревтрибунала.*

Антонов обращается к толпе:

— *Я говорил с Лениным,* — и приказывает отцепить два вагона с хлебом.

С криком «ура!» люди откатывают спасительные вагоны.

Комиссар грозит Антонову за самоуправство расстрелом.

И его угроза была вполне реальной. Запись Артема Веселого заканчивается такими словами, которые спустя три месяца кто-то говорит Антонову: *А ведь тебя могли расстрелять. Прослышали — Тула отрезана. Кашира — отрезана, Москва — голодная блокада. Нужно резко пресечь, расстрелять. Кого? Первого виновника. Твое счастье.*

Таков, рассказанный старым большевиком Александром Александровичем Антоновым Артему Веселому «эпизод конца 18-го, начала 19-го годов — отцепка двух вагонов хлеба для Серпухова из маршрута, шедшего в Москву».

В плане Артема Веселого под цифрой 4 написано: «Последняя встреча». Видимо, это рассказ о встрече Антонова с Лениным, завершающей сюжет.

Спрашиваю Люциану Владиславовну, не может ли она пояснить, о какой встрече тут говорится.

— Нет, — задумчиво отвечает она. — Александр Александрович много раз встречался с Владимиром Ильичем, и, какую из них имел в виду Артем Веселый, просто не могу сказать...

Позже в ЦГАЛИ обнаружился один документ, рассказавший еще об одной стороне взаимоотношений между старым большевиком Антоновым и писателем Артемом Веселым: неопубликованная статья Антонова «Штурм истории», написанная в 1934 году и посвященная историческому роману Артема Веселого о Ермаке «Гуляй-Волга». В этой статье Антонов называет роман Артема Веселого «настоящим штурмом истории, радостным событием советской литературы».

На этом пока и приходится закончить рассказ о пропавшей рукописи. Увы! — она не найдена, хоть о самом произведении удалось узнать довольно много интересного. Для продолжения поисков нужны новые факты.





СОДЕРЖАНИЕ

**«ВСЕПРЕКРАСНОЕ
МЕСТО МОСКОВСКОЕ»**
ПРЕДАНИЕ О НАЧАЛЕ МОСКВЫ

3

**ГУСЕЛЬНОЙ
СМЕЛОЙ РЕЧЬЮ...**

24

**МОСКОВСКИЕ
СЛОВА И СЛОВЕЧКИ**

42

«БЕДНАЯ ЛИЗА»

98

**ЗАПРЕТНОЕ ЧУДО,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЙ УДАР СУДЬБЫ
В ГОРЕСТНОЙ ЖИЗНИ
КРЕПОСТНОГО СОЧИНТЕЛЯ
ВАСИЛИЯ ВОРОБЛЕВСКОГО**

121

**«ТАТЬЯНЫ
МИЛЫЙ ИДЕАЛ...»
КОНСПЕКТ РОМАНА**

165

БЛИЗ ЧИСТЫХ ПРУДОВ

204

**«К НЕОКОНЧЕННОМУ РОМАНУ
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
СОЧ. А. ПУШКИНА
ПРОДОЛЖЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ...»**

232

**ОБЫКНОВЕННОЕ
ДЕЛО**

248

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

277

**ПОЭТЫ
С НИКОЛЬСКОГО РЫНКА**

294

**БАЛЛАДЫ
БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ**

306

**ДВА ВАГОНА
С ХЛЕБОМ**

333





ИБ № 1441

Владимир Брониславович Муравьев

**МОСКОВСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРЕДАНИЯ И БЫЛИ**

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *Н. Буденная*
Художники *Н. Орлова, Е. Поель*
Художественный редактор *В. Бондарев*
Технический редактор *Л. Маракасова*
Корректоры
И. Фридлянд, И. Попкова

Сдано в набор 28.07.80. Подписано к печати
10.12.80. Л176536. Формат 84 × 100¹/₃₂. Бумага типо-
графская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать
высокая. Усл. печ. л. 17,16. Уч.-изд. л. 15,66.
Тираж 75 000 экз. Заказ 360. Цена 1 руб. 10 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Московский рабочий».
101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.





**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МОСКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»**